АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIII

5

~~СЕНТЯ~~БРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1964

СОДЕРЖАНИЕ

И. И. Мещанинов (Ленинград). Основные грамматические формы эргативного строя предложения 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. М. Щербак (Ленинград). Тюркский консонантизм 16
Я. Риглер (Любляна). К проблеме аканья 36
Д. С. Уорт (Лос-Анжелос). Об отображении линейных отношений в порождающих моделях языка 46
И. И. Ревзин (Москва). К логическому обоснованию теории фонологических признаков 59
Ю. С. Степанов (Москва). О предпосылках лингвистической теории значения 66
П. С. Кузнецов (Москва). Опыт формального определения слова . . . 75

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Я. Мыркин (Архангельск). Типология личного местоимения и вопросы реконструкции его в индоевропейском аспекте 78
К. В. Горшкова (Москва). Развитие диалектных различий севернорусских говоров в системе вокализма 87
Г. А. Меновщиков (Ленинград). К вопросу о проницаемости грамматического строя языка 100

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Неопубликованная работа А. А. Шахматова по русской исторической фонетике и акцентологии 107
А. А. Шахматов. Дифтонги *ŷo* и *ie͡* в великорусских говорах 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

М. Моллова (София). Тюркское языкознание в Болгарии 121

Рецензии

К. Габка (Грейфсвальд). *G. Hüttl-Worth.* Foreign words in Russian 126
Е. Кржижкова (Прага). «Исследования по чешскому языку» 129
Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс (Москва). *В. Г. Адмони.* Исторический синтаксис немецкого языка 133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Над чем работают ученые 137
Хроникальные заметки 141
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 150

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

И. И. МЕЩАНИНОВ

ОСНОВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЭРГАТИВНОГО СТРОЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Структура эргативного предложения получает более точное определение при ее сопоставлении с основными конструкциями предложений номинативного строя. Расхождения между ними сводятся к определенным системам грамматического выражения тех отношений, которые устанавливают связь субъекта с совершаемым им действием.

Синтаксическая передача отношений, устанавливаемых в предложениях между его главными членами, обусловлена содержанием, вкладываемым в само предложение. Действие, направленное на объект и не направленное на него, получает различное содержание. Оно выделяется в эргативном предложении не одним лишь включением прямого дополнения в состав предложения, но и грамматическим оформлением ведущих членов образуемой предикативной группировки.

Субъект, передаваемый членом предложения (подлежащим), получает в его эргативном использовании различную грамматическую форму. Равным образом и предикат, выраженный вербальным сказуемым, выделяется в переходных и непереходных предложениях семантикой используемого глагола или его грамматическим оформлением. Ведущие члены предикативной группы, выражая субъектные и объектные отношения, придают им различное направление, что влияет на структуру самого предложения. Отношения, передаваемые в синтаксических построениях номинативного предложения, направляются от субъекта. В синтаксических же построениях эргативного предложения они направляются на субъект.

Различное их направление связывается с выражением субъектных и объектных отношений. Направление действия от объекта на субъект образует переходное предложение эргативной конструкции. Направление действия, не связанного с объектными отношениями, выделяет непереходное предложение. Сравнительные сопоставления этих предложений ставят вопрос о том, образуют ли они разновидности эргативной конструкции или же непереходные предложения исключаются из состава эргативной и включаются в состав номинативной конструкции.

Для ответа на поставленный здесь вопрос придется перейти к анализу синтаксических построений, выступающих в языках, относимых к эргативной конструкции. В ее структуре предложения выделяется оформление ведущих членов. В зависимости от того, на который из них возлагается выражение основных установок действующей синтаксической системы, получаются различные ее построения.

В одних языках той же синтаксической системы переходные и непереходные предложения различаются глагольной аффиксацией при неизменяемых падежах именных членов (абхазский язык). В других языках они же противопоставляются падежами именных членов при нейтральной форме сказуемого (аварский язык). В некоторых языках той же системы привлекаются как глагольная аффиксация, так и падежи именных членов

(даргинский язык). Получающаяся разновидность грамматических форм главных членов предложения обусловлена теми различными приемами, которыми выражаются субъектные и объектные отношения. Они передаются или классными показателями имен, или личным спряжением глагола, или падежной системой именных членов, или совместно теми и другими.

Односторонние субъектные отношения ставят подлежащее (при наличии парадигм склонения) в абсолютном падеже. Двусторонние синтаксические отношения, направленные также и на прямой объект, требуют в эргативной конструкции постановки изменяемого по падежам подлежащего в одном из косвенных падежей или в специальном активном. Прямое дополнение в той же конструкции предложения сохраняет абсолютный падеж так же, как и подлежащее непереходного предложения.

Подлежащее переходного и непереходного действия управляется в своей грамматической форме содержанием передаваемого действия, которое использует соответствующую ему семантику глагола; ср., например, в аварском языке дагестанской группы, где глагол лишается личного спряжения и сочетается классными показателями с подлежащим, стоящим в разных падежах: *эбел рокъое йуссана* «мать домой вернулась»; *эбелалъ хур бекьана* «мать поле пахала»; *эбелалъе жиндирго вас вокьула* «мать своего сына любит», *эбелалда жиндирго вас вихьана* «мать своего сына видела». В основу склонения приведенных выше имен ложатся в аварском языке два падежа: абсолютный с нулевой словоизменительной флексией и активный с окончанием *-алъ*. От него образуются дательный *-алъ-е* и местный *-ал-да*[1].

В приведенных примерах сказуемое, представленное глаголом, управляет падежами подлежащего. Непереходные глаголы связываются с постановкой подлежащего в абсолютном падеже. Глаголы переходного продуктивного действия ставят подлежащее в активном (орудийном) падеже. Глаголы чувствования сочетаются с подлежащим в дательном падеже, а глаголы восприятия с подлежащим в местном падеже. Отношения между членами предикативной группы вырабатывают в эргативной конструкции свою систему их координации. Связь сказуемого с именными членами предложения получает здесь двустороннее направление. Имена в аварском языке передают глаголу свои классовые показатели, придавая глаголу зависимую от них грамматическую форму. Глагол, получая их, обусловливает постановку подлежащего в падеже, требуемом этим последним.

Такое взаимное управление, связывающее члены предложения, получает более широкое распространение в языках с развитым строем личного спряжения глагола. Его личные окончания, а также получаемые им классные показатели придают глаголу синтезирующее построение, выделяя его тем самым в общей структуре предложения. Глагол получает управляемую форму со стороны именных членов и управляет тем падежом подлежащего, в котором стоят именные члены (ср., например, даргинский язык). Система взаимного управления, выступающая в эргативной конструкции предложения, сосредоточивается в его главных членах. В этой системе управления занимает ведущее положение также и прямое дополнение.

Для передачи синтаксических построений в диалектах даргинского языка используются как классные показатели имен, так и личные окончания глагола. И те и другие выступают в структуре предложения с раз-

[1] См.: А. А. Бокарев, Синтаксис аварского языка, М.— Л., 1949, стр. 13, 15, 23, 34, 37. Выделение двух падежей: абсолютного и активного — с образованием от последнего ряда косвенных падежей имеет место и в некоторых других языках; ср.: Л. И. Жирков, Грамматика лезгинского языка, Махачкала, 1941, стр. 42—43.

личным назначением. Личные окончания оформляют субъект. Классные показатели выделяют и субъект и объект, выражая ими субъектные отношения при непереходном действии и объектные при переходном. В кубачинском диалекте этого языка имена существительные распределяются по трем классам. Первый и второй из них выделяют мужчин и женщин их классными показателями *-w*, *-j*. Третий класс оформляет одушевленные и неодушевленные предметы (не человека) показателем *-b*. Эти три классных показателя, выступающие в ед. числе, включаются в глагол[2], который соединяется личными окончаниями с подлежащим.

Получая в переходных и непереходных предложениях одни и те же личные окончания, глагол согласуется ими с подлежащим, поставленным в разных падежах, ср. непереходное предложение в кубачинском диалекте даргинского языка. Подлежащее в его безобъектном действии ставится в абсолютном падеже во всех трех лицах: *du* «я», *u* «ты», *id* «он, она». Согласуемый с ними глагол получает в первых двух лицах личные окончания *-da* «я», *-de* «ты» и их же классные показатели *-w* (мужчина), *-j* (женщина), помещаемые в префиксах: *du w-iqul-da* «я (мужчина) работаю», *u w-iqul-de* «ты (мужчина) работаешь», *du j-iqul-da* «я (женщина) работаю» *u j-iqul-de* «ты (женщина) работаешь». В 3-м лице глагол лишается личных окончаний, заменяемых классными показателями: *id w-iqul-sa-w* «он работает», *id j-iqul-sa-j* «она работает». Выступающие здесь оформители глагола придают ему субъектное построение, согласованное с подлежащим в абсолютном падеже непереходного действия.

В переходном предложении изменяется вся его структура. В ее основу кладется выражение двусторонних отношений (к субъекту и объекту), передаваемых суффиксацией личных окончаний глагола и префиксацией в него же классных показателей имен. Личные окончания, оставаясь теми же в переходных и непереходных предложениях, согласуются в них с подлежащим, стоящим в разных падежах. Те же окончания 1-го лица *-da*, 2-го лица *-de* согласуются с абсолютным падежом подлежащего в непереходном предложении и с активным падежом в переходном. Но тот же переходный глагол направляет свое действие на объект, который включает свой классный показатель в грамматическую форму глагола. Передаваемые им субъектно-объектные отношения связывают его с подлежащим и с прямым дополнением, которое устанавливает основную структуру предложения. Прямое дополнение управляет грамматической формой глагола, включая в него свой классный показатель, и управляет падежом подлежащего, ставя его в активном падеже при переходном действии, ср. непереходное предложение: *du w-iqul-da* «я работаю», *u w-iqul-de* «ты работаешь» (подлежащие *du*, *u* в абсолютном падеже), ср. в переходном предложении: *du-dil qal b-iqul-da* «я дом его-строю-я», *u-dil qal b-iqul-de* «ты дом его-строишь-ты» (подлежащее *du-dil*, *u-dil* в активном падеже[3]).

Переходные и непереходные предложения объединяются здесь не только общими для них личными окончаниями глагола, но также и тем назначением, какое выполняют включаемые в него классные показатели. Ими передается именной член предложения, который в его эргативном использовании получает абсолютный падеж, выступающий прямым дополнением переходного предложения и подлежащим непереходного.

Субъектно-объектные отношения передаются в приведенных выше примерах различными грамматическими приемами. В даргинском языке

---

[2] Во мн. числе в глагол включаются два показателя *-b*, *-d(r)*, распределяемые по всем трем классам.

[3] См.: А. А. Магометов, Кубачинский язык, Тбилиси, 1963, стр. 67, 151, 262, 274—276.

для их выражения используются и личные окончания и классные показатели. В аварском языке в тех же заданиях привлекаются классные показатели имен существительных, падежами которых выделяются субъект и объект. В абхазском языке выражение тех же отношений к субъекту и объекту сосредоточивается в самом сказуемом.

В абхазском языке подлежащее и прямое дополнение не изменяются по падежам. Их синтаксическая позиция устанавливается местоположением и префиксацией классных показателей в глагольном построении, ср. *ag'atsa at'ssaqha at'ə i-l-i-goyt* «мужчина женщине лошадь берет». В начале глагольного построения помещен классный показатель стоящего перед ним прямого дополнения *-i*. После него поставлен классный показатель косвенного дополнения *-l* (класс женщин). Подлежащее (*ag'atsa* «мужчина») включило перед глагольной основой свой классный показатель *-i*. Переходные и непереходные предложения используют в этом языке различные системы глагольной префиксации. То же подлежащее, выступая в непереходном предложении, помещает в сказуемом классный показатель *-d-* (при 3-м лице).

Помещаемые в глагол префиксы разделяются в абхазском языке по лицам и по классам. В 1-м лице выступает его показатель *-s*, представляющий собой усеченную форму местоимения *sara* «я». Местоимения, в их усеченной форме, выступают показателями лица, помещаемого перед глагольной основой, ср. *i-s-tvəup* «его-я-имею». В таком переходном предложении показателю действующего лица предшествует префикс объекта. Местоимения, различаемые по классам, включают свои личные показатели в число классных. При действии 3-го лица используются одни классные показатели имен существительных. Помещаемые в префиксах, они получают разное значение в переходных и непереходных предложениях, в которых главные именные члены по падежам не изменяются. Морфологические приемы передачи субъектно-объектных отношений ограничиваются в абхазском языке одними классными показателями, сосредоточиваемыми в глаголе.

Те же субъектно-объектные отношения передаются в глагольных формах урартского языка одними личными окончаниями. Ими глагол устанавливает свои отношения или с субъектом, или с ним же и с объектом. Направление этих отношений отражается на грамматической форме подлежащего. Имена существительные в этом языке по классам не различаются, но имеют развитую систему склонения по падежам. Переходные и непереходные предложения получают разные падежи подлежащего: абсолютный при непереходном и активный при переходном. Сопоставляемые структуры предложения различаются по своему содержанию и по грамматическим формам подлежащего и сказуемого, ср. непереходное предложение *ušta-bi Menua-ni* «выступил Менуа», переходное предложение *Menua-še...ini pili agu-ni* «Менуа... этот канал провел».

При эргативной конструкции предложения выделяется в урартском языке его член, стоящий в абсолютном падеже. Он выступает в объектных и безобъектных синтаксических построениях, оформляя в них подлежащее непереходного действия и прямое дополнение переходного. Единую грамматическую форму сохраняет абсолютный падеж при передаче им субъектных и объектных отношений. В двух разных падежах ставится подлежащее. Глагол получает личные окончания одни при непереходном действии, а другие при переходном. Личное окончание *-di* выделяет 1-е лицо непереходной формы. 3-е лицо той же непереходной формы *-bi* выступает в переходных с обозначением действия, направленного первым лицом на третье: *ušta-di ebani atu-bi* «выступил-я, страну разорил-я-ее», ср. 3-е лицо непереходной формы: *ušta-bi Menua-ni* «выступил Менуа».

Действие 3-го лица переходного глагола передается в урартском языке личным окончанием *-ni*. При субъектно-объектном спряжении этим же личным окончанием выражается направление действия с 3-го лица на 3-е в их ед. числе. Те же отношения, идущие от субъекта ед. числа на объект во мн. числе, отмечаются суффиксами *-li*, *-ali*, ср. *karu-ni* «победил-он-его», *karu-ali* «победил-он-их», *paru-li* «увел-я-их». Когда передаваемое действие совершается несколькими лицами, выделяется глагольное окончание *-itu*, *-tu* со специальным обозначением субъекта во мн. числе 3-го лица переходной формы: *par-tu Jšpuiniše... Menuaše* «увели-они Ишпуин... (и) Менуа». Выражая одни отношения к субъекту, то же его личное окончание может присоединять передачу объектных к нему отношений добавлением личных окончаний ед. числа *-ni* и мн. числа *-li*, которые в таком их использовании выступают с одним объектным значением: *kul-itu-ni* «оставили-они-его», *ḫarḫarš-itu-li* «разрушили-они-их».

Сопоставляя структуру переходного предложения урартского языка с соответствующими синтаксическими построениями переходного предложения других языков той же эргативной конструкции, можно установить, что общим для них заданием является выражение субъектно-объектных отношений. Передача этих отношений проводится в каждом языке своими выработанными в нем синтаксическими приемами. Их различное использование придает этим же общим для них заданиям различное выражение при грамматическом оформлении ведущих членов. Абхазский язык, при аморфном построении его именных членов, сосредоточивает передачу субъектно-объектных отношений включением именных классных показателей в глагол. Урартский язык, лишенный классных показателей, опирается в передаче субъектных и объектных отношений на изменяемые падежи подлежащего и на противопоставляемые системы личных окончаний глаголов. Даргинский язык использует и личные окончания и классные показатели.

В языках, имеющих личное спряжение глагола, осложняется его грамматическое оформление, но и в них выступает та же система построения эргативного предложения с выделением прямого дополнения в предложениях переходного действия. Их противопоставление непереходному сохраняет ту же схему, выполняемую различными приемами грамматического оформления главных членов предложения, ср. в адыгейском языке, в котором имеется личное спряжение глагола, но отсутствует система классных показателей: *шы-р мачъэ* «лошадь бежит»; *шы-м зэнтхъы-р ешхы* «лошадь овес ест». Подлежащее стоит в разных падежах. В переходном предложении оно получает падеж на *-м*. В непереходном оно же ставится в падеже на *-р*. Этим падежом оформляется также и прямое дополнение. Падежными формами именных членов предложения устанавливаются различные синтаксические построения предложений переходного и непереходного действия.

Такое же эргативное построение сохраняется в адыгейском языке и при использовании им личных местоимений в позиции подлежащего и прямого дополнения. Личные местоимения, в отличие от именных членов, по основным падежам не изменяются. При отсутствии в них падежного склонения уточнение их синтаксических позиций сосредоточивается в глагольной префиксации. Выступая подлежащим переходного предложения, личные местоимения, как и именные члены, ставятся на первое место, перед прямым дополнением. Передавая свои оформители глаголу, они же ставят их в обратном порядке: показатель прямого дополнения помещается перед показателем подлежащего (ср. безобъектное предложение *сэ сэ-шIэ* «я знаю», ср. то же предложение с объектом: *о сэ сы-о-шIэ* «ты меня знаешь»: *сэ о у-сэ-шIэ* «я тебя знаю»). Та же эргативная

система выступает и в синтаксических построениях с именными членами. И в них глагольной аффиксацией выделяется положение прямого дополнения. Оставаясь само в том же падеже, оно передает свое числовое обозначение глагольным суффиксам, ср. *пхъашIэ-м партхэ-р е-шIы* «плотник парту делает»; *пхъашIэ-м партхэ-р е-шIы-х* «плотник парты делает-их».

Переходное и непереходное действие различаются в адыгейском языке падежами подлежащего и глагольной префиксацией [ср. переходное предложение с наличием прямого дополнения: *шъузы-м джанэ-р е-ды* «женщина рубаху шьет»; тот же переходный глагол в безобъектном предложении: *шъузы-р ма-дэ* «женщина шьет (занимается шитьем)»]. Во всех приведенных выше предложениях адыгейского языка с его именными и местоименными членами используются эргативные приемы грамматического оформления подлежащего, прямого дополнения и сказуемого [4].

В эргативном построении переходного предложения выступают два его именных члена, занимающих оба ведущее положение в образуемых синтаксических построениях. Ими обозначается лицо, совершающее действие, и состояние лица, на которое оно направлено. Присутствием последнего обусловливается содержание переходного действия, так же как и наличием в нем первого. В них можно усмотреть два субъекта высказывания [5], выделяемых их содержанием и отмечаемых их соответствующим грамматическим оформлением. Они выделяются также и в приведенных выше примерах, взятых из аварского языка. Один из них получает в нем управляемую глаголом падежную форму подлежащего, а другой включает в глагол свой классный показатель. Первый из них получает падежную форму, зависимую от второго, который управляет грамматическим оформлением глагола и падежом его подлежащего. Такое их положение отражается в эргативной конструкции на синтаксическом использовании абсолютного падежа, выступающего в значении объекта переходного предложения и субъекта непереходного.

Указанное положение субъекта высказывания выступает при выражении субъектно-объектных отношений эргативным строем предложения, в котором выделяются оба его именных ведущих члена. При их отдельном направлении в сторону субъекта и в сторону объекта общим их выразителем остается абсолютный падеж.

Абсолютный падеж, выполняя функции подлежащего в одном из них и прямого дополнения в другом, не соответствует тому назначению, которое возлагается на именительный падеж в языках номинативного строя предложения. В этих языках различаются падежи именительный и винительный, передающие соответственно субъект и объект, тогда как в эргативной конструкции абсолютный падеж выступает с функциями того и другого. Абсолютный падеж выделяется выполнением обеих функций. Как и активный, он включается в число специально выделяемых этой синтаксической системой. И если А. С. Чикобава, останавливаясь на абсолютном падеже прямого дополнения, утверждает, что в эргативном предложении отсутствует винительный падеж [6], то я, вполне соглашаясь с этим, позволю себе на тех же основаниях добавить, что в эргативном строе предложения нет также и именительного падежа.

---

[4] См.: Н. Яковлев, Д. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.— Л., 1941, стр. 23—29, 34, 42, 51.

[5] См.: Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 64, 73; В. Н. Ярцева, Исторический синтаксис английского языка, М.— Л., 1961, стр. 169.

[6] См.: А. С. Чикобава, Несколько замечаний об эргативной конструкции (к постановке проблемы), сб. «Эргативная конструкция предложения». М., 1950, стр. 16.

Такой вывод, построенный на анализе отдельных грамматических форм, можно применить к даваемому по ним определению структуры всего предложения. Оно получает в эргативной конструкции различные построения при передаче переходного и непереходного действия. Имеющиеся между ними расхождения ставят вопрос о том, выступают ли в них две самостоятельные синтаксические системы или две разновидности одной системы. Отвечая на поставленный вопрос, возвращаюсь к уже ранее полученным выводам. Основанием для выделения в эргативной конструкции предложений переходного и непереходного действия послужили обнаруживаемые в них расхождения в грамматическом использовании их главных именных членов. Разные падежи может получать подлежащее. С различным назначением выступает член предложения, поставленный в абсолютном падеже. Грамматическое выражение субъектных и объектных отношений передается им по нормам, установленным эргативным предложением: абсолютный падеж, при передаче им объектных отношений, оформляет прямое дополнение, заменяя винительный падеж номинативной конструкции. При субъектных отношениях тот же падеж оформляет подлежащее, заменяя именительный номинативного строя предложения.

Все сказанное дает возможность сделать следующий вывод: если абсолютный падеж эргативной конструкции не соответствует именительному падежу номинативной, то и использование его в функции подлежащего в непереходном предложении образует эргативную конструкцию, а не номинативную. Наличные в них расхождения уточняются в еще большей степени, когда обе выделяемые синтаксические системы привлекаются одним и тем же языком. Такое их совместное использование имеется в картвельских языках иберийско-кавказской группы.

Эргативная конструкция выступает во всех привлекаемых здесь картвельских языках: грузинском, мегрельском и чанском[7]. В первых двух из них используется также и номинативная конструкция, причем эргативная конструкция получает в них активный падеж подлежащего, различаемый по своей грамматической форме и по занимаемому им синтаксическому положению.

Номинативный строй предложения с единым именительным падежом подлежащего и винительно-дательным прямого дополнения выделяется в первой группе времен грузинского языка. Его вторая и третья временные группы образуют эргативный строй предложения с разными падежами подлежащего переходного и непереходного действия и отсутствием винительного, место которого занимает абсолютный. Сопоставление выступающих здесь обеих синтаксических систем уточняет значение используемых грамматических форм в каждой из них.

Рассмотрение этого картвельского языка дает возможность прийти к выводу, что основным в нем остается противопоставление структур переходного и непереходного предложений в их эргативном использовании. В этих структурах подлежащее получает разные падежи, тогда как единый падеж имеет прямое дополнение. Его оформление абсолютным падежом ставит этот член предложения в особое положение. Передача его абсолютным падежом обусловливает отсутствие винительного в предложениях эргативной конструкции. Отсутствием винительного падежа устанавливается структура эргативного предложения переходного действия. Этим выделяется эргативная система, но не этим она противопоставляется номинативной. Тот же винительный падеж может заменяться другими

---

[7] Мною не привлекается к сравнительным сопоставлениям четвертый язык той же картвельской группы — сванский.

падежами и в номинативной системе. Прямое дополнение не получает винительного падежа также в номинативном строе предложения финно-угорских языков. В них оно ставится в родительном, именительном и партитиве [8].

Во второй группе времен грузинского языка выделяется переходное предложение с активным падежом подлежащего и абсолютным падежом прямого дополнения. Это предложение строится по той же схеме, которая выступает в других приведенных выше языках эргативной системы (ср. груз. *kats-ma sahli aašena* «человек дом построил», ср. с номинативным строем предложения в первой группе времен того же языка, где подлежащее получает именительный падеж, а прямое дополнение ставится в винительном-дательном: *kats-i sahl-s ašenebs* «человек дом строит»).

Иную конструкцию эргативного предложения имеет другой язык той же картвельской группы, мегрельский, в котором, равным образом, выступают те же две противопоставляемые синтаксические системы — номинативная и эргативная. Но в мегрельском языке расхождения между номинативной конструкцией и эргативной сводятся не к разным структурам предложений переходного и непереходного действия, а к сравнительным сопоставлениям самих этих конструкций в их целом составе. В обеих используется подлежащее, неизменяемое по падежам в непереходных и переходных предложениях; оно получает в номинативном строе именительный падеж, тогда как в эргативном в том же положении используется активный падеж.

В мегрельском языке, так же как и в грузинском, в первой группе времен выступает номинативная конструкция с подлежащим в именительном падеже (*-i*) и прямым дополнением, поставленным в винительно-дательном (*-s*): *koč-i čIarəns kaγardi-s* «человек пишет письмо». Но во второй группе времен того же мегрельского языка, где выступает эргативное построение, подлежащее как в переходных, так и в непереходных предложениях ставится не в разных падежах, как в грузинском, а в одном и том же активном падеже: *-qə*. Такое значение активного падежа эргативной конструкции подтверждается его использованием в чанском (лазском) языке той же картвельской группы.

Этим активным падежом оформляется в чанском языке только подлежащее переходного предложения, но во всех группах времен без выделения в них номинативного строя. Тем самым падеж на *-q(ə)* получает в чанском языке специальное задание обозначать подлежащее переходного действия в отличие от непереходного. Отсутствие в чанском языке номинативной конструкции предложения выделяет в нем основные построения эргативной конструкции. В ней структуры переходного и непереходного предложения противопоставляются не по группам времен, а по содержанию самого излагаемого действия. При безобъектном действии подлежащее ставится в абсолютном падеже. При направленном на объект действии подлежащее ставится в активном падеже. Этим падежом выделяется подлежащее переходного предложения во всех группах времен чанского языка (ср. в первой группе времен: *usta-q ohori kodums* «плотник строит дом»; во второй группе времен: *usta-q ohori dokodu* «плотник построил дом». В обоих приведенных примерах подлежащее остается в одном и том же активном падеже).

Такое построение предложения эргативной конструкции выступает в чанском языке при всех временных группах, не образуя номинативной системы и используя активный падеж в позиции подлежащего переходно-

[8] См.: П. А. Аристэ, О некоторых грамматических вопросах финского языка, «Труды Карело-финского филиала АН СССР», I, 1954, стр. 30—31; Ю. С. Елисеев, Синтаксические словосочетания в современном финском языке, М., 1959, стр. 62—71

го действия. Тот же активный падеж в той же его грамматической форме используется также и мегрельским языком, который, в отличие от чанского, выделяет номинативную конструкцию в первой группе времен, так же как и в грузинском.

Оформляя во второй группе времен также и подлежащее безобъектного действия, активный падеж в мегрельском языке (*-qə*) включает структуру непереходного предложения в общую эргативную систему с переходным, объединяя их одним и тем же активным падежом (ср. непереходное предложение *koč-qə qə-mortə* «человек пришел сюда»; переходное предложение *koč-qə dočIarə tsingi* «человек написал книгу»).

Получившееся в мегрельском языке объединение переходных и непереходных предложений можно отнести к общим установкам эргативной конструкции. Переходные и непереходные предложения объединяются этой синтаксической системой и в других языках. Используемые в них активный и абсолютный падежи выделяют в предложении субъект действия и субъект состояния. С таким назначением выступает в эргативной структуре предложения как активный падеж, так и абсолютный. Они используются при передаче и переходного, и непереходного действия. Предложение может иметь различные построения при одном же переходном глаголе, когда он направляет свои отношения или к субъекту, или также и к объекту. Здесь глагол переходного значения может выступать и в непереходном предложении с его абсолютным падежом подлежащего (ср. адыгейский язык). Падеж подлежащего управляется семантикой самого высказывания. Подлежащее при переходном глаголе может стоять и в активном, и в абсолютном падежах. Подлежащее и при непереходном глаголе может стоять в бацбийском (тушинском) языке как в абсолютном падеже, так и в активном.

Постановка подлежащего в этом падеже зависит от содержания излагаемого действия (ср. переходное предложение в бацбийском языке: *ас бадер дуицIнас* «я ребенка накормил»). Подлежащее *ас* «я» передает активное участие субъекта в им совершаемом действии [ср. тот же активный падеж подлежащего (*ас* «я») в предложении непереходного действия: *ас скIолаи ихос* «я в школу иду»]. Здесь активным падежом подлежащего объединяются переходные и непереходные предложения. Если активность субъекта не выделяется в структуре предложения, подлежащее получает абсолютный падеж (ср. в бацбийском языке: *къар йатхе, со коттол* «дождь идет, я скучаю». Подлежащее стоит в абсолютном падеже[9]. Им отмечается то состояние, в котором находится субъект: *со коттол* «я скучаю, беспокоюсь»). Когда активное действие субъекта выделяется содержанием предложения, грамматическая форма его подлежащего сосредоточивает в себе основное выражение активного содержания передаваемого действия вне зависимости от семантики выступающего в нем глагола.

Активный падеж подлежащего занимает в структуре предложения бацбийского языка особое положение. Субъект, стоящий в этом падеже, выделяется своим собственным содержанием, передающим самого активного деятеля, что обусловливает сохранение активного падежа подлежащего также и в непереходных предложениях: *ас тха Телви вуитIас* «я сегодня в Телави еду»; *ахъ чу ватIи* «ты домой убежал». Субъект действует по своему собственному желанию, что и отмечается в таком построении непереходного предложения постановкой его подлежащего в активном падеже. В этих синтаксических построениях бацбийского языка подлежащее,

---

[9] Ср. падежи местоимений в бацбийском языке: абсолютный *со* «я», *хъо* «ты»; эктивный *ас* «я», *ахъ* «ты».

стоящее в активном падеже, выделяется как при личных формах глагола (*вуитI-ас*), так и при безличных (*ватIи*). Получая личные окончания, глагол согласуется ими с тем же активным падежом подлежащего: *ас вуитI-ас* «я иду, еду», *ахь вуитI-ахь* «ты идешь, едешь»[10]. При подлежащем, поставленном в абсолютном падеже, первые два действующие лица передаются местоимениями, сам же глагол личных окончаний не получает: *со вахи* «я пошел», *хьо вахи* «ты пошел».

Приведенные примеры, взятые из бацбийского языка, могут быть использованы для уточнения того значения, с каким выступает активный падеж в переходных и непереходных предложениях. Его использование в тех и в других выясняет также и то положение, какое занимают эти разные синтаксические построения в структуре всего предложения. Этими примерами подтверждается, что постановка подлежащего непереходного предложения в различных падежах (активном и абсолютном) имеет место в одной и той же эргативной синтаксической системе (ср. *со коттол*, *ас коттлас* «я скучаю»). Падеж подлежащего изменяется при одном и том же непереходном глаголе, который получает безличную форму при подлежащем в абсолютном падеже и личную при нем же в активном падеже.

Абсолютный и активный падежи оформляют подлежащее эргативной конструкции предложения; абсолютный падеж подлежащего в бацбийском языке не получает специального назначения выделять номинативную систему. Семантика непереходного глагола оказывается недостаточной для ее выделения. Недостаточным для этого оказывается и грамматическая форма подлежащего. Отсюда мне представляется вполне обоснованным отказ от включения непереходного предложения с абсолютным падежом подлежащего в число предложений номинативной конструкции.

Такой вывод подкрепляется также приведенными выше примерами синтаксических построений предложений второй группы времен мегрельского языка, в которой как переходные, так и непереходные предложения имеют подлежащее в активном падеже. Этим падежом противополагается в мегрельском языке вся эргативная конструкция номинативной, выступающей в его же первой группе времен. По падежам подлежащего определяется содержание всего предложения. Активный падеж объединяет в мегрельском языке переходные и непереходные предложения, выступая единым в них падежом подлежащего и выделяя всю эргативную конструкцию. В этом языке абсолютный падеж оформляет только прямое дополнение. Активный падеж в бацбийском языке объединяет переходные и непереходные предложения, выступая в тех и в других, так же как и абсолютный падеж, который при непереходном действии передает субъект состояния, а при переходном оформляет прямое дополнение.

Грамматические приемы, оформляющие члены предложения, используются в приведенных синтаксических построениях для передачи субъекта действия и субъекта состояния. Их использование в подлежащем и прямом дополнении, объединяемых абсолютным падежом, указывает на то, что предложения, передающие объектные отношения (переходные) и не передающие их (непереходные), образуют разновидности синтаксических построений эргативной системы. Активный падеж привлекается в этих синтаксических построениях для выделения подлежащего. С ним согласуется сказуемое, в котором глагол, передавая субъектно-объектные отношения, сочетается также и с прямым дополнением. С таким же значением выступает активный падеж в дидойском языке иберийско-кавказской семьи. В основу склонения имен существительных в этом языке

[10] См.: Ю. Д. Дешериев, Бацбийский язык, М., 1953, стр. 85, 227, 247—248.

ложатся два падежа, абсолютный и активный, от которого образуются косвенные падежи, ср. *gugu* «спина», актив. *gug-jo*, дат. *gug-jo-r*, род. *gug-jo-s*, инстр. *gug-jo-d*. Из этих падежей используются в позиции подлежащего дидойского языка абсолютный и активный. Косвенные падежи [родительный, дательный и инструментальный (орудийный, творительный)] могут оформлять в ряде языков также и подлежащее (ср., например, в аварском). В дидойском эти падежи не используются в положении подлежащего, выделяемого абсолютными и активным падежами. Инструментальный падеж сохраняет в этом языке свое содержание косвенного падежа и выступает при именах существительных, не обозначающих человека. Имена же, обозначающие людей, лишаются данного падежа [11].

В некоторых языках вместо активного падежа выступает косвенный, передающий подлежащее переходного предложения. В одних языках с тем же назначением используется ряд косвенных падежей (ср. в аварском). В других языках в таком же положении выделяется один из косвенных падежей, например творительный и местный падежи в языках чукотско-камчатской группы, родительный в эскимосских. В эргативном строе предложения в этих языках используется также и абсолютный падеж. Он выступает со значением падежа эргативной конструкции в тех языках, в которых предложения переходного и непереходного действия ставят подлежащее в разных падежах.

Сопоставление приведенных синтаксических построений, использующих различные падежи подлежащего, указывает на то, что переходные и непереходные предложения объединяются в языках эргативной конструкции. В них не выделяется номинативная система предложения с его именительным падежом подлежащего. Их объединяет также и сам абсолютный падеж, выступающий со значением объекта переходного действия и субъекта непереходного в эргативном строе предложения.

*

Привлеченный материал и в том его ограниченном объеме, в каком он здесь дается, выявляет основную структуру предложения эргативной системы. Она выступает в различных синтаксических построениях и получает в научных исследованиях разное объяснение. Это позволяет мне высказать свое представление об основной структуре предложения данной синтаксической системы.

Эргативная система противопоставляется номинативной всей выступающей в ней конструкцией предложения. Различные в нем построения переходных и непереходных предложений объединяются постановкой в них подлежащего в падеже, устанавливаемом содержанием передаваемого действия. Различное его содержание устанавливает и то положение, в котором оказывается член предложения, поставленный в абсолютном падеже. Выполняя задания эргативной конструкции, он оформляет как прямое дополнение переходного предложения, так и подлежащее непереходного. Выступая прямым дополнением, он не переходит в винительный падеж, так же как не переходит в именительный, выступая подлежащим. Отсюда можно прийти к выводу, что непереходные предложения с абсолютным падежом подлежащего включаются в эргативную систему и не образуют номинативной.

С таким значением падежа эргативной системы выступает абсолютный в аварском языке. Здесь при безличной грамматической форме глагола используются разные падежи подлежащего. В их числе привлекается и

[11] См.: Д. С. Имнайшвили, Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками, Тбилиси, 1963, стр. 55, 60.

абсолютный, которым выражаются объектные отношения в переходном предложении и субъектные в непереходном. Передавая также и субъектные отношения, он выполняет нормы эргативного предложения и не выделяет номинативного (см. стр. 4).

Номинативное предложение не выделяется при том же абсолютном падеже и в языках, использующих личное спряжение. Личные окончания глагола в даргинском языке остаются теми же в переходных и непереходных предложениях. Они согласуются с подлежащим, стоящим как в активном падеже, так и в абсолютном, который передает свои классные показатели глаголу (см. выше). В абхазском языке главные именные члены предложения (подлежащее и прямое дополнение) по падежам не изменяются. Выражение отношений передаваемого действия к субъекту и объекту сосредоточивается в глагольных префиксах, размещаемых по системе, выработанной эргативным построением предложения. Его номинативный строй и здесь не выделяется (см. выше).

В некоторых языках переходные и непереходные предложения объединяются падежом подлежащего, например в мегрельском языке и бацбийском. В мегрельском подлежащее переходного и непереходного предложений ставится в одном и том же активном падеже. Подлежащее непереходного предложения в бацбийском языке ставится как в абсолютном падеже, так и в активном (см. выше). Оба эти падежа используются той же эргативной синтаксической системой, и подлежащее, поставленное не в активном, а в абсолютном падеже, не выделяет здесь номинативного предложения.

Эргативная конструкция противопоставляется номинативной всей выработанной в ней синтаксической системой. Отдельные грамматические формы могут совпадать в обеих системах построения предложения, но его главные члены и их грамматическое оформление получают в эргативной конструкции ею устанавливаемое значение. С таким эргативным содержанием используются не только активный и абсолютный падежи с закрепляемым за ними эргативным значением. Они выполняют в структуре предложения специальное назначение. Возлагаемое на них задание не отвечает тому, которое дается падежам номинативного строя предложения.

Активный падеж выделяет подлежащее и отмечает активное действие субъекта. Абсолютный падеж выделяет прямое дополнение, получающее ведущее положение в построениях переходного предложения. Он же оформляет подлежащее безобъектного действия, заменяя винительный и именительный падежи номинативного предложения. Оба эти падежа (активный и абсолютный) при таком их синтаксическом использовании выполняют задания, возлагаемые на них эргативной системой. Абсолютный падеж объединяет в ней переходные и непереходные предложения. Они включаются этим падежом в ту же эргативную структуру и не выделяют номинативной конструкции в предложениях непереходного действия.

Падежи, оформляющие главные члены, выделяются в синтаксических построениях и выступают в них со своим назначением падежей эргативной системы. Частичные схождения с номинативной системой обнаруживаются за пределами предикативной группы. Они ограничиваются падежами второстепенных членов предложения, когда их грамматическая форма не повторяется в главных членах и выделяет одни второстепенные.

Главные члены выделяются в эргативной структуре предложения не только активным и абсолютным падежами. Эргативное значение может получать в этой синтаксической системе также и тот член предложения, который, выступая подлежащим, передается не активным, а одним из косвенных падежей. Используемые эргативной конструкцией, эти кос-

венные падежи могут занимать положение, не соответствующее номинативной. Сохраняя ту же свою грамматическую форму, они могут в одном и том же предложении выступать и в главных, и во второстепенных его членах. Они могут оформлять как косвенное дополнение и определение, так и подлежащее.

Получая содержание члена эргативного предложения, подлежащее придает выступающему в нем косвенному падежу значение падежа эргативной конструкции. Это содержание, получаемое косвенным падежом по занимаемой им позиции подлежащего, связывается с его выступлением в косвенном дополнении. При нарушении образуемой связи оба члена предложения обособляются и подлежащее ставится в активном падеже.

С таким значением выступают эти падежи, например, в чукотском языке, в котором косвенный падеж, используемый в эргативной структуре предложения, оформляет как подлежащее, так и косвенное дополнение: *эпэ-нэ утт-э ръэқэвыркы-нин ы'ттъын* «дедушка палкой отгоняет собаку». В этом предложении и подлежащее (*эпэ-нэ* «дедушка») и косвенное дополнение (*утт-э* «палкой») стоят в одном и том же падеже *-нэ*, *-э*, получающем при таком его употреблении значение орудийного падежа эргативной системы. Глагол передает здесь субъектно-объектные отношения суффиксом *-нин* «он — его/ее». Орудийный падеж, выступая как падеж подлежащего, выполняет в предложении функции активного падежа эргативной конструкции. Замена его орудийным включает этот падеж в ту же эргативную систему. В орудийном падеже ставится здесь и подлежащее, и косвенное дополнение, что допускается построением предложения в эргативной системе. В таком положении не выступает творительный падеж, используемый в номинативной.

Косвенный падеж, оформляя подлежащее эргативного предложения, выполняет в нем функции, с которыми не выступают косвенные падежи номинативной системы. Такое же особое назначение получают падежи активный и абсолютный. Активный используется со специальным заданием выделять в подлежащем активное действие субъекта, которое не выделяется с таким же его содержанием в именительном падеже номинативного предложения. Абсолютный падеж оформляет член предложения, выделяя в нем субъект состояния [12]. Он передает как объектные отношения прямого дополнения, так и субъектные отношения подлежащего, что не возлагается на один и тот же член предложения номинативной системы. Выступая тем самым в переходных и непереходных предложениях, абсолютный падеж объединяет их, образуя разновидности той же эргативной конструкции.

---

[12] Ср. актуальное членение (см.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М.— Л., 1963, стр. 25—42).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. М. ЩЕРБАК

ТЮРКСКИЙ КОНСОНАНТИЗМ

В данной статье делается попытка реконструировать фонологическую систему согласных тюркского праязыка и дать краткое описание фонетических репрезентаций пратюркских фонем в современных тюркских языках[1].

Методы реконструкции, используемые нами, предопределены принятием той точки зрения, согласно которой система фонем рассматривается как производное от системы дифференциальных признаков. В связи с этим на первом этапе исследования производится анализ дифференциальных признаков согласных фонем в современных тюркских языках, затем выделяются общие, характерные признаки, с одной стороны, и частные, индивидуальные, с другой. Последний этап — поиски наиболее вероятных для праязыка типов сочетания дифференциальных признаков и конструирование системы.

При анализе дифференциальных признаков мы используем главным образом односложные слова[2], учитывая то обстоятельство, что в односложных словах согласные вовлечены в процессы синтагматического взаимодействия гласных и согласных в значительно меньшей степени, чем в словах, состоящих из двух-трех слогов[3].

I. Переходя непосредственно к анализу дифференциальных признаков, отметим, что фонологические оппозиции согласных в тюркских языках группируются по основному активному органу, по дополнительному активному органу, по участию голоса (или по силе артикуляционного напряжения) и по способу образования.

Оппозиция согласных по основному активному органу является многочленной: губные / губно-зубные / переднеязычные / среднеязычные/заднеязычные / увулярные / фарингальные. В дихотомической теории фонем рассматриваемую многочленную оппозицию принято сводить к двум

---

[1] О фонологической системе гласных тюркского праязыка и фонетической репрезентации пратюркских гласных фонем в современных тюркских языках см.: А. М. Щ е р б а к, О тюркском вокализме, сб. «Тюркологические исследования», М.— Л., 1963.

В статье используется традиционная тюркологическая транскрипция с небольшими изменениями, в основном для гласных. Так *ĭ*, *ĭ* — сверхкраткие (редуцированные) нелабиализованные полуузкие гласные (с оттенком *ə*), *ŏ*, *ŏ* — сверхкраткие (редуцированные) лабиализованные полуширокие гласные, *i̯*, *y̯* — полугласные элементы нисходящих дифтонгов.

[2] Вопрос о состоянии согласных в многосложных словах рассматривается в специальном разделе.

[3] Сочетаниями согласных в односложных словах практически можно пренебречь, так как они однотипны (сонорный + шумный, преимущественно смычный), ср. др.-тюрк. *kurt* «червяк», *jurt* «владение», *tört* «четыре», *ant* «клятва», *ajt* «скажи», *art* «зад», *kĭrk* «сорок».

типам бинарной оппозиции: 1) низкие (губные, губно-зубные, заднеязычные, увулярные и фарингальные согласные, при произношении которых ртовый резонатор оказывается неделимым)/высокие (переднеязычные и среднеязычные, образующиеся в условиях разделения ртовой полости на небольшие резонаторы); 2) компактные (от среднеязычных до фарингальных) / диффузные (от губных до среднеязычных). Данная процедура, в применении которой допускается целый ряд условностей, не получающих строгой фонологической интерпретации, может служить лишь вспомогательным приемом, необходимым, в частности, для составления матриц идентификации фонем.

Типично тюркские губные согласные — *п*, *б*, *м*. Другие губные и все губно-зубные согласные, встречающиеся в современных тюркских языках и, отчасти, в древних, появились довольно поздно, в результате преобразования других звуков или вследствие иноязычного влияния [4]. К переднеязычным относятся *с*, *з*, *т*, *д*, *р*, *н* и т. д. Среднеязычные согласные— *ш*, *j*, *ʧ*, *ч* и т. д. Группа заднеязычных (увулярных) включает в себя *k*, *ɣ*, *х*, *ӈ*. Фарингальные представлены одним звуком — *h*.

Анализ письменных памятников позволяет обнаружить еще одну, несомненно древнюю, группу согласных, относящуюся к многочленной оппозиции по основному активному органу: зубноязычные, или межзубные, согласные — *ϑ*, *δ*.

Дополнительным активным органом может быть мягкое нёбо (ср. ртовые / назальные согласные).

Противопоставление согласных по другому дополнительному активному органу (средняя часть языка; твердые / мягкие) встречается очень редко, ср. в западном (мишарском) диалекте татарского языка: *барам* «иду» / *бар'ам* «праздник», *аран* «конюшня» / *ар'ан* «напиток из кислого молока» [5]. Нетрудно заметить, что данное явление относится к числу инноваций (*бар'ам* < *бајрам*, *ар'ан* < *ајран*).

Р. Якобсон, опираясь на работы Г. Шарафа и других тюркологов, рассматривает в фонологическом аспекте и такое различие согласных по твердости / мягкости, которое обусловлено существованием сингармонизма, ссылаясь при этом на общепринятую фонологическую интерпретацию парности тюркских гласных [6]. Очевидно, в данном случае остается без внимания то обстоятельство, что характер различия «твердых» и «мягких» гласных, с одной стороны, и согласных, с другой, не одинаков.

По участию голоса и по силе артикуляционного напряжения согласные составляют двучленную оппозицию: глухие / звонкие, сильные / слабые [7].

Противопоставление глухих и звонких согласных обнаруживается во всех положениях, включая интервокальное, ср. татар. *бака* «лягушка»/ *баɣа* «смотрит», *тапа* «руби» / *таба* «сковорода», *бас* «стань, наступи» / *баз* «погреб», *аса* «вешает» / *аза* «балуется»; узб. *åтам* «мой отец» / *åдам* «человек», *ўкїт* «учи» / *ўбїт* «удобрение»; якут. *тал* «выбирай» / *дал* «загон для скота», *атаɓа* «его нога» / *адаɓа* «деревянные путы». Однако данное противопоставление является эпизодическим, не имеет большой

[4] Ср., например, *в* и *ф* в татарском, узбекском и других тюркских языках.

[5] См.: Р. Ф. Шакирова, Фонетические особенности говора татар Краснооктябрьского район Горьковской области (Мишарский диалект), сб. «Материалы по диалектологии», Казань, 1955, стр. 127—129; Н. Б. Бурганова, Особенности говора татар нагорной стороны ТАССР, там же, стр. 45—47.

[6] Р. Якобсон, К характеристике евразийского языкового союза, «Selected writings», I, 's-Gravenhage, 1962, стр. 174.

[7] Данная оппозиция может рассматриваться как разновидность оппозиции по дополнительному активному органу.

фонологической нагрузки, и поэтому вопрос о том, насколько оно типично для тюркских языков, требует специального рассмотрения.

Употребление звонких согласных в начальной позиции ограничено определенным количеством языков, а возможность противопоставления начальных *п* и *б*, *т* и *д*, *с* и *з* является минимальной в общетюркском масштабе. При этом все случаи противопоставления указанных звуков следует рассматривать как результат заимствования большого количества слов из нетюркских языков или как следствие семантической дифференциации параллелизмов, например: кумык. *кӧк* «небо» / *гӧк* «синий»[8], туркм. *тік* «шей» / *дік* «всовывай, втыкай», появление которых объясняется тем, что в ряде языков различие в употреблении начальных глухих и звонких носит характер диалектных расхождений (многие тюркские языки образовались в результате смешения разных диалектных типов), ср. туркм. *дӧрт* «четыре», *доку*ð «девять», *дартмак* «тянуть», *дарї* «просо», *гәлін* «невестка», *ҕадїм* «старинный», *ҕорkак* «трус» и туркм. (диалект.) *тӧрт*, *тоkку*ð, *тартмак*, *тарї*, *кәлін*, *кадїм*, *коркак*[9].

Примечательно, что в некоторых тюркских языках начальные *п* и *б*, *т* и *д*, *с* и *з* свободно заменяют друг друга, например в восточном диалекте татарского языка: *пїс* ~ *бїз* «мы», *піш* ~ *біш* «пять». Индифферентность в плане употребления глухих и звонких в этом диалекте хорошо иллюстрируется примерами передачи согласных в словах, заимствованных из русского языка, ср. *просать* «бросать», *боявились* «появились», *тача* «дача», *тым* «дым», *сабрать* «забрать», *зода* «сода»[10].

В конце слова в таких языках, как алтайский, шорский, тувинский, хакасский и якутский, выступают только глухие шумные согласные, в других тюркских языках глухие шумные явно преобладают. Частичное же озвончение конечных глухих *т*, *ч*, *п* в азербайджанском языке и более или менее полное озвончение *с* в азербайджанском, татарском, турецком, узбекском, уйгурском и других языках связано с наличием так называемой первичной долготы у предшествующего гласного, ср. азерб. *jат* ~ *jад* «чужой» (<*ð*āт*) и *jат* «ложись» (<*ð*ат*), *ач* ~ *aj* «голодный» (<*ā*ч*) и *ач* «открой» (<*ач*); туркм. *ҕāз* «гусь» (<*kāс*) и *кас* «стягивай» (<*kас*), *ҕїз* «девушка» (<*kїс*) и *кїс* «жми, дави» (<*kїс*).

Особый случай представляет наличие в исходе слова согласного *ҕ* (*г*) и противопоставление в этой позиции *k*/*ҕ* (*х*/*ҕ*, *к*/*г*), например в карлукско-уйгурских и огузских языках, ср.

Азерб.	Туркм.	Узб.	
бах	*бак*	*бâk*	«смотри»
баҕ	*бāҕ*	*бâҕ*	«связка, завязка»
—	*jак*	*jâk*	«зажги»
jаҕ	*jāҕ*	*jâҕ*	«масло, жир»
jїх	*jїk*	*jїk*	«вали, сваливай»
jїҕ	*jїҕ*	*jїҕ*	«собирай»
сїх	*ð*їk*	*сїk*	«жми, дави»
сїҕ	*ð*їҕ*	*сїҕ*	«вмещайся»

[8] См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.— Л., 1940, тр. 15.

[9] См.: Р. Бердыев, Диалектные данные туркменского языка — один из источников при разработке сравнительной грамматики тюркских языков, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков», III, Баку, 1963, стр. 21.

[10] См.: Г. Х. Ахатов, О восточном диалекте татарского языка, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков» («Труды Ин-та лит-ры и языка им. Низами [АН АзербССР]», XII), Баку, 1958, стр. 56, 57.

тах	*дак*	*так*	«прицепи, присоедини»
даƀ	*дāƀ*	*тāƀ*	«гора»
тӧк	*дӧк*	*тӱк*	«лей»
дӧj	*дӧв*	—	«бей, колоти»
ак	*ӓк*	*ӓк*	«сей»
āj	*ӓг*	*ӓг*	«сгибай»

Как показывают примеры, *ƀ (г)* нередко выступает и после краткого гласного; кроме того, можно было бы привести большое количество слов, в которых после долгого гласного *k (к)* остается глухим, ср. туркм. *āk*, узб. *āk* «белый», туркм. *jōk*, узб. *jўk* «нет», туркм. *гӧк*, узб. *кўк* «синий». Поэтому возможность возведения *ƀ (г)* к **k (к)*, выступающему в позиции после долгих гласных, кажется нам маловероятной, хотя в ряде случаев, например, в азербайджанском языке, озвончение *k* связано как раз с долготой предшествующего гласного, см. *аƀ* «белый». Остается предположить, что в приведенных выше примерах *ƀ (г)* является отражением смычного или щелевого сонанта **γ*.

Приблизительно так же обстоит дело с конечным *б*, обнаруживаемым в древних текстах и имеющим своеобразные отражения в современных тюркских языках, ср. др.-тюрк. *суб* «вода», *сӓб* «люби», *ӓб* «дом», *чаб* «слава, молва», *аб* «охота»; узб. *сув* «вода», *сӓв* «люби», *āв* «охота». Этот *б* должен быть возведен к щелевому сонанту **β*. Вместе с тем не исключено, что в данном случае мы имеем дело с довольно поздним рефлексом какого-либо другого звука. В этом отношении примечательно соответствие *б* звукам *γ (ƀ, г)* и *ӈ*, ср. др.-тюрк. *суб*, хакас. *суγ* «вода»; др.-тюрк. *ӓб*, хакас. *іб*, тоф. *ӧγ* «дом»; др.-тюрк. *аб*, хакас. *аӈ* «охота». Ср. также соответствие δ звуку *г* в староузбекском языке: *ӓδӓр* и *ӓгӓр* «седло», *кіδіз* и *кіегіз* «войлок».

Все сказанное выше свидетельствует о том, что в тюркском праязыке звонкие шумные согласные не противопоставлялись глухим и что, следовательно, признак глухости / звонкости не имел фонологической значимости.

Отсутствие фонологической оппозиции глухих и звонких согласных компенсировалось наличием противопоставления несонантов и сонантов, причем парные глухие и звонкие согласные являлись аллофонами одной фонемы.

Корреляция по признаку несонантность / сонантность включала в себя большое количество согласных, ср.

ϑ (δ)	*с (з)*	*ш (ж)*	*п (б)*	*т (д)*	*k (ƀ)*	
j	*р*	*л*	*м*	*н*	*ӈ*	
					γ	(?)

и занимала господствующее положение в фонологической системе праязыка.

Противопоставление по силе / слабости четко прослеживается только в начале слова и, пожалуй, только в тувинском языке, ср. *паш* «чаша (чугунная)» / *ба'ш* «голова», *пар* «тигр» / *бар* «есть, имеется», *тӓп* «пинай» / *дӓп* «говоря», *тал* «ива» / *дал* «точь-в-точь»[11]. В интервокальной позиции и в конце слова сильные ослабляются, и указанное противопоставление нейтрализуется.

[11] См.: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология, М., 1961, стр. 72. Весьма вероятно, что подобная оппозиция существует также в азербайджанском языке, в начале и в конце слова.

Противопоставление сильных и слабых согласных для тюркских языков является своеобразным выражением оппозиции глухих и звонких шумных[12] (сильные согласные представляют собой глухие, а слабые — звонкие, однако звонкость слабых факультативна). Данная оппозиция развилась в тех тюркских языках, в которых отсутствует фонологическое противопоставление глухих и звонких шумных согласных. Следует при этом отметить, что появление нового дифференциального признака (силы / слабости, в одном случае, и глухости / звонкости, в другом) было связано с ослаблением (озвончением) начальных согласных. Это ослабление (озвончение) не было равномерным: щелевые согласные оказались устойчивыми и сохранились без изменений, из смычных согласных раньше всех и почти повсеместно подвергся ослаблению (озвончению) начальный **n*. Что касается других смычных, то процесс ослабления (озвончения) их охватил далеко не все тюркские языки: огузские, тувинский и карагасский (**m*) или огузские и тувинский (**k*). При наличии контактов с другими диалектами или языками, сохранившими в начальном положении преимущественно сильные (глухие) согласные, огузские языки и тувинский язык пополняли группу слов с начальными сильными (глухими) за счет заимствований. Кстати сказать, некоторые диалекты самих огузских языков сохранили в начале слова глухие *m* и *k*[13].

Двучленной является также оппозиция согласных по способу образования: щелевые / смычные. Два звука, *ч* и *ǰ*,— смычно-щелевые, они могут быть противопоставлены и смычным и щелевым и таким образом обладают комплексным дифференциальным признаком. Данная оппозиция типична для тюркских языков, однако такие противопоставления, как *п/ф*, *б/в* и *k/x* не являются исконными.

Для отдельных тюркских языков, по-видимому, не исключена возможность образования пар, различающихся отсутствием или наличием аспирации. Примеры подобного разграничения согласных обнаружены в языке саларов и языке желтых уйгуров[14], ср.

В начале слова

салар.	ж.-уйг.
кал «останься» — *kʿал* «натяни лук»	*кол* «рука» — *kʿол* «проси»
кумур «уголь» — *кʿумур* «мост»	*каро* «смотри» — *kʿаро* «письмо»
кіму «горчица» — *кʿіму* «лодка»	*гэ̄ї* «чашка» — *кʿэ̄р* «войди»
там «стена» — *тʿам* «пресный»	*кӱр* «смотри» — *кʿӱр* «мера зерна»
пузї «теленок» — *пʿузї* «магазин»	*тала* «вьючь» — *тʿала* «равнина»
пат «утка» — *пʿат* «тони»	*пїр* «один» — *пʿїр* (звукоподражание полету птиц)

В конце слова

салар.	ж.-уйг.
ат «имя» — *аʿт* «конь»	*ак* «белый» — *аʿк* «теки»
от «огонь» — *оʿт* «сиди»	*ӭт* «делай — *ǰӭʿт* «мясо»

[12] Ср. у У. Ш. Байчуры: «В целом, более слабая артикуляция совпадает с возрастанием степени звонкости и сокращением квантитета. Напротив, усилению артикуляции сопутствует возрастание длительности и процента глухой части» (У. Ш. Байчура, Звуковой строй татарского языка в связи с некоторыми другими тюркскими и финно-угорскими языками, ч. II, Казань, 1961, стр. 71).

[13] См.: Р. А. Рустамов, Роль диалектных данных азербайджанского языка при разработке сравнительной грамматики тюркских языков, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков», III, стр. 11, 12; Р. Бердыев, указ. соч., стр. 21; U. Posch, Concerning the sonorisation of the Southwest Turkic languages, «Central Asiatic journal», IV, 3, 1959, стр. 166—173.

[14] См.: Э. Р. Тенишев, Система согласных в языке древнеуйгурских памятников уйгурского письма Турфана и Ганьсу, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков», III, стр. 124—126; его же, Саларский язык, М., 1963, стр. 15. См. также: С. Е. Малов, Язык желтых уйгуров, Алма-Ата, 1957, стр. 163.

Легко заметить, что в конечной позиции аспирация зафиксирована в односложных словах, которые в тувинском языке выступают с фарингализованными гласными, и, напротив, она не отмечена в словах, имеющих в тувинском языке чистые гласные, ср. тув. *am* «имя» (< **ām*), *om* «огонь» (< **ōm*), *ak* «белый» (< **āk*). Является ли в данном случае дифференциальным элементом придыхательность согласных или фарингализация гласных, сказать пока довольно трудно.

В начале слова противопоставление непридыхательных и придыхательных согласных, очевидно, имеет иное происхождение, чем в исходе. Окончательные суждения по этому вопросу станут возможными после проведения тщательных экспериментальных исследований языка саларов и языка желтых уйгуров.

В других тюркских языках аспирация является сопутствующим, несамостоятельным признаком. Максимально выраженной она бывает у сильных (глухих) смычных, выступающих в начальной позиции. Слабые (глухие) смычные могут быть аспирированными факультативно.

Подводя итог всему изложенному выше, можно высказать предположение, что в основе фонологической системы тюркского праязыка лежат четыре дифференциальных признака: 1) признак, вытекающий из наличия многочленной оппозиции по основному активному органу [губные / зубно-язычные / переднеязычные / среднеязычные / заднеязычные (увулярные)]; 2) неназальность / назальность; 3) несонантность / сонантность; 4) щелинность / смычность. Возможные (с точки зрения фонетики тюркских языков) комбинации этих признаков дают 15 согласных фонем, распределяемых следующим образом:

Таблица 1

Согласные тюркского праязыка

По способу образования	По основному активному органу	По участию голоса или силе артикуляционного напряжения			
		несонанты (сильные, слабые)	сонанты (сверхслабые)		
Щелевые	зубно-язычные переднеязычные среднеязычные заднеязычные (увулярные)	*θ* *с* *ш* 	*j* *л* *γ*	*р*	*ð*
Смычные	губные переднеязычные заднеязычные (увулярные)	*п* *т* *к*			*м* *н* *ŋ*
Смычно-щелевые	среднеязычные	*ч*			
		ртовые			назальные
		по дополнительному активному органу			

Сравнение данных, относящихся к праязыку и современным тюркским языкам, показывает, что основной и общей тенденцией развития тюркского консонантизма от древнего к современному состоянию было

постепенное выделение такого дифференциального признака, как глухость / звонкость (в отдельных тюркских языках: сила / слабость или, что не является окончательно установленным, придыхательность / отсутствие придыхательности), связанное с дивергенцией несонантов. Все другие изменения носили более частный характер и не получили широкого распространения. Примечательно, что в отличие от системы согласных фонем, обогатившейся новым признаком[15], система гласных, напротив, почти повсеместно утратила один из общетюркских дифференциальных признаков (долгота / краткость).

II. В тюркском праязыке имело место следующее распределение согласных фонем: сонанты употреблялись в конце слова и отсутствовали в начале, несонанты выступали и в начальной, и в конечной позициях.

Фонетическая репрезентация сонантов была относительно единообразной. Несонанты, как правило, имели три аллофона: 1) в начале слова (сильный, глухой), 2) в конце односложного слова, после кратких гласных (менее сильный, глухой), 3) в конце односложного слова, после долгих гласных (слабый, расположенный к озвончению). Глухость или звонкость слабых аллофонов находились в некоторой зависимости от характера самих звуков: *с* и *ш* могли быть звонкими, смычные и смычно-щелевые, для которых также не была исключена возможность озвончения в положении после долгих гласных, были обычно глухими. Конечный *ϑ* становился звонким независимо от комбинаторных условий.

/*ϑ/: в алтайском языке $*ϑ_1$ развился в *д′* (среднеязычный смычный полузвонкий), в тувинском, хакасском и шорском — в *ч* (в качинском диалекте хакасского языка — *ч̌*), в чувашском — в *с′*, в якутском — в *с*, в малкарском диалекте балкарского языка — в *з* (*ʒ*), в балкарском, казахском, каракалпакском, ногайском и татарском языках — в *ж̌* (*ǰ*), в киргизском языке — в *ǰ*, в остальных тюркских языках — в *j*, ср.

	*ϑāc «весна, лето»	*ϑ̄ā «ешь»	*ϑīл «год»	*ϑōk «нет»	*ϑāp «земля»	*ϑōл «дорога»
алт.	*д′ас*	*д′і*	*д′іл*	*д′ок*	*д′ӓр*	*д′ол*
балк. (малк.)	*заз*	—	*зіл*	*зок*	*зӓр*	*зол*
казах.	*ж̌аз*	*ж̌ӓ*	*ж̌іл*	*ж̌ок*	*ж̌ӓр*	*ж̌ол*
тув.	*час*	*чі*	*чіл*	*чок*	*чӓр*	*чол* «судьба»
туркм.	*jāδ*	*ī*	*jīл*	*jōk*	*jӓр*	*jōл*
чуваш.	*с′ур*	*с′і*	*с′ул*	*с′ук*	*с′ӗр*	*с′ул*
якут.	*сāс*	*сі ӓ*	*сіл*	*суох*	*сір*	*суол*

В азербайджанском языке *j*, развившийся из $*ϑ_1$, перед узкими гласными выпал, ср. *іл* «год», *ілхі* «табун лошадей», *ілан* «змея», *улдуз* «звезда», * үз* «лицо».

Указанные рефлексы не являются единственными для того или иного тюркского языка. В ряде языков, вследствие смешения диалектов, обнаруживаются разные отражения $*ϑ_1$ и имеет место частичное нарушение в общем вполне строгих закономерностей фонетических соответствий. Колебания обычно касаются *j* и *ǰ* (*ж̌*), ср. татар. *jаз* «весна», *jук* «нет», *ж̌іп* «нить», *ж̌іδі* «семь», *ж̌імеш* «фрукт» (*j* характерен для среднего диалекта, *ж̌* — для западного); уйг. *jаз* «весна», *jок* «нет», *ǰіл* «год», причем *j* принято считать типичным в основном для огузской и карлукско-уйгурской

[15] Ср.: L. Bazin, Structures et tendances communes des langues turques (Sprachbau), «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 13. Согласно традиционной точке зрения фонологическая оппозиция шумных согласных по признаку глухости / звонкости (силы / слабости) является изначальной. См. об этом: В. М. Иллич-Свитыч, Алтайские дентальные: *t*, *d*, δ, ВЯ, 1963, 6, стр. 37—56.

групп, *ǰ* — для кыпчакских языков. В якутском языке *ǰ* встречается в тюркских словах, перезаимствованных из монгольских языков, ср. *сїл* «год » и *ǰїл* «год, время» (календ.). В балкарском, ногайском и татарском языках *ж* сам по себе варьирует от щелевого до смычно-щелевого. В говорах кызыльского диалекта хакасского языка на месте пратюркского $*\vartheta_1$ выступают *ш* и *ǰ*, в говоре шорцев с р. Кондомы — *т'*, в северных диалектах алтайского языка — *ч*, *ǰ* и т. д.[16].

Особого внимания заслуживают случаи появления на месте $*\vartheta_1$ звука *н* (или назализованного *ǰ*), ср. саг. *нан* «сторона», *нін* «кал», *ніскä* «тонкий», *наман* «плохой»; саг., койб. *наӈмїр* «дождь», *нан* «возвращайся»; саг., шор. *нузрук* «кулак»; шор. *нїмїрт* «черемуха», *нӧӈä* «невестка, жена старшего брата». Появление *н* в приведенных словах вызвано ассимилятивным воздействием носовых согласных. При отсутствии носовых переход *ǰ* ($< *\vartheta_1$) в *н* (ǯ) не наблюдается (в словах *ніскä* «тонкий» и *нузрук* «кулак» носовые согласные выпали, ср. др.-тюрк. *ǰінчкä*, койб. *нумзурук*).

Как уже указывалось, выше, конечный $*\vartheta$ становился звонким, т. е. переходил в δ, независимо от комбинаторных условий (и после долгих, и после кратких гласных).

Звук δ был реальным фонетическим явлением вплоть до XI—XII вв. По свидетельству Махмӯда Кашгарӣ он употреблялся в языке чигилей; в языках же ягма, тухси, кыпчаков, ябагу, татар, кай, чумул и огузов ему соответствовал *ǰ*, у некоторых кыпчаков, йимаков, суваров и булгар—*з*.

В бо́льшей части современных тюркских языков $*\vartheta_{2,3}$(δ) отразился в виде *ǰ*, в хакасском и шорском — *с* (в говоре шорцев с р. Кондомы — *ǰ*)[17], в тувинском и якутском — *т*, в чувашском — *р*. Примеры:

	$*kо\vartheta$ «клади, ставь»	$*mо\vartheta$ «насыщайся»	$*kу\vartheta$ «лей»	$*kä\vartheta$ «одевай»
алт.	*коǰ*	*моǰ*	—	*кіǰ*
тув.	—	*тот*	*кут*	*кӱт*
хакас.	*хос*	*тос*	*хус*	*кіс*
чуваш.	*хур*	*тăран*	—	—
якут.	—	*тот*	*кут*	*кӱт*

/*С/: во всех тюркских языках, кроме башкирского, туркменского, чувашского и якутского, $*c_1$ и $*c_2$ совпали в *с*. В башкирском языке $*c_1$ изменился в *h*, в туркменском — в ϑ, в чувашском — в *с* и *ш*, в якутском языке выпал. Отражением $*c_2$ в башкирском и туркменском языках является ϑ, в чувашском и якутском — *с*. Примеры:

	$*cу\gamma$ «вода»	$*cӯm$ «молоко»	$*ac$ «вешай»	$*kїc$ «жми, сжимай»
башк.	*hоу*	*hӧm*	$a\vartheta$	*кїϑ*
туркм.	ϑ*уу*	ϑ*ӯїт*	$a\vartheta$	*ӯїϑ*
чуваш.	*шїу*	*сӗт*	*ус*	*хӗс*
якут.	*ӯ*	*ӯт*	—	*кїhаǰ* «притесняй»

---

[16] См.: Н. П. Дыренкова, Грамматика ойротского языка, М.— Л., 1940, стр. 30; ее же, Грамматика шорского языка, М.— Л., 1941, стр. 18; Н. А. Баскаков, Ногайский язык и его диалекты, М.— Л., 1940, стр. 22; его же, Диалекты алтайского языка, «Уч. зап. Горно-Алтайск. НИИ истории, языка и лит-ры», 1, 1956, стр. 5; его же, Алтайский язык, М., 1958, стр. 70; Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул, Фонетические особенности хакасского языка и его диалектов, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, стр. 334, 359; Н. К. Антонов, О соответствии начальных *с/й* в якутских и тюркских именных основах, «Труды Ин-та языка, лит-ры и истории [Якутского филиала СО АН СССР]», 4(9), 1963, стр. 41—48.

[17] См.: Н. П. Дыренкова, Грамматика шорского языка, стр. 17.

Рефлексом *c_3 был по преимуществу *з* (полузвонкий или звонкий), в башкирском и туркменском языках[18] и некоторых говорах татарского языка — δ, в синарско-карабулакском говоре башкирского языка — *h*, в аргаяшском говоре башкирского языка — ϑ[19], в языках Сибири и Алтая, а также в северных говорах киргизского языка — *c*[20], в чувашском языке — *р*.

Примеры:

* *ī c* «след, знак»	башк. *ĭδ*, туркм. *ī̆δ*, тув. *ic*, чуваш. *ĭ̈ер*;
* *кȳ c* «осень»	баш. *кȳδ*, туркм. *гȳi̯δ*, тув. *кȳс*, чуваш. *кĕр*;
* *ка̄ c* «гусь»	башк. *каδ*, башк. (диалект.) *kah*, *kaϑ*, туркм. *ƀāδ*, тув. *кас*, чуваш. *хур*, якут. *хāс*;
* *кī c* «девушка»	башк. *кīδ*, башк. (диалект.) *kīh*, *kīϑ*, туркм. *ƀīi̯δ*, тув. *кīс*, чуваш. *хĕр*, якут. *кīс*;
* *кĭ̄ c* «накаляйся, становись красным»	башк. *кīδ*, туркм. *ƀīδ*, тув. *кīс*, чуваш. *хĕр*, якут. *кīс*;
* *ō c* «середина; сердцевина; сущность»	туркм. *ōδ* «свой», чуваш. *варă* «сердцевина», якут. *ȳōс* «середина»;
* *п ā c* «бязь»	туркм. *бāi̯δ*, чуваш. *пір*;
* *пȳ c* «лед»	башк. *бȳδ*, туркм. *бȳδ*, чуваш. *пăр*, якут. *бȳс* (*мȳс*);
* *с ā c* «болото, топкое место»	башк. *haδ*, башк. (диалект.) *hah*, *haϑ*, туркм. *сāδ*, хакас. *сас*, чуваш. *шур*;
* *сȳ c* «цеди»	башк. *hȳδ*, туркм. *сȳδ*, чуваш. *сĕр*;
* *ϑ ā c* «пиши, черти»	башк. *jaδ*, туркм. *jaδ*, чуваш. *с'ір*;
* *ϑ ā c* «расстели»	туркм. *jaδ*, узб. *jдз*, чуваш. *сар*;
* *ϑ ȳ c* «сто»	башк. *jȳδ*, туркм. *jȳδ*, чуваш. *с'ĕр*, якут. *сȳс*;
* *т ī c* «колено»	татар. *тĭз*, туркм. *ȳīδ*, чуваш. *чĕр*;
* *т ī̆ c* «нанизывай»	башк. *тīδ*, туркм. *ȳȳδ*, чуваш. *тір*;
* *т ȳ c* «соль»	башк. *тȳδ*, туркм. *ȳȳδ*, чуваш. *тăвар*, якут. *тȳс*.

Следы ротацизма в незначительных размерах обнаруживаются в разных тюркских языках, ср. алт. *сэміс*, кирг. *сэміз* «жирный», алт., кирг. *сэмір* «жирей»; узб. *кўкс*, *кўкрак* «грудь», *дз* «худей», *дрік* «худой», *сэз* «чувствуй, ощущай», *сэргак* «чуткий, чувствительный», *кутка*, *куткар* «спасай»; др.-тюрк. *-сіз* ~ *-сіз* — аффикс привативности у имен, *-сіра* ~ *-сірā* — аффикс глагольных форм привативности.

Таким образом, в основе разграничения *с* и *з* (*р*) в конце слова лежит дополнительная дистрибуция (глухой аллофон после краткого гласного, звонкий — после долгого гласного), и о чувашском ротацизме следует говорить как о вторичном явлении, ср.

Туркм.	Чуваш.
āδ «ошибайся, заблуждайся» / *aϑ* «вешай»	— / *ус*
ƀāδ «гусь» / *ƀaϑ* «стягивай»	*хур* / —
ƀīi̯δ «девушка» / *ƀīϑ* «жми, дави»	*хĕр* / *хĕс*
ōδ «сам, свой» / *ōϑ* «расти»	*варă* «сердцевина» / *ȳс*

Иногда, впрочем довольно редко, наличие *з* в конце односложного слова невозможно подкрепить ссылкой на долготу предшествующего ему

[18] По мнению Н. К. Дмитриева, туркменские ϑ и δ, в отличие от башкирских, — обычные зубные спиранты с неполной смычкой (Н. К. Дмитриев, Согласные *ç* и *ƀ* в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I — Фонетика, М., 1955, стр. 251).

[19] См.: Дж. Г. Киекбаев, О звуках *ç*, *ƀ*, *h* и их развитии в башкирском, туркменском и якутском языках, «Уч. зап. [Башкирск. Гос. ун-та]», 5, Серия филологическая, VI — Язык и литература, 1958, стр. 4.

[20] См.: И. А. Батманов, Современный киргизский язык, I, 4-е изд., Фрунзе, 1963, стр. 88, 111.

гласного в туркменском или якутском языках, ср. туркм. *сӱδ*, чуваш. *сĕр* «цеди»; туркм. *ӓδ*, узб. *ӓз* «дави»; турецк. *сӓз* «чувствуй»; туркм. *біδ*, чуваш. *ӓпір* «мы»; туркм. *сіδ*, чуваш. *ӓсір* «вы». Хорошо известно, что для тюркских языков, сохраняющих различение долгих и кратких гласных, процесс стирания общетюркских долгот не прошел бесследно. Поэтому нередко долгие гласные или дифтонги, восходящие к долгим гласным, сохраняются только в туркменском, или только в якутском, или в каких-либо других языках. Вместе с тем не исключена возможность исчезновения долготы гласных в некоторых словах в туркменском и якутском языках параллельно, так что приведенные выше слова могут быть отнесены именно к этому случаю.

В чувашском языке имеется небольшое количество слов, в которых на месте пратюркского $*c_3$ оказывается *с*. В подобных случаях, очевидно, мы имеем дело с относительно поздними заимствованиями из других тюркских языков Поволжья, ср.

Чуваш.	Башк.	Татар.
кус' «глаз»	*кӱδ*	*кӱз*
сіс «чувствуй»	*hіδ*	*сіз*
пăс «разрушай, порти»	*боδ*	*боз*
час «скорый»	*тіδ*	*тіз*

В исходе некоторых односложных слов, выступающих в туркменском языке с долгими гласными или дифтонгами, встречается, вопреки ожиданиям, *ϑ*, которому в чувашском языке закономерно соответствует *с*. Примеры:

	Туркм.	Чуваш.
āϑ	«вид ящерицы»	*ĵус* «горностай»
ĪϑĪ	«запах»	—
тӱϊϑ	«цвет, масть, вид»	*тĕс*

Это отклонение имеет, по-видимому, разные причины. Относительно *ĪϑĪ* можно твердо сказать о наличии в нем поздней, вторичной долготы, появившейся вследствие выпадения *ĵ*, ср. алт. *д'ім*, тув. *чім*, туркм. *ĪĪϑ*, якут. *сім*, др.-тюрк. *ĵĪδ*.

В слове *тӱϊс* появление *ϊ*, возможно, не есть следствие первичной долготы *ӱ*. В нашем распоряжении имеется несколько слов, в которых наличие *ϊ* после *ӱ* и *і* не является показателем их этимологической долготы, а обусловлено своеобразным развитием кратких гласных, например, юж.-хорезм. *діϊш* «зуб» (<*тіш), *кіϊз* «девочка» (<*кіс), но: узб. (кырк.) *ітім* «собака» (<*ім, ср. туркм. *ім*, якут. *ім*, тув. *і'м*), *ніϊм* «вошь» (<*нім, ср. туркм. *біт*, якут. *біт*, тув. *бі'м*)[21]. Не ясны пока обстоятельства, способствовавшие сохранению *ϑ* в слове *āϑ*.

/*Ш/: возможность употребления $*ш_1$ в начальной позиции была ограниченной или отсутствовала вообще, поэтому об отражениях $*ш_1$ в современных тюркских языках можно говорить лишь предположительно.

В казахском, каракалпакском, ногайском и хакасском языках рефлексы $*ш_1$ и $*ш_2$ совпали в *с*, в якутском языке рефлекс $*ш_1$ выпал, а $*ш_2$ развился в *с*, в чувашском языке $*ш_2$ перешел в *с'*, а в туркменском

[21] См.: Е. Д. Поливанов, Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка, «Изв. АН СССР», VII серия, Отд-ние гуманитарных наук, 1929, стр. 513, 533.

языке *ш₁ изменился в *ч*. В остальных тюркских языках рефлексы *ш₁ и *ш₂ совпали в *ш*. Примеры:

	*ш ī ш «опухоль»	*ш ā ш «оторопей»	*б а ш «голова»	*к а ш «чеши»	*п ī ш «зрей»	*к у ш «птица»
татар.	шĭш	шаш	баш	каш	пĭш	кŏш
туркм.	чīш	чāш	баш	ҕаша	біш	ҕуш
хакас.	сĭс	—	пас	—	пĭс	хус
чуваш.	шĭс'ă (<татар.)	—	пус'	хĭс'	пĭс'	—
якут.	іс «пухни»	—	бас	—	бус	кус «утка»

*Ш₃, будучи расположенным к озвончению в меньшей мере, чем *ϑ₂,₃ и *с₃, во всех тюркских языках, кроме чувашского, дал те же рефлексы, что и *ш₂. Для чувашского языка характерен так называемый ламбдаизм, т. е. употребление на месте *ш₃— *л* (*l*), ср.

	*т ā ш «камень»	*т ӯ ш «сон, сновидение»	*т ī ш «зуб»	*п ā̈ ш «пять»	*ϑ ā ш «слеза»
казах.	тас	тŏс	тĭс	бӓс	җас
тув.	даш	дӱш	діш	бӓш	чаш
туркм.	дāш	дӱ̨ш	дį̄ш	̣бāш	ј̄āш
хакас.	тас	тӱс	тĭс	пĭс	час
чуваш.	чул	мĕлĕк	шăл	пĭлĕк	с'ул
якут.	тāс	тӯл(тӱҺӓ - «видеть сон»)	тį̄с	біӓс	—

Слова *ĕс'* «работа» (ср. туркм. *іш*, якут. *іс*) и *тӱш* «грудь» (ср. туркм. *дöш*, якут. *тӱöс*) в чувашском языке, в которых на месте ожидаемого *л* выступают *с'* и *ш*, могли быть заимствованы из других тюркских языков Поволжья. Что касается чувашского *хĕл* «зима», в котором, напротив, следовало бы ожидать *с'* вместо *l* (ср. туркм. *біш*, якут. *кіс*), то вопрос о нем пока остается открытым.

Следы ламбдаизма сохранились во многих тюркских языках, причем *л* выступает преимущественно в интервокальном положении, ср. др.-тюрк. *ӓшік* ~ *ӓл*, чуваш. *алăк* «дверь»; башк. *кашык* «столовая ложка», *калак* «чайная ложка»; турецк. *дӓшік* ~ *дӓлік* «отверстие».

/*П/: в казахском, чувашском и шорском языках *п₁ отразился в относительно сильном глухом, в других тюркских языках — в звонком или полузвонком *б* (в ряде языков под влиянием последующих носовых согласных *б* изменился в *м*; в азербайджанском и турецком языках имели место случаи спирантизации *б*, например, *вӓр* «дай», *вар* «иди»). Примеры:

	*п а ш «голова»	*п а р «иди»	*п ā̈ р «дай»	*п ā н «я»	*п ī ң «тысяча»
турецк.	баш	вар	вӓр	бӓн	бін
туркм.	баш	бар	бӓр	мӓн	мӱң
хакас.	пас	пар	пір	мін	мун
чуваш.	пус'	пĭр	пар	ӓпĕ	пĭн
шор.	паш	пар	пӓр	мӓн	мун
якут.	бас	бар	біӓр	мін	—

Вследствие отмеченных выше особенностей исторического развития в каждом из тюркских языков обнаруживается некоторое количество слов с отступлением от закономерностей фонетических соответствий. Так, напри-

мер, в огузских, кыпчакских и карлукско-уйгурских языках в собственно тюркских словах наряду с *б* изредка выступает *п*.

Рефлексы $*n_2$ и $*n_3$ почти во всех тюркских языках совпали (> *п*, обычно нормальный смычный, реже — со слабой смычкой, например в сагайском диалекте хакасского языка, или с небольшим озвончением, ср. в азербайджанском языке и в отдельных диалектах других языков огузской группы). Примеры:

	*m a n «найди»	*ч а п «скачи»	*с а п «ручка»	*k ā n «мешок, сосуд»	*m ӯ n «дно»
азерб.	*man*	*чап*	*сап*	*ƀаб*	*діб*
казах.	*man*	*шап*	*сап*	*kап*	*mŏп*
татар.	*man*	*чап*	*сап*	*kап*	*mŏп*
тув.	*mïn*	*шап*	—	*хап*	*дӱп*
туркм.	*man*	*чап*	*ϑап*	*ƀān*	*дӱіп*
чуваш.	*туп*	*чуп*	—	*хупă* «скорлупа»	*тĕп*

/*Т/: в языках огузской группы рефлексом $*m_1$ явился преимущественно *д*, в чувашском языке — *т*, а также *ч* и *ш*, в других тюркских языках, кроме азербайджанского и тувинского, — *т*. В азербайджанском и тувинском языках на месте $*m_1$ развился слабый звук, который с фонологической точки зрения можно отнести к звонким. Ср.:

	*m ï л «язык»	*m ï̄ с «колено»	*m ï̄ ш «зуб»	*m ā γ «гора»	*m ā ш «камень»
тув.	*діл*	*діскӱк*	*діш*	*даγ̇*	*даш*
турецк.	*дil*	*діз*	*діш*	*даƀ*	*таш*
узб.	*mil*	*міз*	*міш*	*тāƀ*	*тāш*
чуваш.	*чĕлхӗ*	*чĕр*	*шăл*	*ту*	*чул*
якут.	*мїл*	—	*мї̄с*	*тїа* «лес»	*тāс*

$*m_2$ и $*m_3$ в абсолютном большинстве тюркских языков отразились в виде *т*. В азербайджанском языке на месте $*m_2$ выступает сильный, аспирированный *т*, на месте $*m_3$ — соответствующий слабый, подвергающийся озвончению в своей начальной части [22]. Ср.

	*a m «лошадь»	*ā m «имя»	*с ӯ m «молоко»	*o m «трава»	*ō m «огонь»
азерб.	*ат*	*ад*	*сӱд*	*от*	*од*
тув.	*а'т*	*ат*	*сӱт*	*о'т*	*от*
турецк.	*ат*	*ат*	*сӱт*	*от*	*от*
хакас.	*ат*	*ат*	*сӱт*	*от*	*от*
якут.	*ат*	*āт*	*ӯт*	*от*	*уот*

/*К/: на месте $*k_1$ (увулярный или относительно глубокий заднеязычный [23]), сохранившегося в большинстве тюркских языков, в кумыкском, тувинском и якутском языках встречаются *k* и *x*, в хакасском — *x*, в чувашском — *x* и *j*, в азербайджанском языке — слабый, полузвонкий; в туркменском — *ƀ*. $*K_1$ (заднеязычный) в азербайджанском, кумыкском, турецком и туркменском языках отразился, как правило, в виде соответствующего звонкого (в азербайджанском языке — среднеязычного

[22] См.: Ф. Кязимов, Система гласных фонем азербайджанского языка, ИАН ОЛЯ, 4, 1952, стр. 297.

[23] Правильнее говорить о *k*, употребляемом в словах с гласными твердого ряда, и *к*, встречающемся в словах с гласными мягкого ряда.

полузвонкого), в тувинском — *к* и *х*, в диалектах турецкого языка факультативно — *ч* и *ǰ* (ср. *чӑнḑі* «сам», *чішнӑ-* «ржать», *ǰӑl-*«приходить»)[24], в диалектах азербайджанского языка — *ч* (ср. *чічіх* «маленький», *чӑсір* «режет»), в тофаларском — *h*[25], в других тюркских языках — *к*. Примеры:

	**кӑл* «останься»	**кӑр* «снег»	**кол* «рука»	**кӧс* «глаз»	**кӑl* «приди»	**кӱн* «день»	**кӱч* «сила»
кумык.	*кал*	*кар*	*кол*	*гӧз*	*гӘl*	*гӱн*	*гӱч*
тув.	*кал*	*хар*	*хол*	—	*кӘl*	*хӱн*	*кӱш*
турецк.	*кал*	*кар*	*кол*	*гӧз*	*гӘl*	*гӱн*	*гӱч*
туркм.	*ɲӑл*	*ɲӑр*	*ɲол*	*гӧδ*	*гӘl*	*гӱн*	*гӱіч*
узб.	*кӑл*	*кӑр*	*кӱл*	*кӱз*	*кӘl*	*кӱн*	*кӱч*
хакас.	*хал*	*хар*	*хол*	—	*кіl*	*кӱн*	*кӱс*
чуваш.	*ǰул*	*ǰур*	*хул*	*кус'*	*кіl*	*кун*	—
якут.	*хӑл*	*хӑр*	*хол*	*кӧс* (*харах-кӧс*)	*кӘl*	*кӱн*	*кӱс*

Процесс спирантизации рефлексов *k_1(*$к_1$) наблюдается в той или иной мере во многих тюркских языках, однако ни в одном из них спирантизация не охватывает оба варианта полностью. В хакасском языке спирантизации подвергся только увулярный *k*, в якутском — увулярный *k* перед гласными *а* (*ӑ*) и *о* (*уо*). В тувинском языке имеет место смешанное употребление смычных и щелевых заднеязычных (увулярных). Очевидно, в литературном языке соединились два разных диалектных типа, в одном из которых спирантизация *k*(*к*) была всеобъемлющей.

Что касается *k_2(*$к_2$), то он оказался весьма устойчивым; тем не менее процесс спирантизации затронул рефлексы и этого звука в таких языках, как азербайджанский, караимский, хакасский, якутский и т. д. При этом в якутском языке спирантизация указанных звуков происходит в положении после гласных *а*(*ӑ*), *ӘӘ*, *о*, *ӧ* и дифтонгов *іа*, *іӘӘ*, *уо*, *ӱӧ*; после гласных *і*, *і*, *у*, *ӱ* выступает *k*(*к*). Звук *k_3(*$к_3$) во всех тюркских языках, кроме азербайджанского, имел те же отражения, что и *k_2(*$к_2$). В азербайджанском языке*k_3 отразился в слабом, полузвонком *ɣ*, а *$к_3$— в *ǰ*. Ср.:

	**ӑk* «белый»	**ok* «стрела»	**ϑӧk* «нет»	**ӑк* «сей»	**кӧк* «синий»	**ϑӱк* «вьюк»
азерб.	*аɣ*	*ох*	*ǰох*	*ӑк*	*кӧǰ*	*ǰӱк*
караим.	*ах*	*ок*	*ǰох*	—	*к'ок'*	*ǰук'*
туркм.	*ӑk*	*ок*	*ǰӧk*	*Ә́к*	*гӧк*	*ǰӱк*
хакас.	*ах*	*ух*	*чох*	—	*кӧк*	*чӱк*
чуваш.	—	*ухӑ*	*с'ук*	*ак*	*кӑвак*	*с'ӑк*
якут.	—	*ох*	*суох*	—	*кӱӧх*	*сӱк* «навьючивай»

/*Ч/: в башкирском, хакасском и якутском языках *$ч_1$ и *$ч_2$ развились в *с*, в казахском, каракалпакском, ногайском, тувинском и шорском — в *ш*, в диалектах балкарского языка — в *ц*; в других тюркских языках *$ч_1$ и *$ч_2$ совпали в *ч*. В чувашском языке *$ч_1$ отразился в *с'* и *ч*, а *$ч_2$ — в *с'*. *$Ч_3$ имел особый рефлекс (слабый, полузвонкий) только в азербайджанском языке. Примеры:

---

[24] См.: Ahmet Caferoğlu, Die anatolischen und rumelischen Dialekte, «Philologiae Turcicae fundamenta», I, стр. 252.

[25] См.: Н. П. Дыренкова, Тофаларский язык, сб. «Тюркологические исследования», стр. 9.

	*чĭн «истина, истинный»	*чāk «время»	*чап «коси»	*āч «голодный»	*ĭч «нутро»	*ōч «месть, злоба»
азерб.	—	чаḃ	чап	аǰ	ĭч	—
казах.	шĭн	шак	шап	аш	ĭш	ōш
татар.	чĭн	чак	чап	ач	ĭч	ȳч
туркм.	чĭн	чāḃ	чап	āч	ĭч	ōч
хакас.	сĭн	—	сап	ас	ĭстĭ	ȯс
чуваш.	чăн	—	—	вĭс'ă	ăш	—
якут.	—	сах	—	āс	іс	ōс

Все сонанты, выступавшие лишь в конце слова [26], в современных тюркских языках сохранились в первоначальном виде. Исключение составляют сонанты *γ, *ǰ и *β (существование последнего из них еще не является окончательно установленным). Сонант *γ в языках кыпчакской группы, азербайджанском, турецком, алтайском, чувашском и якутском языках развился в j, ȳ, ĭ или отразился в виде удлинения предшествующего гласного (в кыпчакских языках: ō, ау, уу — в словах твердого ряда, ĭ ɨ̄, ӓj, ӧj — в словах мягкого ряда; в турецком языке: ā, оу, уу, ау — в словах твердого ряда, ӱӱ, ӧӱ, ӧj — в словах мягкого ряда; в якутском языке: ĭа, ȳ — в первом случае, іӧ — во втором). В узбекском, уйгурском и хакасском языках на месте *γ выступает смычный (оглушенный) ḃ (г), в тувинском языке — щелевой сонант [27].

Примеры:

	*пāγ «шнур, связка»	*тāγ «гора»	*суγ «вода»	*чĭγ «собирай»	*āγ «сгибай»	*чĭγ «сырой»
алт.	бӱ	тӱ	сӱ	∂'у	—	чіj
казах.	бау	тау	суу	жĭj	іj	ші(кі)
кирг.	бō	тō	сӱ	ǰіj	іj	чіj(кі)
туркм.	бāḃ	∂āḃ	∂уу	ǰіḃ	ӧг	чĭг
узб.	бāḃ	тāḃ	суу	ǰіḃ	ӧг	—
хакас.	паḃ	таḃ	суḃ	чĭḃ	ӧг	чĭг
чуваш.	—	ту	шĭу	—	ав	—
якут.	бĭа	тĭа	ȳ	—	іӧх	сĭкӧj

Конечный назализованный *ɨ̃, выступавший в основах с твердорядными гласными, утратил назализованность и совпал с j. Лишь в единичных случаях, перед ∂ или по аналогии с соответствующими формами, на месте *ɨ̃ оказывается н, ср. алт. кандӱj, кaj «какой».

В заключение этого раздела необходимо отметить появление в тюркских языках перед гласными разных протетических звуков, которые естественно не могут иметь праформ, например, в (ср. чуваш. вут «огонь»), г (ср. кумык. гіз «след», гӧкӱн «раскаивайся»), j (ср. гаг. jӧкӱз «бык»), h (ср. кум. hав «охота», туркм. hōl, узб. hōl «влажный»).

Ниже мы помещаем таблицу (см. табл. 2) основных фонетических репрезентаций пратюркских согласных фонем в современных тюркских языках (знак «—» означает полное выпадение согласного и выпадение согласного с удлинением предшествующего гласного или образованием

[26] Только в одном собственно тюркском слове сонант встречается в начальной позиции — в вопросительном местоимении нӧ.

[27] См.: А. Ч. Куная, Звуковая система современного тувинского языка, Кызыл, 1957, стр. 50, 51.

дифтонга; в скобках приведены наиболее распространенные диалектные варианты).

III. Прежде чем говорить о качестве согласных в многосложном слове, необходимо выделить те наиболее характерные для них позиции, которые отсутствуют в односложном слове. Таких позиций две: конец и середина многосложного слова.

Конечная позиция в многосложном слове в плане ее воздействия на фонетическое качество шумных согласных идентична конечной позиции в односложном слове с долгими гласными. Так, например, в конце многосложного слова в огузских, кыпчакских и карлукско-уйгурских языках слабый *с (~ *c_3) стал звонким, а в чувашском языке перешел в *р* независимо от длительности гласных. **ш* в аналогичных позиционных условиях (~ *$ш_3$) дал в чувашском языке *л*, а конечные *п*, *т*, *к* и *ч* в азербайджанском языке и в диалектах других огузских языков подверглись озвончению.

Вместе с тем имеются некоторые частные особенности отражения согласных, обусловленные их положением в конце многосложного слова. К ним относятся: факультативное изменение *с* и *ш* в *т* в якутском языке, ср. *отут* «тридцать», *барбіт* «мы идем», *барбіт* «пошедший»; интенсификация процесса оглушения конечного *з* в кыпчакских, карлукско-уйгурских и огузских языках, ср. татар. *бармас* «не пойдет», узб. *тэкіс* «ровный», *кўкіс* «грудь»; переход *ӊ* в *н* в кыпчакских, карлукско-уйгурских и огузских языках, ср. татар. *каjї̆н*, тув. *хадїӊ*, турецк. *каjїн*, узб. *каjїн*, хакас. *хазїӊ*, чуваш. *хурăн* «береза»; изменение *ӊ* в *j* в караимском языке, ср. *барбїj* «ты пошел», *барсаj* «если ты пойдешь» и т. д.

Середина многосложного слова охватывает два важных позиционно-комбинаторных момента, влияющих на качество согласных: интервокальное положение и стечение согласных.

В интервокальном положении, которое представляет собой совершенно особый позиционный случай (4-я позиция), обычно происходит ослабление (озвончение) глухих согласных — частичное, значительное или полное, спирантизация смычных и выпадение сонантов.

В зависимости от широты распространения озвончения глухих согласных тюркские языки подразделяются на несколько групп, образующих последовательный ряд ступеней, крайние из которых представляют, с одной стороны, языки Сибири и Алтая, с другой, языки огузской и карлукско-уйгурской группы.

В чувашском языке и в языках Сибири и Алтая, исключая тофаларский и якутский языки, частичное, значительное или полное озвончение глухих согласных в интервокальном положении по существу не имеет ограничений: любой звук, выступающий или оказывающийся в интервокальном положении, может быть частично или полностью звонким. Глухость сохраняют только геминаты и *ч*, что объясняется долгим произношением последнего (например, в хакасском языке 22—26 сигм, тогда как при сочетании с согласными 11—14 сигм)[28]. В якутском языке *т* в указанных позиционных условиях остается глухим.

В кыпчакских языках в неразложимых основах могут быть представлены и глухие, и звонкие. При наращении аффиксов с начальными гласными становятся звонкими *п* и *к*, не подвергаются озвончению *т*, *с*, *ш*, *ч*.

В огузских и карлукско-уйгурских языках, как и в кыпчакских, в неразложимых основах представлены и глухие и звонкие согласные. При наращении аффиксов в огузских языках озвончение глухих согласных (*п*, *т*, *к* и *ч*) происходит в конце односложных слов с долгими гласными и в

[28] См.: Д. И. Чанков, Согласные хакасского языка, Абакан, 1957, стр. 65.

конце большинства многосложных слов. В языках карлукско-уйгурской группы, в отличие от огузских, глухие согласные (*п*, *т* и *к*) озвончаются только в интервокальной позиции, образуемой присоединением аффикса к многосложным словам.

Озвончение глухих согласных может происходить также в интервокальном положении на границе двух компонентов ритмической группы при слитном произношении слов (сандхи)[29]. Спирантизация шумных смычных согласных наблюдается в той или иной мере во всех тюркских языках.

Что касается выпадения сонантов и сонантизованных шумных согласных с последующим образованием вторичных долгих гласных и дифтонгов, то этот процесс наибольшее развитие получил в языках Сибири и Алтая, а также в некоторых кыпчакских языках.

В определенной зависимости от интервокального положения находится также геминация согласных.

Геминаты в тюркских языках образуются, во-первых, в результате стечения согласных на границе морфем, во-вторых, вследствие изменения формы слова и, наконец, независимо от того и другого. При этом первые два случая не имеют строгой позиционной обусловленности, и факты противопоставления геминат нормальным согласным, связанные с ними, относятся скорее к морфонологии, чем к фонологии, ср., например, узб *хāтін* «жена», *хāтіннi* «жену» и *хāтіні* «его жена»; чуваш. *ташă* «танец» и *ташшăм* «мой танец», *пĕр* «один», *віс'* «три» (при конкретном счете, т. е. с указанием объектов счета и т. д.) и *пĕррĕ* «один», *віс'с'ĕ* «три» (при отвлеченном счете). Иначе обстоит дело с последним типом удвоения согласных, который, по всей видимости, должен получить фонологическую интерпретацию, ср. азерб. *аддїм* «шаг», *jəдді* «семь», *сäккіз* «восемь», *доббуз* «девять», *саббал* «борода», кумык. *гіччі* «маленький», *каттī* «твердый»; тув. *ӭккі* «два»; узб. *іссік* «горячий, жаркий», *іккі* «два», *аччік* «горький», *тўккіз* «девять», *jəтті* «семь», *ўттіз* «тридцать».

Особенности позиционного ограничения геминации и отсутствие возможности сведения последнего типа к двум первым позволяют рассматривать геминацию как вспомогательное средство, обеспечивающее качественную устойчивость согласных в интервокальном положении. Геминированные глухие согласные не озвончаются, звонкие не подвергаются сонантизации, а сонанты не ассимилируются гласными. Поэтому данный тип геминации может рассматриваться как одна из форм выражения интенсивности: геминированные согласные являются более сильными и более устойчивыми в качественном отношении, чем обычные согласные[30]. Вместе с тем не следует игнорировать то обстоятельство, что интенсивность и геминация в тюркских языках — явления, существенно различающиеся между собой. Интенсивность сама по себе характерна для начальной и конечной позиции в слове, причем интенсивные или сильные согласные всегда глухие. Геминация же невозможна ни в начале, ни в конце слова; геминироваться могут как глухие, так и звонкие согласные[31].

---

[29] См.: Д ж. Г. К и е к б а е в, О согласных *к* — *к* и *г* — *г* в начале слова в башкирском и других тюркских языках, «Уч. зап. [Башкирск. гос. ун-та]», 5, Серия филологическая, VI — Язык и литература, стр. 19—22. См. также: Н. К. Д м и т р и е в, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 35; е г о ж е, Ассимиляция и диссимиляция согласных в кумыкском языке, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. I, стр. 300; И. А. Б а т м а н о в, указ. соч., стр. 145.

[30] См.: А. М а р т и н е, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 181.

[31] См.: Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 193—198.

Существует также ряд частных явлений, наблюдаемых только или преимущественно в интервокальном положении[32].

Второй важный позиционно-комбинаторный момент в середине многосложного слова — стечение согласных.

При стечении согласных возникают ассимилятивные и диссимилятивные процессы, которые в большинстве случаев направлены от основы к аффиксу: после глухих согласных основы начальные согласные аффиксов глухие, после звонких согласных основы смычные согласные аффиксов озвончаются, а щелевые сохраняют глухость (в алтайском, тувинском, хакасском и шорском языках озвончению подвергаются и щелевые). Исключения из этого правила распространяются в основном на сочетания сонорных с шумными согласными. При этом в так называемых неразложимых основах явно преобладают сочетания сонорных с глухими шумными (хотя, например, в тувинском языке и в этом случае выступают звонкие шумные); в формах, имеющих прозрачную морфологическую структуру, обычно встречаются сочетания сонорных со звонкими шумными.

Регрессивная ассимиляция и диссимиляция не типичны для тюркских языков и наблюдаются довольно редко.

IV. В заключение попытаемся дать общую характеристику фонетических изменений согласных в тюркских языках.

Основное место в развитии тюркских согласных в период после дробления языка-основы занимали процессы ослабления (озвончения) и спирантизации.

Процесс озвончения, по-видимому, начался еще в праязыке и интенсивно протекал на стадии существования региональных общностей. Причины его следует искать во взаимодействии согласных с гласными как внутри слова, так и в ритмических группах (см. сандхи), отчасти в исчезновении так называемой первичной долготы гласных. С процессом озвончения связаны возникновение ротацизма и ламбдаизма в чувашском языке, развитие звонких анлаутных согласных в разных тюркских языках и, особенно — в огузских, появление *j*.

Ротацизм и ламбдаизм чувашского языка продолжительное время находятся в центре внимания тюркологов и занимают важное место в алтаистических исследованиях, так как соответствия *з/р* и *ш/л* прослеживаются в тюрко-монгольских, тюрко-монголо-тунгусских и даже в тюрко-корейских лексических параллелях. Г. Рамстедт и многие другие исследователи, разделяющие его точку зрения, считают, что в тюркском праязыке существовали особые **р′* и **л′*, совпавшие в чувашском языке с рефлексами **р* и **л*, а в других тюркских языках развившиеся в *з* и *ш*[33]. Как справедливо отметил Б. А. Серебренников, гипотеза Г. Рамстедта построена без учета особенностей развития чувашского и, добавим, тюркского консонантизма и остается недоказанной[34]. Изложенные выше факты, относящиеся к описанию фонологической системы согласных тюркского праязыка, свидетельствуют о том, что чувашский ротацизм и ламбдаизм — довольно поздние явления, связанные со своеобразным преломлением пратюркских **c_3*(~ *з*) и **$ш_3$*(~ *ж*), т. е. тех позиционно-комбинаторных вариантов, в которых реализовались фонемы */*с/* и */*ш/*.

---

[32] Об этих явлениях см.: Н. А. Баскаков, Алтайский язык, стр. 71; Н. С. Григорьев, О закономерности диссимилятивного чередования *h* и *с* в якутском языке, «Уч. зап. Якутского гос. ун-та», Серия обществ. наук, II, 1957.

[33] G. J. Ramstedt, Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen, «Journ. de la Société finno-ougrienne», XXXVIII, 1922—1923, стр. 26—32; его же, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, I — Lautlehre, Helsinki, 1957, стр. 103—106.

[34] Б. А. Серебренников, О некоторых спорных вопросах сравнительно-исторической фонетики тюркских языков, ВЯ, 1960, 4, стр. 62—65, 70—71.

Проблема возникновения звонких анлаутных согласных в разных тюркских языках получила довольно глубокое освещение [35], и в данном случае необходимо лишь указать, что причиной озвончения могло быть не только сандхи, но и просто положение согласных перед гласными в слове.

Особого внимания заслуживает вопрос о начальном *j*. Не углубляясь в детали различных высказываний по этому вопросу, резюмируем то, что было изложено в одном из предыдущих разделов. Система согласных фонем и их распределение в тюркском праязыке таковы, что совершенно исключается возможность употребления *j* в начале слова. В начальной позиции *j* восходит к *ϑ, глухому межзубному спиранту, аллофоном которого в интервокальном положении и в конце слова был *δ [36]. Наиболее близкие к праформе рефлексы *ϑ представлены в чувашском (*c'*) и якутском (*c*), т. е. в тех языках, которые, по общему мнению, сохранили значительное количество древних черт. Наиболее отдаленное отражение — в огузских и карлукско-уйгурских языках (*j*), которые обычно рассматриваются как «относительно новые тюркские языки». Б. А. Серебренников, возражающий против этой точки зрения и считающий *j* изначальным согласным, акцентирует внимание на таких случаях, как, например, изменение *j* > *ч* в заимствованном из русского языка слове *яблоко* в сагайском диалекте хакасского языка. «Если бы в этом языке,— пишет Б. А. Серебренников,— не имел места процесс превращения начального *j* в *č*, русск. *яблоко* никогда не могло бы превратиться в *čablak*» [37]. Подобные случаи не находятся в противоречии с положением о довольно позднем появлении *j*. Употребление *ч* вместо *j* в заимствованных словах свидетельствует лишь о том, что сагайцы не могут произносить *j* в начале слова, оглушают его и заменяют звуком *ч* (*j* и *ж* в сагайском диалекте в начальной позиции отсутствуют). То же самое наблюдается у шорцев, якутов и других тюрок, ср. шор. *Чakïn* (< русск. *Яков*), якут. *jāhïk* (< русск. *ящик*), *jāpïc* (< русск. *ярус*). Примечательно, что в таких тюркских языках, как, например, узбекский (в начале и конце слова) и хакасский (в начале слова) *j* является в значительной мере шумным [38].

Процесс спирантизации начался в тюркских языках значительно позже процесса озвончения и поэтому хорошо прослеживается по древним памятникам. В начале и конце слова он охватывает главным образом заднеязычные, увулярные согласные и среднеязычную аффрикату *ч*, в интервокальном положении — *k*,*к* (*ҕ*, *г*) и *п* (*б*).

Из других фонетических изменений необходимо выделить замену межзубного спиранта *ϑ* (< *c_1) гортанным спирантом *h* в начале слова в башкирском языке, выпадение начального *c* в якутском языке и переход *k* в *j* в небольшой группе слов чувашского языка.

По мнению Дж. Г. Киекбаева, с которым нетрудно согласиться, одной из важных причин перехода *c* > *ϑ* > *h* в башкирском языке было появление нового *c* (< *ч). Появлением нового *c* (< *$ϑ_1$) можно объяснить также утрату первичного *c* (< *c_1) в якутском языке [39].

Причины, вызвавшие переход анлаутного *k* в *j* в чувашском, не вполне

---

[35] См.: Ahmet Caferoğlu, указ. соч., стр. 249; Дж. Г. Киекбаев, О согласных *к* — *к* и *г* — *г* в начале слова в башкирском и других тюркских языках, стр. 21.

[36] Кстати сказать, и *δ в большинстве тюркских языков развился в *j*.

[37] Б. А. Серебренников, указ. соч., стр. 67.

[38] См.: Д. И. Чанков, указ. соч., стр. 106; С. Атамирзаева, Звуковой состав наманганского говора узбекского языка (экспериментальное исследование). Канд. диссерт., Л., 1963, стр. 102.

[39] Дж. Г. Киекбаев, О звуках *ç*, *ǯ*, *h* и их развитии в башкирском, туркменском и якутском языках, стр. 8—9.

Основные фонетические репрезентации пратюркских

Праформы / Языки		/*ϑ/		/*С/			/*Ш/			/*П/			/*Т/		
		$*ϑ_1$	$*ϑ_{2,3}$	$*c_1$	$*c_2$	$*c_3$	$*ш_1$?	$*ш_2$	$*ш_3$	$*n_1$	$*n_2$	$*n_3$	$*m_1$	$*m_2$	$*m_3$
Азербайджанский	несонанты	*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*, *ч*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*б*	*д*	*т*	*д*
Алтайский		*д'(ч,j)*	*j*	*с*	*с*	*с*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Балкарский		*ж(з)*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Башкирский		*j*	*j*	*h*	*ϑ*	*δ(ϑ,h)*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Гагаузский		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*д*, *т*	*т*	*т*
Казахский		*ж(j)*	*j*	*с*	*с*	*з*	*с*	*с*	*с*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Караимский		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Каракалпакский		*ж(j)*	*j*	*с*	*с*	*з*	*с*	*с*	*с*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Киргизский		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Кумыкский		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Ногайский		*ж(j,j)*	*j*	*с*	*с*	*з*	*с*	*с*	*с*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Татарский		*ж*, *j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б(п)*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Тувинский		*ч*	*т*	*с*	*с*	*с*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*д*, *т*	*т*	*т*
Турецкий		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*д*	*т*	*т*
Туркменский		*j*	*j*	*ϑ*	*ϑ*	*δ*	*ч*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*д*	*т*	*т*
Узбекский		*j*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Уйгурский		*j*, *ж*	*j*	*с*	*с*	*з*	*ш*	*ш*	*ш*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Хакасский		*ч(ш,j)*	*с*	*с*	*с*	*с*	*с*	*с(ш)*	*с(ш)*	*п*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Чувашский		*с'*	*р*	*с*,*ш*	*с*	*р*	*ш*	*с'*	*л*	*п*	*п*	*п*	*т*,*ш*,*ч*	*т*	*т*
Шорский		*ч(т',ш)*	*с(j)*	*с*	*с*	*с*	*ш*	*ш*	*ш(с)*	*п*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*
Якутский		*с*	*т*	—	*с*	*с*	—	*с*	*с*	*б*	*п*	*п*	*т*	*т*	*т*

ясны, хотя этот вопрос рассматривался многими тюркологами [40]. В данном случае заслуживает предпочтения та точка зрения, которая связывает данный переход с первичной долготой гласных [41].

Исходя из точки зрения Х. Педерсена и Л. Лигети и опираясь на некоторые языковые факты, мы считаем возможным предположить, что пратюркские долгие гласные могли реализоваться в тюркских языках в виде дифтонгов, причем широкие гласные — как восходящие дифтонги, а узкие — как нисходящие, ср.

$\bar{a}$	$\bar{o}$	$\bar{\bar{a}}$	$\bar{\bar{o}}$	$\bar{y}$	$\bar{\bar{i}}$	$\bar{\bar{y}}$	$\bar{\bar{i}}$
ia	*yo*	*iā*	*yō*	*yi̯*	*ii̯*	*ÿi̯*	*ii̯*

В одних тюркских языках дифтонгизация долгих представляла собой редкое факультативное явление и не оказала никакого влияния на происходившие в них фонетические процессы, в других — она приобрела характер закономерности и оставила заметный след. Так, в якутском языке имеются дифтонги *iə̄*, *yo*, *ÿö*, восходящие соответственно к пратюркским $*\bar{a}$, $*\bar{o}$ и $*\bar{\bar{o}}$; ср. *біə̄с* «пять» (<$*n\bar{a}ш$), *біə̄р* «дай» (<$*n\bar{a}p$), *суол* «дорога» (<$*ϑ\bar{o}л$), *уот* «огонь» (<$*\bar{o}m$), *кÿöх* «синий» (<$*k\bar{\bar{o}}k$). В туркменском языке встречается дифтонг *ÿi̯*,

[40] См.: V. Grönbech, Forstudier til tyrkisk, Lydhistorie, København, 1902 (подробное изложение — в журн. «Keleti Szemle», IV, 1903, стр. 231—234); G. J. Ramstedt, Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen, стр. 20, 21.

[41] Наиболее последовательно эта точка зрения была изложена Х. Педерсеном и Л. Лигети (H. Pedersen, Türkische Lautgesetze, ZDMG, 57, III, 1903, стр. 555, 556; L. Ligeti, Les voyelles longues en turc, JA, CCXXX, avril-juin, 1938).

Таблица 2

согласных фонем в современных тюркских языках

/*К/						/*Ч/				/*ỉ/	/*Р/	/*Л/	/*М/	/*Н/	/*γ/		/*Ц/	/*f/
*k_1	*k_2	*k_3	*$к_1$	*$к_2$	*$к_3$	*$ч_1$	*$ч_2$	*$ч_3$		*ỉ	*р	*л	*м	*н	*γ	*γ′	*ц	*f
б	х	б	г	к	ỉ	ч	ч	ǰ	сонанты	ỉ	р	л	м	н	б,ў	ỉ	н(ц)	ỉ
к	к	к	к	к	к	ч(ш)	ч(ш)	ч(ш)		ỉ	р	л	м	н	—	ỉ	ц	ỉ
к	к(х)	к(х)	к	к(х)	к(х)	ч(ц)	ч(ц)	ч(ц)		ỉ	р	л	м	н	—	ỉ	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	с	с	с		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к	к	к	г,к	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	—,ỉ	—,ỉ	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ш	ш	ш		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к	х	х	к	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	н,ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ш	ш	ш		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	—	ỉ	ц	ỉ
к,х	к	к	г	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ш	ш	ш		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ч(ч,ц)	ч(ч,ц)	ч(ч,ц)		ỉ	р	л	м	н	ў	ỉ	ц	ỉ
к,х	к	к	к,х	к	к	ш	ш	ш		ỉ	р	л	м	н	γ	γ′	ц	ỉ
к	к(х)	к(х)	г	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
б	к	к	г	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
к	к	к	к	к	к	ч	ч	ч		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
х	х	х	к	к	к	с(ч,ш)	с(ч,ш)	с(ч,ш)		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
х,ỉ	к	к	к	к	к	с′, ч	с′	с′		ỉ	р	л	м	н	ў,—	ỉ,—	ц,м	ỉ
к	к	к	к	к	к	ш	ш	ш		ỉ	р	л	м	н	б	г	ц	ỉ
х,к	х,к	х,к	к	х,к	х,к	с	с	с		ỉ	р	л	м	н	—	х,к	ц	ỉ

восходящий к *ў, ср. *ўўіт* «молоко» (<**сӯт*), *гўіδ* «осень» (<*кӯс*), *δўіш* «сон» (<*тӯш*). Кроме того, в туркменском языке (по-видимому, существовал дифтонг *іэ* (<*ā*), который дал вторичную долготу в своеобразном отражении (*ī*), ср. *гīц* «широкий» (<*кāц*), *ī* «ешь» (<*δā*), *гīδä* «вечер» (<*кāчä*), *δī* «говори» (<*тā*).

В чувашском языке на одном из этапов его развития также проявлялась тенденция к реализации долгих гласных в виде дифтонгов. Об этом свидетельствует существование таких форм, как *кāвак* «синий» (ср. якут. *кўöх* <*кōк*), *тāватă* «четыре» (ср. якут. *тўöрт* <*тōрт*), *тāвар* «соль» (ср. якут. *тӯс* <*тӯс*), *вут* «огонь» (ср. якут. *уот* <*ōт*). Вполне вероятно, что переход *k* в *ỉ* — одно из следствий проявления этой тенденции. После образования форм типа *хїал «оставайся», *хїан «кровь» первый компонент дифтонга постепенно превратился в самостоятельный звук *ỉ*, а этот последний вытеснил *х*, так как стечение согласных в начале слова в тюркских языках недопустимо. В других словах аналогичным путем *т* изменился в *ч* (ср. *чул* «камень» <*тāш*), а на месте начального долгого гласного появилось сочетание *ỉа* (ср. *ỉат* «имя» <*āт*). Нельзя не отметить при этом, что переход *k* в *ỉ*, *т* в *ч* и появление *ỉ*, как правило, наблюдается перед долгим *ā* [42], т. е. в таких позиционно-комбинаторных условиях, которые могли обеспечить развитие только дифтонга *їа* (>*іа*>*ỉа*).

[42] Данные изменения не являются регулярными, что можно объяснить многослойностью чувашского языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

Я. РИГЛЕР

К ПРОБЛЕМЕ АКАНЬЯ

До сих пор произношение *а* вместо безударного *о* в славянских языках считалось явлением вторичным. В последнее время против этого мнения выступили такие крупные ученые, как А. Вайян и В. Георгиев. А. Вайян заявил без специальной аргументации, что в русских акающих говорах и в белорусском языке праславянское краткое *а* перешло в *о* только под ударением, сохранившись в других позициях [1]. В. Георгиев в докладе на V международном съезде славистов в Софии решительно поддержал эту гипотезу [2]. По мнению В. Георгиева, такое состояние сохранилось и в акающем смолянском говоре болгарского языка. Выдвигая некоторые лингвистические и исторические доказательства, В. Георгиев не касается фактов словенского аканья. Между тем решению вопроса о характере возникновения славянского аканья могло бы немало способствовать привлечение фактов словенского языка, который, несмотря на большую скудость исторических памятников, позволяет довольно полно восстановить первичное состояние. Хотя развитие словенского краткого вокализма до некоторой степени отличается от развития безударного вокализма в русском и болгарском языках — и прежде всего тем, что в словенском языке редукция сильнее всего захватывает гласные верхнего подъема (диффузные) — тем не менее в словенских говорах имеется много особенностей, параллельных явлениям, наблюдаемым в русском и болгарском языках; таким образом, факты словенского языка позволяют оспаривать возражения против вторичности русского и болгарского аканья, несмотря на то, что и то и другое аканье между собой генетически не связаны. Аканье, развившееся в некоторых словенских диалектах,— несомненно явление вторичное. Это можно убедительно доказать. Дело в том, что словенский язык очень рано утратил безударные долготы, сохранив при этом в большинстве диалектов количественные различия ударных гласных. В историческом развитии словенского языка количественные отношения в области ударных гласных и место ударения подверглись определенным изменениям, что позволяет устанавливать качество гласных для более древних эпох [3].

Приведем некоторые данные в доказательство вторичности словенского аканья.

В некоторых говорах словенского языка наблюдается последовательное аканье во всех кратких слогах. В этих диалектах аканье появляется

---

[1] A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I, Lyon—Paris, 1950, стр. 107.

[2] В. Георгиев, Праславянский и индоевропейский языки, сб. «Славянска филология», III, София, 1963, стр. 17—29; ср.: его же, Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка, ВЯ, 1963, 2.

[3] Об акцентных отношениях в словенском языке см. обзорную статью: F. Ramovš, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, «Slavistična revija», III, 1950 (польский перевод в кн.: «Z badań nad językami Jugosławii», Warszawa, 1961). Относительную хронологию, устанавливаемую в этой статье, можно принять, абсолютная же нуждается в некоторых коррективах.

и под кратким ударением, т. е. оно обусловливается не безударностью, а краткостью слога. Бывшее краткое *о* (праслав. *ă*) в словенском языке под акцентами различного происхождения (старыми и передвинутыми) в различные эпохи удлинялось; современные словенские диалекты — в том числе диалекты с полным аканьем — имеют *о* (или же различные рефлексы, которые можно выводить только из *о*) во всех удлиненных или по крайней мере во всех рано удлинившихся слогах, что ясно свидетельствует о существовании *о* на месте былого *ă*. *О* должно было уже существовать в эпоху двух древнейших, видимо, еще общесловенских акцентно-количественных изменений — сокращения праславянского старого акута (тип *brátrъ* > *bràt*, *nášь* > *nàš*) и удлинения с передвижением праславянского краткого циркумфлекса (*nȍs* > *nôs*, *kȍlo* > *kolō*). Оба явления следует датировать очень рано; сокращение акута иногда датируют VI—VIII вв.[4]; с большей вероятностью его можно было отнести к IX в. (оно было по крайней мере также и сербскохорватским). Удлинение циркумфлекса следует отнести примерно к этому же времени; может быть, оба явления находятся даже в причинной связи. Субституции показывают, что гласный *о* под циркумфлексом уже в XII в. если еще не стал дифтонгом, то по крайней мере сузился[5]. Следовательно, в словенском языке *о* должно было развиться еще до сокращения старого акута (первоначально оно могло быть очень широким). Когда в результате сокращения старого акута происходили изменения типа *nášь* > *nàš*, *náša* > *nàšı*, то в словах типа *nȍž* из *nožь* или *nȍša* гласный должен был отличаться от краткого *а*, иначе бы наступила нейтрализация староакутового *а* и новоакутового *о*[6]. Этот факт доказывает наличие гласного *о* в эту эпоху по крайней мере в ударных слогах.

Это доказывается и другими фактами. Циркумфлексное *о* (тип *nos*, *most*), в словенском языке удлинившееся первым, должно было ко времени удлинения иметь тембр *о*, иначе оно совпало бы с циркумфлексным *а* (тип *las* «волос», *mast* «жир»). Оно определилось в этой позиции одновременно с другими позициями и получило особое развитие не из-за своего особого качества[7], а потому, что после удлинения оно заняло в системе долгого вокализма другое место, чем в кратком. В системе долгого вокализма оно вступило в корреляцию с *ē* и развивалось параллельно с ним, в системе же краткого вокализма оно оставалось в паре с этимологическим *е*[8]. Позднее большинство словенских диалектов (включая все акающие говоры) удлинило неконечные краткие ударные слоги (*nàša* > *nâša*, *nȍša* > *nóša*), в то время как конечные оставались краткими (*nàš*, *nȍž*[9]). Сейчас в диалектах с полным аканьем аканье представлено также во всех неудлиненных кратких ударных слогах (т. е. и в типе *nȍž*), хотя одновременно с формой *nȍša* должна была существовать и форма *nȍž* с тем же акцентом.

---

[4] Ср.: F. Ramovš, указ. соч., «Slavistična revija», III, 1950, стр. 21; IV, 1951, стр. 2, 5.

[5] Ср.: F. Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika, Ljubljana, 1936, стр. 46; A. V. Isačenko, Narečje vasi Sele na Rožu, Ljubljana, 1939, стр. 58—59.

[6] По той же причине использование *а* вместо *о* в латинских документах Далмации не может указывать на гласный *а*, как полагает В. Георгиев («Русское аканье...», стр. 28), дело здесь в субституции более широкого славянского *о* у далматинского романского населения (ср.: E. Schwarz, Zur Chronologie von asl. *a* > *o*, AfslPh, 41, 1927, стр. 132 и сл.; там же приводится литература).

[7] В. К. Журавлев полагает, что такое *о* первым развилось из праславянского *ă* (см.: «Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода», ВЯ, 1963, 2, стр. 13).

[8] См.: J. Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, «Slavistična revija», XIV, 1963, стр. 32—33 (далее «Pregled»).

[9] В большинстве диалектов из-за утраты в конечном положении звонких согласных представлена форма *nȍš*.

Однако в акающих говорах *о* существовало не только в ударных слогах; это доказывается передвижениями ударения. Относительно поздно (может быть, в начале XV в.) происходит так называемый вторичный перенос ударения — с краткого конечного слога на предударные *о* и *е* (тип *noga*). Во время удлинения акцента в типе *nčša* ударение в типе *noga* должно было оставаться еще на конечном слоге, иначе бы наступило удлинение одновременно в обоих типах, так как их структура была бы одинакова. Такого удлинения не произошло, и сейчас в типе *noša* представлен качественно иной гласный, чем в типе *noga*. Таким образом, *о* выступает и во вторично ударных слогах, получивших ударение относительно поздно. Следовательно, некогда оно должно было существовать во всех позициях. Имеется еще другое доказательство того, что *о* в типе *noga* существовало еще до передвижения ударения; дело в том, что это передвижение произошло только на гласные *о* и *е*, но не на *а* в той же позиции (в примерах, где по определенным причинам раньше, когда *а* еще являлось предударной долготой, ударение на него не передвинулось). То же самое действительно также для гласных *i* и *u* в том же положении[10]. На все эти гласные (*a*, *i*, *u*) в этих примерах ударение перешло позднее, одновременно с передвижением ударения на *ə* в типе *məgla* «туман», если такое передвижение в данном диалекте вообще осуществлялось[11]. Уже один этот факт является безусловным доказательством наличия *о* в безударной позиции. И еще один факт. В словенских акающих говорах аканье охватывает и рефлекс носового *ǫ*, которое в подавляющей части словенских диалектов совпало в кратких слогах с этимологическим *о*. Возможное возражение, что краткое праславянское *ǫ* могло дать непосредственно *а*, отпадает, если иметь в виду сокращение и более позднее удлинение (в неконечном слоге) староакутового *ǫ̑*.

Схематически развитие словенского *о* в различных позициях (в большинстве говоров с полным аканьем) можно изобразить таким образом[12].

Этапы	Позиция					
	1	2	3	4	5	6
1	*ȍ*	*ȍ*—	*o*̏—	—*ȍ*	*o*̏—	—*o*
2	*ô*	*ó*—	*o*̏—	—*ȍ*	*o*̏—	—*o*
3	*ô*	*ó*—	*o*̏—	—*ȍ*	*o*̏—	—*o*
4	*ô*	*ó*—	*ȍ*—	—*ȍ*	*o*̏—	—*o*
5	*ô*	*ó*—	*ǫ́*—	—*ȍ*	*o*̏—	—*o*
6	*ô*	*ó*—	*ǫ́*—	—*ȁ*	*a*̏—	—*a*

В конечных слогах (позиции 4 и 6) по этой схеме в большинстве акающих говоров развивались только неконечные гласные, гласные же в конечном

[10] Причину того, что ударение переносилось только на *е* и *о*, следует искать в их фонетической природе (может быть они были немного длиннее, чем другие краткие гласные).

[11] Ср.: J. Rigler, Glasoslovni razvoj predlogov in predpon *na*, *za*, *nad*, «Slavistična revija», XII, 1959/1960, стр. 230; его же, Južnonotranjski govori, Ljubljana, 1963, стр. 23—24.

[12] Позиции обозначают: 1) первичное краткое циркумфлексное *о* (тип *nȍs* «нос»), с ним совпало *о*, получившее ударение после передвижения циркумфлекса на последующий слог (тип *kolô* «колесо»); 2) новоакутовое *о* в неконечном слоге (тип *nȍša*, *kȍža* «кожа»); 3) предударное *о* перед конечным кратким слогом (тип *nogȁ*, *konȅc* «конец»), на которое позднее в подавляющей части словенских диалектов перенеслось ударение; 4) новоакутовое *о* в конечном слоге (тип *nȍž*, *kȍš*); 5) предударное *о* (тип *kovȁč*, *ogrȁja*); 6) заударное *о* в неконечном положении (тип *lȅtos*, *jȁgoda*) и в некоторых диалектах в конечном положении (тип *lȅto*).

открытом слоге имели в некоторых диалектах особое развитие [13]. Схематически обозначенные рефлексы удлиненных *о*-образных звуков в современных говорах нередко представляют собой дифтонги; в некоторых говорах наблюдается их переход в другие монофтонги (например, в доленской диалектной группе *ô*, вероятно, через стадию *ôu*, перешло в *û*). В некоторых диалектах утратились также интонационные противопоставления (неудлиненные старые краткие везде стали нисходящими).

Приведенная схема действительна для большей части доленских говоров [14].

В некоторых диалектах, например церклянском, аканье развилось уже на этапе, соответствующем четвертому этапу схемы. Однако это не значит, что здесь аканье является более древним: здесь лишь не наступило удлинение вторично ударных слогов (позиция 3 схемы), и в этом отношении церклянский диалект остался на четвертом этапе. Причину этого следует искать в том, что долгие этимологические *i* и *u* сократились в этих диалектах, и таким образом в неконечных слогах появились новые краткости (а с монофтонгизацией дифтонгов *ie* и *uo* в *ī* и *ū* также и количественные противопоставления) [15]. Схематически последний этап в этих диалектах можно изобразить таким образом:

$$\hat{\varrho}\quad \acute{o}-\quad \grave{a}-\quad -\grave{a}\quad a\,\underline{\cdot}\quad \underline{\cdot}\,a.$$

В этом диалекте приведенная схема является действительной также для конечного *-о* [16]. Уже приведенные отношения между акцентологическими изменениями и аканьем показывают, что словенское аканье нельзя датировать ранней эпохой.

В абсолютной хронологии аканья до некоторой степени могут помочь древние памятники, хотя они относительно немногочисленны. В Стичской рукописи XV в., возникшей на территории, где сейчас наблюдается полное аканье, аканье проявляется весьма неотчетливо; некоторые его следы все же в ней наблюдаются [17]. Однако первый словенский книжник Трубар в своих книгах, выходивших с 1550 г., аканья не отражает, хотя его родиной была территория, где ныне представлено полное аканье (Ращица, доленский диалект). Видимо, это следует объяснять не традицией, которой Трубар не знал и которая была довольно незначительной, а тем, что аканье в его родном диалекте еще не было развито. Однако уже в языке Трубара гласные *о* и *а* должны были быть очень похожи; только этим можно объяснить, что в некоторых примерах Трубар пишет *о* вместо *а* в кратких слогах в соседстве с губными согласными или иногда в соседстве с твердым *ł* [18], а в весьма редких случаях у него наблюдается также и употребление *а* на месте *о*, однако последние случаи можно считать ошибкой [19].

---

[13] В словенских центральных диалектах (т. е. в доленской и горенской диалектных группах) исходное *о* в конечном открытом слоге стало узким, развилось в *u* и местами редуцировалось (см.: «Pregled», стр. 42, 51, 54).

[14] В «Pregled» (стр. 55) приводится система гласных говора Амбруса.

[15] См.: «Pregled», стр. 62—63.

[16] Система гласных церклянского говора приведена в статье «Pregled», стр. 63.

[17] См.: V. O b l a k, Starejši slovenski teksti, «Letopis Matice Slovenske za leto 1889», Ljubljana, 1889, стр. 135, 136, где приводится пять примеров из Стичской рукописи с аканьем (три из этимологического *о* и два из *ǫ*). Однако эта рукопись является только копией, и, возможно, данные примеры являются ошибками. Двукратное *ad pouem* = *odpovem* один раз встречено в копии. В примере *gardabo* = *grdobo* ожидается долгое ударение на среднем слоге, препятствующее аканью.

[18] Особенно в окончании *-am* в дат. падеже мн. числа *а*-склонения и в дат. падеже личных местоимений *nam*, *vam*.

[19] В предисловии к «Псалтыри» 1566 г. Трубар говорит, что в книге имеются некоторые типографические ошибки и что местами путаются *а* и *о*, *r* и *l*. Однако во всем его огромном труде число примеров с *а* вместо *о* меньше десяти.

В некоторых случаях Трубар «исправлял» свой диалект; это особенно заметно при передаче рефлекса старого *ě*, который он часто обозначал как *e* вместо своего диалектного *ei*. Некоторые непоследовательности и гиперкорректуры в текстах Трубара, объясняемые его скромным филологическим образованием, без труда позволяют установить, что́ именно он исправлял [20]. Что же касается передачи *o*, то здесь наблюдается строгая последовательность, так что усматривать корректирование родного диалекта было бы неверно. У других авторов случаи аканья, носящие характер исключений, начинают появляться в Духовных песнях 1563 г., в Постиле Юричича 1578 г., в рукописи «Горске букве» 1582 г.; аканье уже довольно широко отражается в словенском акте 1598 г. [21]. Позднее случаи аканья учащаются даже вопреки «неакающей» традиции, созданной в особенности библией Далматина 1584 г. Эти факты доказывают, что аканье в XVI в. уже существовало по крайней мере на отдельных территориях и затем довольно быстро распространилось. Так как исторических данных от эпохи до Трубара почти не имеется (помимо Стичской рукописи существует еще лишь Ратечская рукопись примерно 1370 г.), начало аканья трудно датировать точно, однако оно не могло наступить до начала XV в., уже из-за выше рассмотренных акцентных развитий. Более старая, Ратечская рукопись аканья, конечно, не знает, хотя сейчас в Ратечах наблюдается полное аканье; однако данные этой рукописи для доказательства более позднего возникновения аканья не имеют решающего значения, поскольку в ней в общем не отразились и другие ратечские языковые особенности.

В других словенских диалектах наблюдаются разные результаты развития гласного *o*. В штирийских диалектах происходит сужение краткого гласного *o* в направлении к *u* или даже в собственно *u* [22], что напоминает положение, представленное в украинских и болгарских говорах. В большей части горенского диалекта предударные *o* переходят в *u*, а заударные (за исключением конечных, имеющих особое развитие) в *a*. Схематически шестой этап здесь представляется в таком виде:

ó б — ô — —ȍ u ⌣ ⌣ a

(*ô* и *ó* — в горенском диалекте совпали по качеству, *-ȍ* в отдельных говорах в последнее время удлиняется). Под эту схему подходит, например, говор Чрны в районе Камник [23].

Кроме того, в словенском языке имеются и такие диалекты, в которых предударное *o* сузилось в *u* в позиции после губного или велярного консонантов, а в других позициях развилось аканье (например, черновршский и посавский диалекты)[24]. В некоторых диалектах Каринтии (особенно в большей части рожанского диалекта) [25] наблюдается аканье на месте *e* (из *e*, *ę*, *ě*).

Уже со времени Шахматова [26] аканье обычно считается результатом ре-

[20] Исследования о корректурах и гиперкорректурах в языке Трубара еще нет; об отдельных деталях см.: N. Molè, Z historii prasłowiańskiego *ě* w słoweńskim, «Rocznik slawistyczny», XVI, 1, 1948; J. Rigler, Južnonotranjski govori, стр. 162, примеч. 3.

[21] См.: M. Rupel, Slovenski akt of protireformacijski epizodi v Vipavi, 1598, «Slavistična revija», IX, 1956, стр. 53—55.

[22] См.: «Pregled», стр. 58—62.

[23] Там же, стр. 51—52.

[24] См.: F. Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika, VII — Dialekti, Ljubljana, 1935, стр. 92—93, 133; его же, Kratka zgodovina slovenskega jezika, стр. 231—232.

[25] Ср.: F. Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika, стр. 235. Относительно ограничения этого явления см.: «Pregled», стр. 68—69.

[26] А. А. Шахматов, Русское и словенское аканье, РФВ, XLVIII, 3—4, 1902; его же, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 331—343.

дукции. Хотя развитие краткого вокализма имело иное направление, чем полагал Шахматов, аканье действительно является следствием ослабления напряженности артикуляции в безударных или кратких слогах, т. е. представляет собой определенный способ редукции напряженности. Однако прямой связи между аканьем и редукцией других гласных в словенском языке не наблюдается, хотя и то и другое явление сосуществуют в диалектах, в которых краткие гласные имеют ненапряженное образование. В некоторых диалектах словенского языка наблюдается сильно развитая редукция гласных при отсутствии аканья (например красский, большая часть бричского); с другой стороны, в диалектах с полным аканьем имеются нередуцированные гласные верхнего подъема *i* и *u*. Хорьюлский диалект, где представлено полное аканье, вообще не знает редукции гласных верхнего подъема в направлении *ə*[27]. В этом диалекте наблюдается лишь полное исчезновение гласных *i* и *u* в заударных слогах, причем только в легко произносимых сочетаниях согласных и в нефункциональных окончаниях. Во всех других положениях безударные *i* и *u* сохраняются. Более того, в этом диалекте безударное этимологическое *ə* переходит в зависимости от позиции в *i* и *u*, а этимологическое *e* сужается в предударных слогах в *i* (широким оно остается в кратких ударных слогах и в конечном положении). Хронологически эти процессы развиваются позже возникновения аканья (ср. например *prosô* «просо» > **prasû* — акающая форма с последующим изменением *a* после *r* в *e* > **presû* > *prisû*). При полном аканье, при наличии чистых *i* и *u* заударные *a* < *a*, *o* в за крытых слогах редуцировались в этом говоре слабо. В этой позиции гласные в хорьюлском говоре развиваются относительно редукции очень похоже на русский язык.

В словенских акающих говорах встречается другое явление, которое в значительной степени связано с аканьем: это перегласовка гласного *a* после палатальных согласных в *e*[28]. Перегласовка наступила в диалектах, имевших широкое *e*, которое находилось в оппозиции с *a* как «передний : : задний»[29]. Таким образом, здесь расширению подвергалось не только *o*, но и *e*.

В языках, где количественные различия гласных связаны с их качественными различиями, где система гласных распадается на отдельные системы долгих и кратких или ударных и безударных гласных, наблюдается тенденция к упрощению системы кратких гласных. Их малая длительность, вызывающая затруднения в их реализации, обычно ведет к уменьшению числа самостоятельных дифференциальных признаков у кратких resp. безударных гласных и к поляризации их в бинарном противопоставлении. Трехступенчатая система гласных в словенском языке (возникшая из многоступенчатой) часто заменяется двуступенчатой, при которой различается только одно противопоставление — «верхний : неверхний» («диффузный : компактный»). Таким образом,

система *i u*
e o
a

переходит в: 1) *i u* / *e o* / ↓*a*↓ или 2) *i u* / ↑↑ / *e o* / *a*

[27] Основные данные о диалекте (особенно об аканье и редукции) см.: T. L o g a r, Akanje in nepoudarjeni vokalizem v horjulskem govoru, «Cas», XXXV, Ljubljana, 1941; см. также: e r o ж e, O razmerju med gorenjščino in horjulskim govorom, «Razprave II razreda SAZU», V, Ljubljana, 1959.

[28] Конечно, в различных диалектах разные согласные отвердевали в разное время. Повлияли также более поздние аналогии.

[29] См.: «Pregled», стр. 48,54.

В различных диалектах развитие шло в том или другом направлении [30]; в некоторых диалектах обе возможности распределены по позициям «заударный : предударный», или относительно предыдущего согласного, или по ассимиляции гласных относительно компактности — диффузности ударных гласных [31]. Конечно, эта схема упрощенная, в действительности в словенских диалектах положение усложнялось тем, что число гласных было больше (к началу охарактеризованного развития существовал *ə* [32], в доленской диалектной группе также *ü* и т. п.).

Если осуществлялась ступень $\begin{matrix} i & & u \\ & e\ a\ o & \end{matrix}$, то система у компактных гласных стала трехклассной, причем *e* находилось в противопоставлении с *a* и *o* как «передний : задний», *e* и *a* были противопоставлены *o* как «нелабиализованный : лабиализованный». Таким образом создавалась возможность перегласовки (resp. нейтрализации «передний : задний») после палатальных согласных. Эта ступень обнаруживается в сочинениях Трубара середины XVI в. Перегласовка у него уже осуществлена [33]; предлагаемая ступень вокализма делает понятным также его *o* вместо *a* возле губных согласных.

В словенском языке такая сложная трехклассная система безударных гласных упростилась и перешла в двухклассную. В акающих говорах (где $a < o$) сохранилось противопоставление «передний : задний»; лабиальность как самостоятельный дифференциальный признак была утрачена, что повело к переходу $o > a$. Параллельное развитие наблюдается в тех акающих говорах, где в системе кратких гласных существовало также *ü*, которое находилось к *i* в том же отношении, как *o* к *à* (противопоставление шло только по линии «лабиализованный : нелабиализованный»). Здесь утрачивалась лабиализация краткого *ü*. Явление утраты лабиализации безударным *ü* нередко распространяется за границы аканья на те диалекты, где условия для аканья не возникали, поскольку *o* здесь не стало достаточно широким, чтобы быть противопоставленным *a* только по признаку «лабиализованный : нелабиализованный». В рожанских говорах Каринтии трехклассная система упрощалась иным путем: здесь было элиминировано противопоставление «передний : задний» и сохранено противопоставление «нелабиализованный : лабиализованный», поэтому тут безударное и краткое ударное *e* перешло в *a* (за исключением положения конца слова, где часто наблюдаются иные отношения). Конечно, так развивалось только то *e*, которое не сузилось в результате ассимиляции ударным диффузным гласным. Двоякая нейтрализация *e* — *a* и *a* — *o* в словенском языке очень редка (она наблюдается в некоторых говорах зильского диалекта) [34]; она осуществляется легче в языках с корреляцией «мягкость : твердость» у согласных.

Именно в таком смысле следует понимать то положение, что аканье связано с редукцией. Именно так следует понимать его и в отношении рус-

---

[30] Такое развитие в словенском языке обычно предшествовало сильной редукции, приведшей краткие гласные к средненязычному «полугласному» положению или к полному исчезновению.

[31] В Резии, Роже; см.: «Pregled», стр. 68—69. Для диалекта Резии ср.: И. Бодуэн де Куртенэ, Опыт фонетики резьянских говоров, Варшава — Петербург, 1875, стр. 89 и сл.

[32] По крайней мере в диалектах с аканьем; для восточных диалектов неизвестно, когда в них краткое *ə* перешло в *e*.

[33] О перегласовках у Трубара см.: F. Ramovš, Kratka zgodovina..., стр. 236—237.

[34] Ср., например: V. Oblak, Drobiž iz starejše književnosti slovenske, «Letopis Matice Slovenske za leto 1895», Ljubljana, 1895, стр. 241. Эта нейтрализация появляется, естественно, также в говорах с сильно развитой редукцией всех безударных гласных в *ə* (ср., например, говор Смелдника — «Pregled», стр. 52—53).

ского, белорусского и болгарского аканья. Русское $a < o$ в позициях, где оно не является по своему положению редуцированным, не нужно — как это делают А. А. Шахматов и В. Г. Руделев[35]— выводить через ступень редуцированного звука, так как его можно выводить непосредственно из *о*, как в словенском языке. Русская (и болгарская) редукция гласных нижнего подъема не обязательно прямо связана с аканьем. Это снимает и то возражение, что редуцированное *о*, если аканье было бы очень древнего происхождения, должно было совпасть с *ъ* и исчезнуть в слабой позиции. Аканье в русском языке, по всей вероятности, не представляет собою древнего явления. В этом отношении вполне прав Р. И. Аванесов. Хотя русское аканье и имеет различные стадии, оно представляет собою упорядоченную систему, параллельную системе яканья, а это также свидетельствует против первичности аканья. Ведь даже если диалект и знает аканье, сужению гласного *е* это может и не препятствовать: в словенском хорьюлском диалекте, например, предударное *е* сузилось в *i* позднее, когда аканье уже осуществилось; в русском языке, где гласный *е* выступал после мягких согласных, это изменение происходило еще легче. В словенском языке можно наблюдать параллельные явления и в области ассимилятивности и диссимилятивности; разница лишь в том, что здесь в ранний период была более активной ассимиляция гласных, а диссимиляция начала действовать лишь позднее (примерно с XVIII в.) и при этом в ограниченном объеме (переход нередуцированных гласных из ударной позиции в безударную[36]).

Для болгарского смолянского говора также не имеется никаких ясных доказательств первичности аканья. Более того, здесь можно обнаружить известные черты сходства со словенскими явлениями. В этом говоре сильно развита перегласовка $a > ɛ, e$[37], что является параллелизмом словенским акающим говорам и должно рассматриваться как доказательство расширения кратких безударных *е*- и *о*-образных звуков. Кроме того, в этом говоре в ударных слогах наблюдается очень широкое *о* на месте древнеболгарских *ǫ*, *ъ*, *ę*, *ь*[38], но не на месте древнеболгарского *о*, что указывает на вторичность этих широт. Если смолянский говор в некоторых других случаях и обнаруживает архаические черты[39], то относительно аканья это ничего не доказывает. В любом диалекте очень архаические черты могут сосуществовать с инновациями[40]. В сущности, в смолянском аканье мы имеем дело не с каким-то особым развитием, а лишь с развитием в другом направлении (безударное *о* здесь расширилось, тогда как в других местах оно суживалось). В говоре деревни Тихомир[41], например, *о* в иностранных словах частично остается, а частично переходит в *u*, однако это вовсе не является доказательством в пользу редукции *о* в *u*. У этих иностранных слов мы вообще имеем дело не с редукцией, а с результатом

---

[35] См.: А. А. Шахматов, Русское и словенское аканье; его же, Очерк древнейшего периода истории русского языка; В. Г. Руделев, К фонологической интерпретации русского аканья, ВЯ, 1963, 2.

[36] См.: J. Rigler, Vokalna disimilacija v slovenščini, «Slavistična revija», VIII, 1955.

[37] См.: Ст. Стойков, Към вокализма на смолянския говор, «Език и литература», XVII, 1, София, 1962, стр. 19—24.

[38] Ст. Стойков, Българска диалектология, София, 1962, стр. 83.

[39] См.: В. И. Георгиев, Русское аканье..., стр. 26.

[40] Возьмем в качестве примера хотя бы словенский диалект Резии. В некоторых отношениях это наиболее архаичный словенский диалект (в нем встречаются остатки имперфекта, аориста, сохранилось *ć*, реализованное почти как *t'*; из всех словенских диалектов только он сохранил сочетание *zd'* и т. п.). В то же время новых явлений в нем больше, чем в других диалектах.

[41] В И. Георгиев, Русское аканье..., стр. 27

их включения в систему говора. Если в системе гласных какого-либо говора в безударных слогах *o* не встречается, то есть возможность, что с иностранными словами будет введена эта фонема или же она заменится другой фонемой, существующей в системе этого говора. Так как *o* является лабиализованным задним звуком, то этот звук, вероятнее всего, заменится лабиализованным же задним звуком, а таким звуком является в Тихомире *u*. В этом же говоре иностранное *o* заменяется также и гласным *ạ*. То обстоятельство, что в этом говоре рефлекс праславянского исходного -*ǫ* дает сейчас узкое *ǫ* или *u*, а этимологическое -*o*, наоборот, -*ạ*, может свидетельствовать только о бывшем различном качестве обоих звуков. В словенском языке имеется немало диалектов, где рефлексы для *ǫ* и *o* в позиции конца слова не нейтрализуются, хотя в то же время в других позициях они могут нейтрализоваться. В словенском бричском диалекте, например, так же как и в болгарском языке, долго сохранялись носовые гласные, причем в долгих ударных слогах на месте *ǫ* представлен широкий рефлекс (впрочем иного происхождения, чем болгарский смолянский), а в позиции исхода на его месте было *u*, которое сейчас уже является редуцированным [42]; соседний же красский диалект еще сохранил *u* на месте исходного *ǫ* (причем в кратких ударных слогах здесь представлен редуцированный звук, как и в болгарском языке). Рефлекс же этимологического *o* в этих диалектах в позиции конца слова не сузился. Таким образом, состояние, наблюдаемое в словенских диалектах, напоминает то, что мы видели в деревне Тихомир. Однако в Тихомире этимологическое конечное *o* дает не только *ạ*, но часто также и *ǫ* [43]. Кроме того, -*ǫ* также может здесь, по всей вероятности, давать рефлекс -*ạ*, хотя это и не совсем ясно. При всем том остается неясность с рефлексом для -*ǫ*; из описания этого говора точно установить его фонологическую систему не представляется возможным. Наряду с фонемами -*u*, -*ǫ*, -*ô*, -*ạ*, выступающими в безударной конечной позиции, следовательно, должна бы существовать еще одна особая фонема для бывшего -*ǫ*, средняя между -*u* и -*ǫ* [44], однако в описании этого говора -*u* и -*ǫ* последовательно не различаются.

Что же касается неразрывной связи редукции с аканьем, то ее не существует также и в болгарском языке; так, в Триграде наблюдается аканье без какой-либо редукции гласных, особенно гласного *a* [45].

Словенский материал показывает, что аканье в различных диалектах развивалось в различных позициях. Тем не менее против сходного разви-

---

[42] См.: F. Ramovš, Dialekti, стр. 58—60; T. Logar, Značilnosti kojškanskega govora, «Slavistična revija», IX, 1956, стр. 34 и сл.

[43] См.: Ст. Кабасанов, Един старинен български говор, София, 1963, стр. 16, 46. Не совсем ясно, возникли ли примеры с *ǫ*, resp. *u* под влиянием литературного языка (Ст. Кабасанов, указ. соч., стр. 19); двоякие рефлексы в исходе слова могут появиться также в результате различных позиций в предложении; для *u* (наряду с *ạ*) из *o* в предударной позиции приводимых Кабасановым примеров не достаточно для окончательных заключений; обращает на себя внимание тот факт, что в приведенных примерах (за исключением некоторых морфем) перед *o* находится губной или велярный согласный, с чем можно сопоставить факты черновршского и посавского диалектов словенского языка. Двоякие рефлексы (с аканьем и без аканья) в исходе слова встречаются также в Триграде (см. Ст. Стойков, Аканье в говора на с. Триград, Девинско, БЕ, XIII, 1, 1963). Таким образом, в определенных позициях в предложении (может быть в конце фразы) аканье могло и не развиться; при общении (resp. большей частоте) той или другой формы в отдельных категориях слов могли сказаться и морфологические факторы. Неакающий рефлекс конечной позиции мог переходить в неконечные слоги, например в формы с артиклем, а также из ударной в безударную позицию.

[44] Такой вывод можно было бы сделать, исходя из формулировки Ст. Кабасанова (указ. соч., стр. 54).

[45] См.: Ст. Стойков, Към вокализма на смолянския говор, стр. 20; его же, Акане в говора на с. Триград..., стр. 21.

тия русского и болгарского аканья говорит тот факт, что в русских акающих говорах *о* существует только под ударением, а в болгарском также и в заударных слогах. Для болгарского же аканья нельзя не учитывать и того факта, что акают преимущественно мусульмане[46], причину чего, несомненно, следует искать в слабых контактах между мусульманским и православным населением. Это показывает, что различия между неакающими и акающими диалектами развились только в период проникновения мусульманства. Так как вряд ли можно предположить, что праславянское краткое *а* в остальных диалектах развилось в *о* после этого времени, то следует допустить, что аканье в смолянском говоре наступило только после этого времени. Возможно, правда, что в других родопских говорах аканье было вытеснено[47], однако в этом случае следовало бы ожидать какие-нибудь его следы или гиперкорректуры.

Попытки исторически доказать — греческими субституциями — также недостаточно убедительны. Эти случаи не поддаются точной датировке, которая позволила бы видеть в примерах типа Γαρίτσα:'' Ορακος позиционную субституцию *а* : *о*. Здесь можно было бы считаться только с примерами, где имеется позиционно различное распределение в одном и том же слове, однако и здесь примеры типа 'Αρτοτίνα, Αρδούβιστα ненадежны, потому что в них представлено в начальном слоге неметатезированное сочетание *art*. Это сочетание удлинялось, по крайней мере в определенных позициях, уже до метатезы[48], что доказывается старославянскими архаизмами без метатезы, где находим *а*. В примерах же 'Αρέχοβα и 'Αραχοβίτσα (различные формы) субституция может быть результатом не столько безударности, сколько влияния соседних звуков (*о* в соседстве с *х* и *w* и *а* в начальном положении в соседстве с *r*).

Возникновение русского аканья часто связывается с утратой музыкального ударения[49]. Однако аканье в русском языке всегда выступает только в безударных слогах, в то время как в словенском оно встречается также в кратких ударных, из чего можно было бы заключить, что аканье в русском языке наступило после утраты не зависимых от места ударения количественных отношений. Сам по себе музыкальный или немузыкальный характер ударения, по крайней мере в словенском языке, не способствовал возникновению аканья. В словенском языке аканье не связано с утратой музыкального ударения; оно чаще встречается в диалектах с музыкальным ударением, чем в диалектах с экспираторным ударением.

---

[46] См.: Ст. Стойков, Акане в говора на с. Триград..., стр. 8—9.

[47] Ср.: А. П. Стоилов, Акане в родопски помашки говори, «Списание на БАН», XLIII, 1930; Ст. Кабасанов, указ. соч., стр. 14.

[48] В. И. Георгиев («Праславянската фонемна система и ликвидната метатеза, «Славистичен сборник», София, 1963), предполагает удлинение под ударением, однако этот вопрос не является еще достаточно исследованным.

[49] По крайней мере предполагается развитие аканья в период после утраты музыкального ударения. Ср.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 145.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

Д. С. УОРТ

ОБ ОТОБРАЖЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОРОЖДАЮЩИХ МОДЕЛЯХ ЯЗЫКА

В последнее время наблюдается стремительное, хотя во многом еще и не определившееся развитие лингвистической теории, известной под названием порождающей грамматики. Это развитие, тесно связанное с общепризнанной потребностью в дальнейшей формализации приемов языкового описания [1], имеет своим непосредственным началом теоретические работы Н. Хомского и некоторых из его последователей [2]. Понятие порождающей грамматики, между прочим, следует отличать от понятия так называемого «трансформационного метода» или «трансформационного анализа». Частое смешение этих двух понятий объясняется тем, что термин «трансформация» употребляется в неодинаковых значениях у разных авторов. У Хомского трансформация — это та разновидность «правил переписывания» (rewrite rules), которая вступает в силу после порождения всех так называемых ядерных предложений путем правил переписывания по непосредственно составляющим (НС) [3]. У других авторов, например у З. Харриса [4] или в «Аппликативной порождающей модели» С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой [5], трансформациями называются символически выраженные морфосинтаксические соответствия между сходными предложениями и фразами в заранее «порожденном» «корпусе». Близкое к этому употребление термина «трансформация» наблюдается при стремлении использовать возможность или невозможность преобразования фраз одной морфосинтаксической структуры во фразы другой структуры, для установления более глубоких синтаксических отношений («deep grammar» у Ч. Хоккета[6]), скрытых под частными свойствами открытых морфологических

---

[1] См.: О. С. Ахманова, Г. Б. Микаэлян, Современные синтаксические теории, М., 1963, стр. 92—121.

[2] О теоретической основе порождающей грамматики см.: N. Chomsky, Syntactic structures, 's-Gravenhage, 1957 (русск. перевод в сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962). См. также: Р. Лиз, Что такое трансформация?, ВЯ, 1961, 3 и недавно вышедшую книгу Э. Баха (E. Bach, An introduction to transformational grammar, New York, 1964).

[3] Вообще говоря, дело обстоит несколько сложнее; различаются элементарные и более сложные трансформации. Впрочем далеко еще не решено, какого рода предложения следует считать ядерными. Об этом см. интересный доклад П. Шахтера на IX международном съезде лингвистов: P. Schachter, Kernel and nonkernel sentences in transformational grammar, «Proceedings of the IX-th international congress of linguists», The Hague (в печати).

[4] Z. S. Harris, Co-occurrence and transformation in linguistic structure, «Language», XXXIII, 3 (1), 1957 (русск. перевод в сб. «Новое в лингвистике», II).

[5] С. К. Шаумян, П. А. Соболева, Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке, М., 1963. См. также: С. К. Шаумян, Порождающая лингвистическая модель на базе принципа двухступенчатости, ВЯ, 1963, 2; П. А. Соболева, Опыт исчисления трансформаций на основе теории С. К. Шаумяна о порождении классов слов в процессе порождения грамматики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[6] C. F. Hockett, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 246—252.

отношений (surface grammar) [7]. Наконец, присутствие или отсутствие определенных типов соответствий в разных языках (т. е. возможность или невозможность данных классов «трансформаций» или же существенные различия в морфологическом оформлении имеющихся классов) служит описательной основой для типологических сопоставлений. Имеются и работы, где трансформации используются более чем для одной из этих целей [8]. Что касается понятия порождающей грамматики, то оно применяется как к собственно синтаксическому описанию (у Хомского и др.), так и к описанию словообразования [9] и словоизменения [10], а также в области фонологии и морфонологии [11]. Естественно, что в употреблении обоих этих терминов наблюдается некоторая расплывчатость.

Задачей настоящей статьи не является уточнение этих терминов, хотя это было бы весьма важно. Здесь мы ограничимся констатацией того, что порождающая модель языка, с одной стороны, и трансформационное описание синтаксических отношений, с другой,— это принципиально независимые (хотя и не взаимоисключающиеся) понятия: порождающая грамматика может существовать без трансформационных правил [12]; что касается трансформационных отношений, то нет никаких оснований рассматривать их лишь как одну из составных частей некоего порождающего механизма. В настоящей работе мы предлагаем оставить в стороне круг проблем, связанных с теорией трансформационного описания языка, и подвергнуть рассмотрению лишь один, на наш взгляд не вполне еще разработанный, вопрос построения порождающей модели. Вопрос этот возникает в связи с изучением отношений между абстрактной синтаксической моделью и ее реализацией в конкретном речевом произведении.

Совершенно очевидно, что человеческая речь не может существовать вне времени; иными словами, каждый речевой акт протекает по временно́й

---

[7] Из таких работ отметим только некоторые, относящиеся к славянским языкам: М. Ивић, Један проблем словенске синтагматике осветљен трансформационим методом (граматичка улога морфеме *се* у сербскохрватском језику), ЈФ, XXV, 1961—1962; Ф. Папп, Трансформационный анализ русских присубстантивных конструкций с зависимой частью — существительным, «Slavica», 1, 1961 (часть этой работы появилась также в «Studia slavica», VII, 1—3, 1961); Р. Ружичка, О трансформационном описании так называемых безличных предложений в современном русском литературном языке, ВЯ, 1963, 3; H. Walter, Die Struktur der reflexiven Verben n der modernen bulgarischen Literatursprache, ZfS, VIII, 5, 1963; D. S. Worth, Transform analysis of Russian instrumental constructions, «Word», XIV, 2—3, 1958 (русск. перевод в сб. «Новое в лингвистике», II).

[8] См.: И. И. Ревзин, О понятиях однородного языка и языка с полной трансформацией (ЯПТ) и возможности их применения для структурной типологии, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962; А. В. Исаченко, Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных, сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963; R. Růžička, Zur syntaktischen Typologie moderner slawischer Literatursprachen, ZfS, VIII, 6, 1963; Б. А. Успенский, Опыт трансформационного исследования синтаксической типологии, «Исследования по структурной типологии», М., 1963; D. S. Worth, The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages, «American contributions to the V international congress of slavists», I, The Hague, 1963.

[9] См.: R. B. Lees, The grammar of English nominalizations, Bloomington, Indiana, 1960; З. М. Волоцкая, Установление отношения производности между словами (опыт применения трансформационного метода), ВЯ, 1960, 3; П. А. Соболева, Опыт исчисления трансформаций на основе теории С. К. Шаумяна о порождении классов слов в процессе порождения грамматики.

[10] См.: М. Халле, О правилах русского спряжения (Предварительное сообщение), «American contributions to the V international congress of slavists», I.

[11] M. Halle, The sound pattern of Russian, 's-Gravenhage, 1959 (см. критику этой работы: C. A. Ferguson, «Language», XXXVIII, 3, 1962); его же, Phonology in generative grammar, «Word», XVIII, 1962; R. P. Stockwell, The place of intonation in a generative grammar of English, «Language», XXXVI, 3(1), 1960.

[12] Это показывает хотя бы «аппликативная» модель С. К. Шаумяна.

оси (или, в письменной форме, по ее графическому аналогу). Также очевидно, однако, что речь не есть простая линейная цепочка единиц (слов, звуков); она представляет собой гораздо более сложную систему единиц и отношений, причем многие из них существуют совершенно независимо от того, в какой временнóй или графической последовательности находятся их предельные составляющие. Основные отношения между определяющим и определяемым словами (т. е. между «déterminant» и «déterminé» женевской школы) не меняются от линейных перестановок. Если взять, например, такие парные предложения, как

(1а) *Он любит Машу* (t, t′)	(1б) *Он Машу любит* (t′, t)
(2а) *Иванов — добрый человек* (t′, t)	(2б) *Иванов — человек добрый* (t, t′)
(3а) *Я приду в четыре часа* (t, t′)	(3б) *Я приду часа в четыре,* (t′, t)

то здесь наблюдаются двоякого рода синтаксические значения. Первые из них являются основными, инвариантными в данных парах, они создаются и выражаются сочетанием t и t'; грубо говоря, это действие и объект в (1), качество и его носитель в (2), количество и измеряемое в (3); такое инвариантное значение остается неизменным при линейной перестановке t и t'. Второй тип синтаксических значений, в отличие от первого, не является неотъемлемой частью самого сочетания t и t'. Он существует только в качестве потенциальной оппозиции между нейтральным порядком слов, в котором выражается одно лишь инвариантное значение t и t', и особенным, маркированным порядком слов, в котором выражается еще добавочное значение: некоторая степень усиления в (1б), оттенок предикативности в (2б), приблизительности в (3б). Синтаксические значения первого типа (инвариантные) существуют в данных парах независимо от временнóй оси, тогда как значения второго типа (потенциальные) обусловлены этой же осью и без нее выражены быть не могут.

Различия между временны́ми и вневременны́ми лингвистическими отношениями нельзя, разумеется, просто свести к различию между речью (parole) и языком (langue), так как нетрудно указать на существование целого ряда кодовых (т. е. языковых, а не только речевых) отношений, подразумевающих временну́ю ось как значащий элемент языковой системы. Следует подчеркнуть, что временнóй осью выражаются не одни добавочные, потенциальные синтаксические значения, но и те, которые относятся к основной структуре предложения как таковой. Таким является, например, выражение субъекта и объекта в английском языке, ср. *John loves Mary*~*Mary loves John* (известно, что и в русском языке имеются случаи, в которых порядок слов перестает быть избыточным и играет смыслоразличительную роль, ср. *Дочь любит мать*~*Мать любит дочь*)[13]. Среди менее центральных, хотя все же весьма существенных синтаксических значений, выражаемых линейным порядком составных элементов предложения, можно упомянуть «данное» и «новое» в так называемом актуальном

[13] По тонкому наблюдению А. И. Смирницкого («Синтаксис английского языка», М., 1957, стр. 65), существуют и такие предложения, в которых одни семантические факторы достаточны для различения подлежащего и прямого дополнения даже при полной грамматической омонимии и обратном порядке этих форм; см.: *Огромное богатство приносит снег, Мир будет защищать весь мир.* Однако это верно лишь для ограниченного материала; при обычном отсутствии семантических факторов подлежащее и дополнение в предложениях с грамматически омонимичными формами различаются только при помощи линейного порядка слов, который в таких условиях перестает быть избыточным.

членении предложения [14] и отношения между противопоставляемыми элементами в разного рода «сверхсинтаксических» операциях (отрицание, вопрос, эмфаза; ср. *Иван не пошел туда* ~ *Не Иван пошел туда*) [15]. Можно указать также на роль фразовой интонации в оформлении предложения во всех языках, на чрезвычайно пеструю гамму стилистических оттенков, достигаемую путем линейных перестановок в русском и других языках, не говоря уже о сверхсегментных явлениях морфологического и фонологического порядка (франц. *une femme sage* «умная женщина» ~ *une sage-femme* «акушерка», различительная роль долготы гласных в чешском языке или восходящей и нисходящей интонаций в сербскохорватском).

Уже из этого простого перечня явствует, что всякая описательная модель, которая не дает полного и четкого отображения хронологии языковых отношений, не может обладать достаточной объяснительной силой, а останется всего лишь упрощенной схемой весьма сложного и неоднородного языкового организма. Оказывается, однако, что отобразить в одной модели и временны́е, и вневременные языковые отношения — задача нелегкая; она, как нам кажется, решается не вполне удовлетворительно и в предлагавшихся до сих пор порождающих моделях.

Нечеткость или недостаточность трактовки линейных, хронологически обусловленных языковых явлений обнаруживается как бы в двух измерениях. Первое из них относится к отдельному предложению, когда правила линейного расположения элементов беспорядочно совмещаются с правилами порождения нелинейных, вневременных связей. Второе заключается в полном пренебрежении к каким бы то ни было языковым фактам, не укладывающимся в рамки отдельного предложения.

Та порождающая модель языка, которую впервые предложил Хомский и которая является в настоящее время наиболее распространенной, унаследовала свою трактовку линейных отношений от более ранних описательных схем. Совершенно правильно указав на существенные недостатки модели, ограниченной одними НС [16], Хомский тем не менее принял ее в качестве первой части своей трансформационной модели, а вместе с ней заимствовал нежелательное, на наш взгляд, совмещение линейных и нелинейных правил. Как известно, в НСЧ порождающей грамматики (т. е. в той части грамматики, в которой структура предложения определяется по НС) единицы постепенно разбиваются («переписываются») на более мелкие единицы, начиная с целого предложения и кончая предельными морфологическими составляющими ядерного предложения, которые можно либо подвергать дальнейшим трансформационным операциям, либо превращать в предельные звуковые единицы. При этом правила переписывания должны идти одно за другим в определенном, заранее данном порядке; одновременное действие двух правил не допускается. На самом деле, однако, правила линейного расположения элементов с самого начала непроизвольно проникают во все правила переписывания. Так, в правиле $\Sigma \rightarrow NP + VP$ (т. е. «предложение» переписывается как «именная фраза плюс глагольная фраза») [17] налицо не одно, а два правила, причем совер-

---

[14] См.: V. Mathesius, O tak zvaném aktuálním členění větném, «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947. Обзор обширной литературы по этому вопросу дан О. А. Лаптевой (ВЯ, 1963, 4). См. также: P. L. Garvin, Czechoslovakia, «Current trends in linguistics, I, Soviet and East European linguistics», The Hague, 1963, стр. 502 и сл.

[15] См.: D. S. Worth, Suprasyntactics, «Proceedings of the IX-the international congress of linguists».

[16] N. Chomsky, Three models for the description of language, «IRE Transactions on information theory», JT — 2, 1956; его же, Syntactic structures, стр. 26—48.

[17] В данной статье употребляются следующие условные символы: Σ—предложение, *NP* — именная фраза (noun phrase), *VP* — глагольная фраза (verb phrase),

шенно различного характера. Первое из них говорит о том, что предложение представляет собой бинарную конструкцию, состоящую из именной фразы и глагольной фразы, а второе говорит о том, что именная фраза обязательно предшествует глагольной фразе на временно́й оси. Подобным же образом в правиле $NP \rightarrow A + N$ определяется не только тот факт, что именная фраза может состоять из сочетания имени прилагательного с именем существительным, но еще и тот, что первое предшествует второму. Итак, все правила развертывания по НС, имеющие общую формулу $X \rightarrow y + z$, можно считать двойственными, определяющими не только состав конструктов по НС, но и линейную последовательность этих НС. Только в тех случаях, где в результате правил переписывания появляются так называемые прерванные составляющие (discontinuous constituents), в трансформационной части грамматики можно найти особые, чисто линейные правила, которые упорядочивают заведомо не соответствующую фактам последовательность, созданную правилами $X \rightarrow y + z$. Например, английское *have taken* «взяли» можно рассматривать как сочетание прерванного составляющего *have...-en* и составляющего *take*, но правило, порождающее эти составляющие и имеющее общую формулу $X \rightarrow y + z$ ($V \rightarrow Aux + V$, т. е. «глагол» переписывается как «вспомогательный глагол плюс глагол»), находится в явном противоречии с фактами, так как требует линейной последовательности $y + z$, хотя на самом деле z располагается в середине y. Возникшее таким образом противоречие устраняется посредством особого трансформационного правила, но это всего лишь механическое исправление результата, полученного при плохо действующем устройстве; думается, что в таких случаях лучше исправить само устройство, тем более, что правила формулы $X \rightarrow y + z$ имеют и другие существенные недостатки.

Во-первых, линейный порядок элементов y и z может зависеть от факторов, находящихся вне данного предложения. Это бывает, когда «актуальное членение» предложения не совпадает с синтаксическим; ср. *Кровати стояли в его комнате* (раньше говорилось о каких-то кроватях; ср. англ. *The beds were in his room* с определенным артиклем *the*) и *В его комнате стояли кровати* (раньше говорилось о комнате; ср. англ. *There were beds in his room* или *His room contained beds*). В произведениях художественной литературы, а также в непринужденной разговорной речи предложения порядка *П*, *С*, *О* чередуются с предложениями порядка *О*, *С*, *П* или *О*, *П*, *С* и др. Эти структурно взаимосвязанные чередования в линейной последовательности не всегда легко поддаются объективному научному описанию; однако очевидно, что порядок их следования зависит в первую очередь от предыдущих предложений, т. е. от контекстуальных факторов, которые в таких правилах, как $\Sigma \rightarrow NP + VP$, никак не могут приниматься во внимание.

Во-вторых, линейный порядок некоторых y и z может зависеть от факторов, которые находятся в данном предложении, но еще «неизвестны» на том этапе порождающего процесса, на котором X переписывается в $y + z$. В русском языке, например, выбор порядка подлежащего и сказуемого иногда зависит от конкретных лексем (или, вернее, их классов); ср. *Иван прошел мимо дома*, но *Прошла неделя после знакомства* (в один класс входят такие слова, как *Иван*, *поезд*, *армия*..., в другой — такие, как *неделя*, *день*, *зима*...).

N — имя существительное, *V* — глагол, *A* — имя прилагательное, *P* — предлог, *U* — высказывание (utterance), *СП* — семантическое поле, *НС* — непосредственно составляющие, *Aux* — вспомогательный глагол (auxiliary), *К* — контекст, *П* — подлежащее, *С* — сказуемое, *О* — обстоятельство.

В польском, французском и других языках линейный порядок, в котором располагаются имя существительное и определяющее его имя прилагательное, может зависеть, между прочим, также от состава лексем; ср. польск. *paszport dyplomatyczny* «дипломатический паспорт», но *dyplomatyczna odpowiedź* «дипломатический ответ», франц. *un homme fatigué* «усталый человек», но *un bel homme* «красивый человек», *un crayon noir* «черный карандаш», но *une noire trahison* «черная измена», (*de ses*) *propres mains* «собственными руками», но *des mains propres* «чистые руки». Эти и им подобные высказывания, которые в своем возникновении связаны как с различиями в морфологической принадлежности входящих в их состав прилагательных, так и с разного рода задачами метафоризации и стилистической выразительности, порождаются правилом $NP \rightarrow A + N$; лексические же факторы, определяющие линейную последовательность A и N, начинают действовать только на последующем этапе порождающего процесса, когда A и N переписываются в конкретные лексические единицы. На этапе $NP \rightarrow A + N$ какого-либо основания приписать сочетанию A N порядок $A + N$ или порядок $N + A$ не имеется [18].

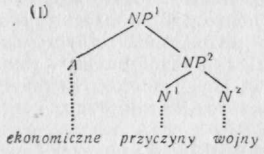

Рис. 1

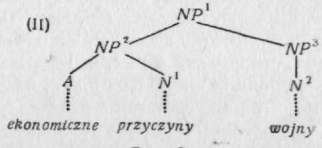

Рис. 2

Еще сложнее обстоит дело в следующем, третьем случае. В польском языке трехчленное сочетание, состоящее из имени существительного и определяющих его имени прилагательного и второго имени существительного, имеет порядок A, N^1, N^2, например, *ekonomiczne przyczyny wojny* «экономические причины войны». Такое сочетание имеет следующую структуру НС (в нашем рисунке несколько упрощенную), если сочетание членится как (*ekonomiczne*) (*przyczyny wojny*) (т. е. если имеются в виду именно экономические, а, скажем, не политические причины войны) (см. рис. 1). Если же то же самое сочетание членится как (*ekonomiczne przyczyny*) (*wojny*), т. е .скажем, содержит противопоставление экономическим причинам распада Киевской Руси, то оно будет иметь следующую структуру (см. рис. 2). Нам здесь не важно, какую из двух структур приписывать этому сочетанию, так как и та, и другая требуют правил вроде $NP \rightarrow A + NP$, $NP \rightarrow A + N$, т.е. правил, которые располагают A перед N. Но если нет второго существительного, нормальным в польском языке является порядок N A, т. е. *przyczyny ekonomiczne*; ср. *krajowa produkcja samochodów* «отечественная продукция автомобилей», но *produkcja krajowa* [19]. Здесь порождающее устройство как будто оказывается несостоятельным: согласно структуре (I), когда из первоначального NP^1 порожда-

[18] В английском языке, который служил материалом для большинства работ по НС и порождающей грамматике, порядок $A + N$, так же как и $NP + VP$, является почти во всех случаях единственно возможным; этим и объясняется, по-видимому, невнимание некоторых американских исследователей к проблеме смешения временных и вневременных факторов в правилах типа $X \rightarrow y + z$. Но эта особенность лишь одного языка, и она не должна определять структуру порождающего устройства вообще.

[19] Этот и некоторые другие польские примеры взяты из «Учебника польского языка» Д. Василевской и С. Каролака (Варшава, 1962), стр. 239—244

ется $A + NP^2$, прилагательное и так ставится на первое место, как будто устройство уже знает, что из NP^2 выйдет сочетание $N^1 + N^2$, а не одно только N^1 (в последнем случае требовался бы порядок N^1, A). В случае же (II) имеем дело с правилом $NP^2 \rightarrow A + N$ (*ekonomiczne przyczyny*), хотя нормальным является обратный порядок $NP \rightarrow N + A$ (*przyczyny ekonomiczne*); следовательно, правила для развертывания NP противоречат друг другу: факты польского языка нельзя описать, не применяя оба правила $NP \rightarrow N + A$ и $NP \rightarrow A + N$, а эти правила несовместимы. Правда, их можно было бы совместить в одной модели, если бы нашлись более сложные правила, учитывающие контекст, т. е. правила типа «$X \rightarrow y + z$ в контексте K^1», а «$X \rightarrow z + y$ в контексте K^2». Таких правил немало в порождающих моделях, однако в данном случае такое решение было бы невозможно. Нам нужно было бы такое, например, правило: «$NP \rightarrow N + A$ во всех окружениях, кроме того, в котором NP является одним из НС предыдущего NP, вторым НС которого также является NP» (т. е. наш случай II); такое правило дало бы правильный порядок слов во фразе *ekonomiczne przyczyny wojny*. Но если второе NP тоже развертывается в сочетание имени прилагательного с именем существительным, то это же самое правило породит, например, неправильную последовательность **ekonomiczne przyczyny światowej wojny* вместо правильной *ekonomiczne przyczyny wojny światowej* «экономические причины мировой войны». Дело здесь опять-таки в том, что тот контекст, который определяет собой линейный порядок элементов y и z, сам еще не существует на том этапе, когда эти y и z порождаются из X [20].

Во всех вышеприведенных случаях, а их можно было бы привести значительно больше, типичные правила развертывания по НС, т. е. правила формулы $X \rightarrow y + z$, оказываются бессильными отобразить системные языковые факторы, определяющие линейный порядок НС. Именно отсюда вытекает нежелательность совмещения в одном и том же правиле как линейных, так и нелинейных моментов. Ведь нет общих логических соображений, запрещающих совмещать в одном правиле более чем одну единицу (бит) информации: в противном случае мы пришли бы к абсурдному описанию языка, в котором приводилось бы громадное количество правил, каждое из которых содержало бы минимальную грамматическую информацию. Наоборот, если имеется описательная система с большим количеством очень мелких правил и система с меньшим количеством информационно более насыщенных правил, то предпочтение, очевидно, будет отдано второй системе, с тем, однако, существенным ограничением, что объяснительная сила обеих систем должна быть одинаковой. А в случае правил формулы $X \rightarrow y + z$ это условие как раз не соблюдается, так как они не способны учитывать многие существенные особенности языковой структуры.

Как нам кажется, в нашем случае следует увеличить число правил в порождающем устройстве. Чтобы точнее и полнее отображать роль временно́й оси в выражении разного рода синтаксических значений, предлагается небольшое изменение в НСЧ порождающей модели, а именно —

---

[20] Корнем зла для разбираемых примеров польского языка является обязательная бинарность, налагаемая на языковой материал моделью по НС; именно эта обязательная бинарность запрещает членить фразу *ekonomiczne przyczyny wojny* самым нейтральным, самым «немаркированным» способом — в виде двух словосочетаний: *ekonomiczne przyczyny* и *przyczyny wojny*. Иными словами, модель по НС принципиально исключает возможность двух эндоцентрических словосочетаний, имеющих одно и то же слово в качестве главного члена, а такие «спаянные» сочетания встречаются весьма часто. О слабостях строго дихотомического анализа см.: R. E. Longacre, String constituent analysis, «Language», XXXVI, 1, 1960.

разбиение НСЧ порождающей модели на два цикла.

Первый цикл будет содержать только правила формулы $X \rightarrow y\ z$; эти правила определяют только тот факт, что X состоит из бинарного сочетания y и z, т. е. в первом цикле ничего не говорится о расположении y и z по временно́й оси. Первый цикл заканчивается тогда, когда весь процесс разветвления по НС уже закончен и выбраны конкретные лексические классы, заменяющие абстрагированные символы типа N, V, A. Когда все морфологические единицы данного предложения налицо и расположены в «дереве» НС, начинается второй цикл.

Он осуществляется на этапе «нуль + 1», т. е. первое правило второго цикла действует на результатах первого правила первого цикла. Например, если первое правило первого цикла — это «$\Sigma \rightarrow NP\ VP$», то первое правило второго цикла будет действовать на уровне этих «$NP\ VP$». Функцией второго цикла является линейное упорядочивание нелинейных сочетаний НС, полученных в результате применения правил первого цикла. Правила второго цикла имеют формулу «Если K^1, то $y\,z \rightarrow y + z$», «Если K^2, то $y\,z \rightarrow z + y$», т. е. в одних контекстуальных условиях (K^1) сочетание $y\,z$ располагается в порядке $y + z$, а в других контекстуальных условиях (K^2) в обратном порядке $z + y$. Знак плюс служит графическим символом того, что вневременное синтаксическое сочетание yz превращается в линейную цепочку $y + z$ или $z + y$.

Так как второй цикл начинается только тогда, когда уже существует законченное (хотя и линейно еще не упорядоченное) дерево НС, то в тот контекст, который определяет собой линейный порядок y и z, могут войти и факторы, находящиеся ниже на этом дереве, или же на другой его ветви, чем сами y и z. Иными словами, порождающее устройство с двумя циклами правил в НСЧ может учитывать все те факторы в данном предложении (и вне его), от которых зависит линейное расположение составляющих это предложение единиц (морфем, слов и больших НС). Покажем это на конкретном примере.

Предположим, что правила первого цикла порождают очень простое двусоставное предложение:

1 .1 $\Sigma \rightarrow NP\ VP$
.2 $NP \rightarrow N$ им. пад.
.3 $VP \rightarrow V$ прош. время
.4 $\begin{cases} \text{или } .4\text{а } N \rightarrow \textit{день, момент, зима}, \ldots \\ \text{или } .4\text{б } N \rightarrow \textit{поезд, боль, армия}, \ldots \end{cases}$
.5 $V \rightarrow$ *проходить, наступать, настать*, . . .[21].

Дерево НС для такого предложения (для правил 1.1—3) изображено на рис. 3 (дальнейшее развитие зависит от выбора правил 1.4а или 1.4б, от правила 1.5 и от последующих морфонологических правил, которые нас здесь не интересуют [22]). Такое дерево пока отображает только состав предло-

[21] В класс имен существительных .4а входят имена, имеющие временно́е значение; этот класс структурно выделяется еще тем, что входящие в него слова могут выступать в вин. падеже при непереходных глаголах (*Он спал весь день*) и при переходных глаголах, уже имеющих прямое дополнение (*Он читает эту статью уже целый месяц*). В класс .4б входят, грубо говоря, все остальные имена. В класс глаголов .5 входят те глаголы, которые способны сочетаться с именами обоих именных классов .4а и .4б. Эти классы нуждаются во многих уточнениях и даются только в качестве предварительных примеров; в значительном количестве случаев отдельные лексические сочетания окажутся невозможными или статистически крайне ограниченными.

[22] Впрочем эти морфонологические правила должны вступать в силу только после второго цикла, так как окончательное фонетическое оформление морфем зависит (в известных случаях) от линейного расположения морфем: см. франц. *un bel homme* ~ ~ *un homme beau, Je l'ai donné à elle* ~ *Je lui l'ai donné* и т. п.

жения по НС, но ничего не говорит о расположении этих НС на временно́й оси.

Второй цикл правил для такого предложения будет иметь следующий вид:

2. 1а Если в первом цикле было выбрано правило 1.4а, то $NP\ VP \rightarrow VP + NP$ [23]

.1б Если выбрано 1.4б, то $NP\ VP \rightarrow NP + VP$

.2 $VP\ NP \rightarrow VP + \ldots NP$ ‡ (объяснение этого ‡ правила излагается ниже)

.3 N им. пад. $\rightarrow N +$ им. пад.

.4 V прош. время $\rightarrow V +$ прош. время [24]

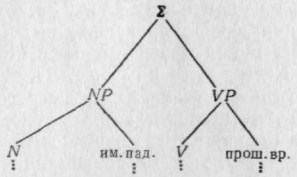

Рис. 3

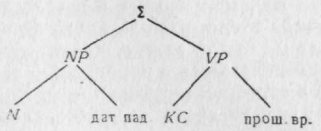

Рис. 4

(После этого устройство переходит в область морфонологических правил). Правила 2.1а—1б, учитывая созданные правилами 1.4а—4б контексты, упорядочивают линейный порядок NP и VP так, что после действия морфонологических правил получаются предложения: *Прошел день*, *Наступил момент*, *Настала зима*, но *Поезда проходили*, *Армия наступала* и т. д. [25].

Если первый цикл порождает несколько более сложное предложение (см. рис. 5) и включает правило 1.4а (т. е. выбирает класс слов, содержащий *день*, *момент*, *неделя*,...), то второй цикл, чтобы порождать правиль-

[23] В действительности положение несколько сложнее. Правило 2.1 должно также учесть выбор определенного класса глаголов в .5 (см. *День клонился к вечеру*, с нормальным порядком $NP + VP$). Однако принцип от этого не меняется.

[24] Правила 2.3—2.4 не столь самоочевидны, как это могло бы показаться с первого взгляда. Если VP развертывается не в глагол, а в одно из слов так называемой категории состояния (КС), получается такое дерево, как, например, на рис. 4. В этом случае второй цикл должен будет содержать правило «КС прош. вр. $\rightarrow$ прош. вр. $+$ КС»; в дальнейшем ходе морфонологические правила оформят «прош. вр.» как *было* (так же, как это происходит во всех VP, не содержащих личных форм глагола, ср. *Нечего было делать*), чтобы получились, скажем, *Пеану было скучно*, *Мне было холодно* и т. п.

[25] Для простоты изложения в схеме не учитываются показатели вида и числа, которые в данном случае нерелевантны. Напомним также, что отдельные лексические сочетания могут оказаться невероятными (ср. *Наступило триста лет*, *Настало полминуты*). Существует мнение, будто порождающая грамматика должна производить буквально все грамматически отмеченные предложения данного языка и не должна производить ни одного неотмеченного; способность модели порождать явно невероятные предложения типа *Настанет семьсот пятьдесят три года* считается доказательством ее дефектности (см., например: P. Lackowski, Words as grammatical primes, «Language», XXXIX, 2, 1963). Но такие требования, как нам кажется, неправомерны. Ввиду громадного количества чрезвычайно сложных лексических и лексико-грамматических взаимодействий, разнообразнейшего рода взаимовлияний языковых и неязыковых ситуаций и т. д., которые все вместе определяют собой встречаемость (или отмеченность) отдельно и конкретно взятого синтаксического сочетания, представляется крайне невероятным, что вообще когда-нибудь будет существовать такое сильное порождающее устройство, которое могло бы порождать все эти конкретные сочетания и только их. Гораздо целесообразнее и реалистичнее требовать, чтобы устройство порождало все правильные типы предложений и только эти типы.

ный порядок слов в предложениях *Иван прошел мимо дома* и *Прошла неделя послезнакомства*, должен содержать и правило 2.1а («$NP\ VP \rightarrow VP + NP$»), предварительно дающее порядок (*Прошла после знакомства неделя*), и новое правило 2.2 ($VP\ NP \rightarrow VP + \ldots NP$), т. е. «предложная конструкция отбрасывается направо к первой главной диереме (major juncture)»; это пра-

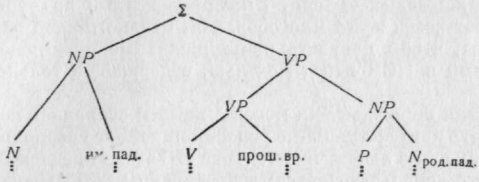

Рис. 5

вило и даст правильный порядок: *Прошла неделя после знакомства*. Если в первом цикле было выбрано правило 1.4б (*поезд*, *армия*,...), то во втором цикле правила 2.1б и 2.2 порождают, например, *Поезд прошел мимо полей*.

В случае польской фразы *ekonomiczne przyczyny wojny światowej* линейное упорядочение достигается следующим образом. Пусть имеется следующее (частичное) дерево НС (для простоты не включены грамматические показатели) (см. рис. 6). Второй цикл должен содержать среди других правил также и следующие:

2.1 $NP\ NP \rightarrow NP + NP$
.2а Если за NP следует другая NP, то в первом NP $A\ N \rightarrow A + N$
.2б Если за NP не следует другая NP, то $A\ N \rightarrow N + A$

Таким образом, получается правильная фраза *ekonomiczne przyczyny wojny światowej* с порядком $A + N$ в первой NP, но с порядком $N + A$ во второй, т. е. здесь учитываются те реальные факторы, от которых зависит конечная форма таких фраз, причем это достигается естественным способом, удовлетворяющим нашу языковую интуицию. Ведь реальный говорящий не «порождает» свое предложение наобум, начиная с какой-то абстракции вроде Σ, развертывая ее в более мелкие единицы вроде NP, VP, A, N и т. п. и лишь после этого выбирая конкретные лексические классы. Говорящий очень хорошо знает заранее если не все, то по крайней мере главные лексические единицы, которые появятся в его предложении, и выбирает именно те грамматические обрамления, которые потребуются для заранее «избранных» лексических единиц [26].

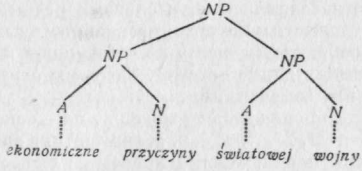

Рис. 6

[26] С точки зрения сходства с реальным языковым поведением говорящего ни одну из известных до сих пор моделей нельзя признать удовлетворительной. Можно ли найти такую модель, которая соотносилась бы с действительным поведением реального говорящего (т. е., если можно так выразиться, «психо-социологическую» модель речи и языка)? Нам кажется, что да. Такая модель имела бы форму телевизорного экрана, с которым связаны два механизма, из которых один способен развертывать на экране разные изображения, а другой способен читать и разлагать эти изображения, передавать результаты чтения в «черный ящик», содержащий грамматические правила данного языка (в форме, может быть, полной трансформационной грамматики

Чтобы исчерпывающе и правильно отображать линейную последовательность элементов во всех типах предложений какого-то языка, второй цикл НСЧ, очевидно, должен будет содержать довольно большой и сложный набор контекстуальных правил, раскрывающих все многообразие лексико-грамматических факторов, которые влияют на временно́е расположение языковых единиц. Вышеприведенные примеры, разумеется, не отражают всего этого многообразия, однако можно надеяться, что они достаточны, чтобы показать принципиальные преимущества модели с двумя циклами в НСЧ перед моделью, содержащей только один цикл правил.

Двуцикличная порождающая модель, как мы старались показать, способна отображать контекстуальные условия линейного расположения предложения, возникшие в любой части дерева НС этого предложения. Однако этим еще нельзя довольствоваться: ведь другим важным недостатком существующих порождающих моделей является пренебрежение факторами, находящимися за пределами отдельного предложения. В частности, порядок NP и VP в каком-то предложении может зависеть от того, о чем говорилось в предыдущих предложениях. Такие контекстуальные факторы также легко могут быть учтены правилами формулы «Если K^1, то $y\ z \rightarrow y + z$», т. е. правилами второго цикла НСЧ. Чтобы это сделать, нужно лишь расширить саму порождающую модель, чтобы эта модель отображала не только отдельное предложение, но и некую более крупную единицу, состоящую из ряда следующих друг за другом отдельных предложений. Иначе говоря, исходным пунктом порождающей модели должно служить не отдельное предложение, а высказывание.

Под термином «высказывание» здесь понимается некоторая сверхфразовая единица или цепочка отдельных предложений (отрезок текста или целый текст, часть разговора или целый разговор), между отдельными частями которой обнаруживаются структурные отношения. Вообще говоря, имеются веские доводы в пользу грамматики высказывания, например способность объяснить эллиптические структуры, факты грамматического согласования между словами разных предложений, многие особенности художественно организованного языка (например, стихотворного) и др. Соображения места не позволяют аргументировать это утверждение в рамках данной статьи. Здесь мы ограничимся несколькими предварительными замечаниями.

Порождающая модель на основе высказывания имеет формулу $U \rightarrow \Sigma^1, \Sigma^2, \ldots, \Sigma^n$, т. е. грамматика описывает высказывание, состоящее из цепи предложений, причем на любое предложение Σ^x налагаются контекстуальные условия, созданные лексико-грамматическими факторами в предложениях $\Sigma^1 - \Sigma^{x-1}$ (грубо говоря: то, что может говориться в каком-либо предложении, определяется отчасти и тем, что до тех пор было сказано); модель, исходящую из высказывания, напоминает, таким образом, так называемую цепь Маркова [27].

Это значит, что K в правилах формулы «Если K, то $y\ z \rightarrow y + z$» может в

по модели Хомского); «черный ящик» обрабатывает полученную от читателя — разлагательного механизма — информацию и передает результаты своей обработки первому, развертывающему механизму, который изображает на экране новую «картинку»; эт от циклический процесс продолжается (с электронной быстротой) до тех пор, пока «черный ящик» перестанет прибавлять новую информацию; весь аппарат тогда находится в состоянии стабильности, и картина (т. е. предложение) «снимается» (т. е. говорящий произносит свое предложение).

[27] Любопытно, что языковая модель, имеющая вид цепи Маркова, и правильно охарактеризованная Хомским как наислабейшая модель отдельного предложения («Syntactic structures», стр. 18—25), оказывается чрезвычайно сильной моделью на уровне высказывания.

предложении Σ^x принять значение, созданное в предложениях Σ^{x-1}, Σ^{x-2} и т. д. Чтобы показать это на примере, рассмотрим третье и четвертое предложения романа Гончарова «Обломов» (нумерация и курсив наши):

(3) Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности.

(4) С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Тот факт, что (4) содержит порядок слов *С лица беспечность переходила*... (т. е. *ОПС*...), а не нейтральный порядок *Беспечность переходила с лица*... (*ПСО*...), очевидно, отражает лексический состав предложения (3): так как в (3) часто употребляются слова семантического поля «лицо» (*лицо*, *глаза*, *губы*, *лоб*), обстоятельство места *с лица* в (4) является «темой» (topic, по Хоккету) по отношению к остальным частям предложения (4)

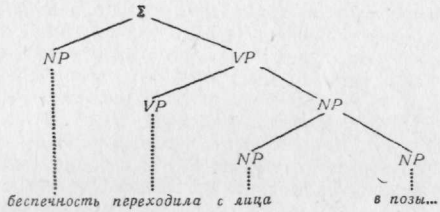

Рис. 7

и ставится на первое место. Подобные факты актуального членения предложения будут отображаться во втором цикле НСЧ предлагаемой здесь модели. Допускаем, что предложение (4) порождается в первом цикле так, чтобы получилось следующее дерево НС (в котором не показаны нерелевантные факторы) (см. рис. 7). Во втором цикле НСЧ должно быть общее правило об актуальном членении предложения, имеющее формулу «Если в I (Σ^x) $y \rightarrow CП(\Sigma^{x-1})$, то $y\ z \rightarrow \# y \ldots + z$», т. е. «Если в первом цикле НСЧ предложения Σ^n есть такая НС, которая переписывается в слово, принадлежащее семантическому полю, представленному в предложении Σ^{x-1}, то эта НС отбрасывается налево к первой главной диереме»[28]. Иначе говоря, чтобы объяснить линейный порядок элементов в каком-нибудь предложении (лучше было бы говорить, впрочем, о вероятности того или другого порядка), нужна информация о семантическом содержании предыдущего предложения. Следовательно, в каждом предложении такой цепочки, как $U \rightarrow \Sigma^1, \Sigma^2, \ldots \Sigma^n$, должна быть отображена не только собственно грамматическая информация, но и известное количество чисто смысловой информации, так как семантическое содержание одного предложения влияет на грамматическую структуру (на линейное расположение членов) следующего предложения.

[28] Это правило будет касаться и слова *беспечность*, также находящегося в предыдущем предложении. Но поскольку правило об упорядочении *NP VP* предшествует правилу об упорядочении *NP NP*, фраза *с лица* все равно окажется на правильном месте в самом начале предложения.

Итак, предлагаемая в данной статье модель имеет общую формулу $U \rightarrow \Sigma^1, \Sigma^2, \ldots, \Sigma^n$. Каждое отдельное предложение в такой цепочке имеет два цикла, из которых первый порождает все НС данного предложения, а второй упорядочивает эти НС в правильном линейном порядке согласно с контекстуальной информацией, полученной из первого цикла и из предыдущих предложений данной цепочки [29]. В этой модели, разумеется, нетрудно отметить некоторые спорные или неясные моменты (таким неясным моментом, например, являются отношения между вторым циклом НСЧ и трансформационной частью грамматики [30]). Тем не менее хотелось бы надеяться, что данная статья может служить некоторым материалом для дальнейших дискуссий об оптимальной форме порождающих моделей языковой структуры *.

---

[29] Из этого следует, что модель НС сама по себе вовсе не «привязана к фенотипической ступени», как пишет С. К. Шаумян («О логическом базисе лингвистической теории», сб. «Проблемы структурной лингвистики», стр. 7).

[30] В статье Э. Баха [E. Bach, The order of elements in a transformational grammar of German, «Language», XXXVIII, 3(1), 1962] линейная перестановка слов, вызванная актуальным членением предложения, трактуется как раздел трансформационного компонента грамматики.

* Автор считает приятным долгом выразить глубокую благодарность О. С. Ахмановой, которая прочла работу в рукописи и сделала ряд ценных замечаний.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

И. И. РЕВЗИН

К ЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ТЕОРИИ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

Определения исходных понятий фонологической теории, изложенные ранее в моей книге «Модели языка»[1], ниже будут переформулированы, исходя, в основном, из недавно вышедшей работы С. Маркуса «Математическая модель фонемы»[2], в которой найдена очень удачная форма изложения фонологической проблематики, связанной с логическим обоснованием теории фонологических признаков.

1. **Исходные объекты.** Будем считать, что задана совокупность высказываний, или фраз. Любую сплошную часть заданной фразы назовем допустимым сегментом. Будем также считать, что задано множество звуков речи данного языка, и любой допустимый сегмент представим как последовательность звуков речи, причем каждый звук встречается хотя бы в одном допустимом сегменте.

Задано также множество фонетических признаков (таких, как звонкость, глухость, мягкость, фрикативность, смычность, открытость, закрытость и т. п.), причем для каждого звука речи указано, каким признакам он соответствует.

То, как до сих пор были заданы здесь исходные объекты, не отличается существенно от того, что находим в МЯ (стр. 20 — с единственным исключением, что здесь не вводится понятие «фонетического слова», которое является частным случаем «допустимого сегмента»). Введем теперь еще одно исходное понятие, а именно понятие класса признаков. Будем считать, что все множество признаков $\mathfrak{M}$ разбито на непересекающие классы $M_1, M_2, \ldots, M_n$, причем это разбиение задано извне. При интерпретации в один класс попадут те признаки, которые характеризуют способ образования, или место образования, или степень раствора и т. п. То, как задается такое разбиение, вполне соответствует практике фонетического описания[3].

2. Критерий Маркуса. Мы будем называть вслед за С. Маркусом потенциальной фонетической системой совокупность объектов:

$$\{\mathfrak{M}, P, E, \varphi\},$$

где $\mathfrak{M}$ есть множество признаков, P — разбиение на классы признаков, E—множество звуков речи и φ—функция, ставящая в соответствие каждо-

[1] И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962 (далее — МЯ), гл. II.

[2] S. Marcus, Un model matematic al fonemului, «Studii şi cercetări matematice», XIV, 3, 1963; см.: его же, Lingvistică matematică. Modele matematice în lingvistică. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963, стр. 56—68.

[3] Ср. выделение «классов параметров» в работе: G. E. Peterson, Fr. Harary, Foundations of phonemic theory, «Structure of language and its mathematical aspects» [«Proceedings of symposia in applied mathematics», XII], Providence, 1961, стр. 144—148. Критика, которой была подвергнута эта теория в моей рецензии на данный сборник (см.: «Word», XIX, 3, 1963) не затрагивает вопроса о том, как задается Дж. Петерсоном и Ф. Хэрари исходное разбиение на классы параметров, которое естественно и разумно.

му звуку x некоторую совокупность признаков $\varphi(x)$. Например, в русском языке для звука p множество φ (p) есть совокупность признаков {губной, глухой, твердый, смычный}, для звука b' множество φ (b') есть совокупность признаков {губной, звонкий, мягкий, смычный}.

Будем считать, что потенциальная фонетическая система удовлетворяет критерию Маркуса, если для любого звука x и для любого класса признаков M_i пересечение M_i с $\varphi(x)$ состоит из одного и только одного признака. Легко проверить, что все системы признаков, рассматривавшиеся до сих пор в фонологии, удовлетворяют критерию Маркуса. Например, возьмем классы признаков:

$M_1 =$ {звонкий, глухой}
$M_2 =$ {мягкий твердый}
$M_3 =$ {смычный, щелевой, аффрикативный}.

Для каждого согласного русского языка из множества соответствующих ему признаков всегда берется ровно по одному признаку из классов M_1, M_2 и M_3. Заметим, что данная особенность настолько очевидна, что ее трудно было специально выделить, и большая заслуга Маркуса в том, что он не только подметил эту особенность систем признаков, но и сделал из нее ряд важных выводов. В дальнейшем рассматриваются лишь системы, удовлетворяющие критерию Маркуса.

В системе, удовлетворяющей критерию Маркуса, любые два звука речи состоят, разумеется, из одинакового числа признаков, т. е. потенциальная система, удовлетворяющая этому критерию, соответствует понятию подсистемы в МЯ (стр. 26). Отсюда, в частности, следует, что гласные и согласные при обычных интерпретациях (если не считать систему признаков Якобсона и его последователей) образуют разные потенциальные системы.

Критерий Маркуса интересен и тем, что он показывает, почему во всех фонетических системах каждый класс признаков содержит более одного признака. Предположим, что у нас имеется класс M_j, состоящий ровно из одного признака m. Тогда можно утверждать следующее: если в системе, удовлетворяющей критерию Маркуса, имеется класс, состоящий ровно из одного признака m, и некоторый звук x, которому этот признак соответствует, то признак m соответствует любому другому звуку системы. (Доказательства этой и всех других теорем, проводимых далее, опускаются, так как для лингвистов интересны лишь результаты теорем, а читателя, интересующегося формальной стороной проблемы, отсылаем к указанным работам Маркуса.)

3. Совместимые и однородные признаки. Напомним некоторые определения из МЯ (стр. 23). Два признака m_i и m_j называются с о в м е с т и м ы м и, если существует хотя бы один звук речи, в котором они выступают вместе. В противном случае говорится о н е с о в м е с т и м ы х признаках. Два признака m_i и m_j называются о д н о р о д н ы м и, если существует хотя бы один звук данного языка такой, что замена в нем m_i на m_j (или m_j на m_i) дает также некоторый звук данного языка.

Маркус доказал следующие предложения:

1. Если m_1 и m_2 суть совместимые признаки, то они принадлежат разным классам признаков заданного разбиения.

2. Если m_1 и m_2 суть однородные признаки, то они принадлежат одному классу заданного разбиения.

Отсюда следует, что два однородных признака всегда несовместимы. Обратное, вообще говоря, может быть неверно. Два признака могут быть несовместимыми и неоднородными в одно и то же время. Пример можно

привести из немецкого языка, где принято задавать признаки гласных таким образом, что лабиализованность неоднородна и одновременно несовместима с признаком заднего образования (ср. противопоставление передних *i* — *y*, но из задних только *u*). В таких случаях, однако, признаки можно задать по-другому (например, считать, что в немецком для гласных задаются однородные признаки: лабиально-передний, нелабиально-передний, задний).

В подавляющем большинстве случаев два несовместимых признака однородны. Поэтому можно считать, что первоначальное разбиение признаков на классы есть разбиение на классы однородных признаков (именно в этом смысле и употребляется термин «однородный признак» у Маркуса).

4. **Понятие расстояния. Распознавание простых ошибок.** В качестве исходного понятия было дано разбиение всего множества признаков на классы. Зафиксируем порядок этих классов: $M_1, M_2, .., M_n$. Тогда каждому звуку x соответствует упорядоченная последовательность признаков:

$$\varphi(x) = \{m_1(x),\ m_2(x),\ \ldots\ m_n(x)\},$$

где $m_i(x)$ входит в класс M_i.

Вслед за Л. Апостелем и Б. Мандельбротом [4], Маркус предлагает применить понятие расстояния из теории кодов [5] для количественной оценки сходства и различия звуков. Возьмем два звука x и y. Расстоянием между ними назовем число классов, для которых $m_i(x) \neq m_i(y)$. Например, расстояние между *p* и *b'* равно двум, так как по двум классам (звонкости и мягкости) признаки не совпадают.

Целесообразность введения понятия расстояния между звуками уже довольно часто ощущалась лингвистами, но все дело в том, чтобы аналогия между системой звуков и понятиями теории кодов не осталась простой аналогией, а приводила бы к значимым результатам: в фонологии в последнее время появилось слишком много математических аналогий, которые в лучшем случае дают новые названия для уже существующих понятий [6].

Еще хуже обстоит дело, когда математический аппарат употребляется вразрез с лингвистической интуицией, как произошло с понятием расстояния в цитированной работе Ф. Хэрари и Дж. Петерсона. Как мы уже говорили, в этой работе задано разбиение всех фонетических признаков на отдельные классы, а в каждом классе выделяется некоторое количество значений («параметров»), например, в классе «действие голосовых связок» для согласных выделяются значения: 1) глухой и 2) звонкий. Для каждого звука x и каждого класса k определяется $s_k(x)$, т. е. множество параметров, которое имеет звук x в k-м классе. Если бы классификация была составлена на разумных фонологических основаниях, то для любого гласного (или любого согласного) x и для любого k было бы верно $s_k(x) = 1$. В статье Ф. Хэрари и Дж. Петерсона, насколько можно судить, $s_k(x) \leqslant 1$, т. е. количество «параметров», которые имеет звук в каждом классе, может быть равно единице или нулю (в последнем случае звук, так сказать, вообще не определяется по данному классу параметров, что представляется странным, ибо параметры выбраны физически). То обстоятельство, что количест-

---

[4] L. Apostel, B. Mandelbrot, A. Morf, Logique, langage et théorie de l'information, Paris, 1957.

[5] Понятие расстояния излагается с важной и понятной для лингвистики точки зрения в работе: Ю. А. Шрейдер, Что такое расстояние?, М., 1963, стр. 33—52.

[6] В качестве примера можно сослаться на работу А. П. Евдошенко «К вопросу о применении стереометрической модели в области фонологии» («Исследования по структурной типологии», М., 1963), в которой объектам на часто применяемых схемах фонологических оппозиций даются геометрические названия.

во «параметров», которые имеет звук в каждом классе, задается неразумно, заставляет вводить для любых двух гласных (или согласных) p и q специальную характеристическую функцию $\theta_k(p, q)$, принимающую значение нуль в том и только в том случае, если оба множества $s_k(p)$ и $s_k(q)$ пусты.

Не разбирая здесь подробнее формальный аппарат, постулированный Хэрари и Петерсоном, заметим лишь, что далее предлагается числовая оценка расстояния между звуками, представляющая тройку цифр (единицы, десятые и сотые). Это число слагается из следующих компонентов: а) единицы — сумма номеров классов, в которых параметры звуков различались; б) десятые — сумма признаков, по которым два звука отличались по всем классам; в) сотые — сумма разностей между значениями различающихся признаков по всем классам. Например, $D(d, z)$, т. е. расстояние между d и z, равно 5,22; расстояние между d и g равно 4,23. Разница в единицах вызвана лишь тем, что класс «способ артикуляции» имеет номер 5, а класс «место артикуляции» имеет номер 4. Различие в последней цифре обусловлено тем, что в четвертом классе значение «велярный» имеет номер 0,6, а значение «альвеолярный» — номер 0,3 (0,6 — 0,3 = 0,3), в то время как в пятом классе значение «фрикативный» имеет номер 0,2, а «взрывной» — номер 0,4 (0,4 — 0,2 = 0,2). Особенно произвольными и лишенными уже всякого лингвистического смысла становятся цифры, когда два звука различаются по двум и более классам. Так, $D(b, g) = 9{,}50$. Цифра 9 слагается из номеров классов 4 и 5. Что же касается цифры 0,50, то поскольку по каждому классу два разных звука не могут различаться более, чем двумя параметрами, полагалось бы ожидать цифру 0,4. На деле так и получалось; однако сложение разностей номеров параметров дает 0,06 + 0,04 = 0,10 и далее, по правилам арифметики, 9 + 0,4 + 0,10 = 9,50, а в заданной лингвистической интерпретации номера классов складываются с номерами признаков внутри этого класса. Возникает вопрос о лингвистическом смысле такой информации, если еще к тому же учесть, что сама иерархия классов и признаков в них в высшей степени произвольна [7].

Понятие расстояния, как оно введено Маркусом, позволяет, не противореча лингвистической интуиции, поставить один чрезвычайно важный лингвистический вопрос. Из теории кодов известно, что в некоторой системе распознаются простые ошибки, если и только если расстояние между двумя элементами равно двум или больше двух. В свою очередь Маркус показывает: для того чтобы расстояние между любыми двумя звуками было не менее двух, необходимо и достаточно отсутствие однородных признаков в потенциальной фонетической системе.

Из этой теоремы можно сделать два разных вывода. Первый состоит в том, что в фонетических системах не распознаются простые ошибки. Этот вывод, по-видимому, не подтверждается практикой. Правильнее другой вывод, а именно, что в начале исследования звуков речи в них не обнаруживаются однородные признаки, тем более, что увлечение исследованиями на основе дифференциальных признаков в последнее время привело к забвению того, что для устойчивой коммуникации чрезвычайно важны так называемые иррелевантные признаки (например, напряженность/ненапряженность согласных или открытость/закрытость гласных в русском языке), которые играют, видимо, важную роль в увеличении избыточности сообщения, а тем самым и при распознавании ошибок [8]. Если же учесть,

---

[7] Следует отметить, что близкий к рассматриваемому логический аппарат вполне грамотно и осмысленно употреблялся в очень интересной работе: Fr. Harary, H. H. Paper, Toward a general calculus of phonemic distribution, «Language», XXXIII, 2, 1957.

[8] Один из создателей теории дифференциальных признаков недавно подчеркнул, что контакт с теорией передачи сообщений позволяет избавиться от распространен-

что должны быть заданы и классы иррелевантных признаков, то многие признаки перестают быть однородными; так, например, глухость и звонкость в русском языке уже не могут рассматриваться как однородные. В самом деле, заменив глухость на звонкость, но оставив без изменения признак напряженности, мы не получим звука русской речи.

Возникает вопрос, каков же реальный смысл однородности, если однородных признаков, по-видимому, не существует. Ответ состоит в том, что однородные признаки должны определяться не для звуков, а для фонем. Иначе говоря, в логически строгой фонологической теории сначала должны определяться фонемы, а уже для них понятие однородного признака. Для этого вряд ли необходима существенная перестройка теории, так как при определении фонемы понятие однородного признака не должно использоваться [9].

Более плодотворным представляется следующий путь, который, по-видимому, лучше соответствует практике фонологического описания. Назовем два признака m_i и m_j сопряженными в звуке x, если 1) они оба входят в $\varphi(x)$, т. е. поставлены в соответствие звуку x, 2) замена ровно одного (только m_i или только m_j) из них на признак того же класса первоначального разбиения не приводит к совокупности признаков $\varphi(y)$, соответствующих некоторому звуку y, и 3) одновременная замена обоих названных признаков на некоторые признаки m_i' и m_j', относящиеся соответственно к тем же классам признаков, дает совокупность признаков, поставленную в соответствие некоторому звуку данного языка.

Объединив все признаки, сопряженные в данном звуке, получим некоторые обобщенные признаки. Практически один из элементарных признаков (например, глухость в паре глухость — напряженность в русском языке) является более важным, например более устойчивым, более частым и т. п., но установление такого ведущего признака, по-видимому, должно быть задачей фонетики каждого конкретного языка. Мы же в дальнейшем будем иметь в виду обобщенные признаки, для которых, в отличие от элементарных, понятие однородности имеет вполне реальный смысл.

Для дальнейшего нам понадобится еще одно определение, введенное Маркусом, а именно понятие существенного признака (o valoare pertinentă) данного звука x. Будем называть признак (напомним, что, начиная с этого момента, мы рассматриваем только обобщенные признаки) существенным для звука x, если существует однородный с ним признак m' и звук y, такой, что $\varphi(x)$ отличается от $\varphi(y)$ тем, что признак m заменен на признак m'.

5. О связанных признаках. В МЯ (стр. 24) дано не очень точное определение релевантного признака: «Если в данной допустимой паре звуков S_1S_2 один из признаков (пусть это будет признак m) звука S_1 (или S_2) нельзя заменить никаким другим так, чтобы вновь получилось допустимое сочетание звуков, то мы будем говорить, что данный признак m связан в данной паре. Возьмем теперь звук S_1 и рассмотрим множество всех пар, в которых этот звук стоит на данном месте (например, первом). Если во всех этих парах признак связан, то мы будем называть этот признак

ного предубеждения, что недифференциальные признаки являются избыточными, см. R. Jakobson, Linguistics and communication theory, «Structure of language and its mathematical aspects», стр. 246—247.

[9] Основным понятием, которое служит как в МЯ, так и у Маркуса, для определения фонемы, является понятие связанного признака, которое определяется независимо от понятия однородности признаков. Введение же слова «неоднородный» в определение фонемы в МЯ на стр. 24 было ошибкой, так как оно не только не является необходимым, но даже ведет к логической противоречивости (на этот недостаток моего определения мне указал А. В. Гладкий, которому я пользуюсь случаем выразить свою благодарность). Без этого слова определение было бы вполне корректным.

нерелевантным». Здесь не ясно, считается ли релевантным признак, связанный во всех парах, где данный звук стоит на первом месте, и не связанный в некоторых парах, где данный звук стоит на втором месте (или наоборот)[10].

Маркус уточняет определения связанности и релевантности признаков.

Назовем признак m, который поставлен в соответствие звуку x, связанным по отношению к допустимому сегменту α, если выполнено одно из следующих двух условий: 1) m не является существенным признаком для x; 2) m является существенным признаком для x, но подстановка на место x любого y, полученного заменой m на однородный с ним признак, приводит к недопустимому сегменту.

Будем говорить, что признак m, поставленный в соответствие звуку x, связан для x слева, если для любого звука z, для которого сегмент xz допустим, признак m связан по отношению к сегменту xz. Аналогично определяется признак, связанный для x справа; признак, связанный для x справа и слева, называется двусторонне связанным.

Будем говорить, что признак m узко связан для x, если для любого допустимого сегмента yxz (где y и z произвольные звуки) признак m связан для x по отношению к yxz.

Следует отметить, что понятия двусторонне связанного признака и узко связанного признака не совпадают. Это следует из следующих теорем Маркуса.

1. Если признак m связан слева для x, то m узко связан для x (аналогично для признака, связанного справа).

2. Не всякий признак m, узко связанный для x, связан для x справа (слева, двусторонне).

Наконец, назовем признак m нерелевантным для x, если m связан по отношению к любому допустимому сегменту, содержащему x.

Наиболее важна следующая теорема, доказанная Маркусом.

3. Для того чтобы признак m был нерелевантным для звука x, необходимо и достаточно, чтобы m был узко связан для x.

Смысл этой теоремы в том, что она оправдывает обычные фонологические процедуры, при которых исследуется только ближайшее окружение звука[11]. Теорема показывает, что это верный и наиболее экономный способ анализа.

Она важна также и потому, что вместе с утверждением 1 разрешает вопрос, оставшийся открытым в МЯ. Достаточно, чтобы признак был связан во всех парах, где соответствующий звук x стоит только на первом месте, чтобы он был узко связан во всех парах, а значит был нерелевантным.

6. Фонологическая однородность. В МЯ (стр. 27—28) упорядочение фонем достигалось весьма сложной процедурой. Поскольку мы уже имеем разбиение всех признаков, то процедуру упорядочения можно упростить а главное—приблизить к обычным фонологическим представлениям. Итак, пусть дано разбиение всех признаков на классы однородных между собой признаков

$$\mathfrak{M} = \{M_1, M_2, \ldots, M_n\},$$

причем, как было условлено, порядок классов M_i зафиксирован.

[10] На это обстоятельство также обратил внимание А. В. Гладкий.

[11] Ср. следующее высказывание З. Харриса: «Метод апроксимации, наиболее широко применяемый в современной лингвистике, состоит в рассмотрении окружений, более коротких, чем полное высказывание» (Z. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 255). О применении соответствующего принципа в синтаксисе см.: И. И. Ревзин, О некоторых вопросах дистрибутивного анализа и его дальнейшей формализации, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 16.

1. Возьмем класс M_1. Мы знаем, что для любой фонемы x только один признак m_1 входит в M_1. Возьмем все фонемы, отличающиеся от x однородным с m_1 признаком и образуем класс $K_1^{(1)}$, где верхний индекс указывает, что однородные признаки брались из M_1, а нижний — на номер класса.

2. Пусть построены классы $K_1^{(1)}, K_2^{(1)}, \ldots K_i^{(1)}$. Выберем из оставшихся фонем максимальную совокупность фонем, отличающихся друг от друга только признаками из M_1. Так мы построим $K_{i+1}^{(1)}$. Эта процедура повторяется, пока не будут исчерпаны все фонемы подсистемы.

3. То же повторяется для любого класса признаков M_j. При таком упорядочении между архифонемами двух классов $K_1^{(j)}$ и $K_2^{(j)}$, состоящих более чем из одной фонемы, всегда можно установить взаимно-однозначное соответствие так, чтобы соответствующие признаки были однородными или совпадали.

Если для таким образом упорядоченной системы ввести понятия фонологической однородности и пустых клеток, то для нее останутся верными основные утверждения § 13 из МЯ (а именно теоремы 2.1, 2.4 и 2.5), причем легко проверить, что доказательство этих фактов существенно упрощается.

7. К изоморфизму между системой фонетических признаков и системой грамматических категорий. Одна из идей, высказанных в МЯ (стр. 75 и сл.), состоит в последовательном установлении соответствия между такими терминами, как «звук», «признак» и т. п., с одной стороны, и «словоформа», «грамматическая категория», с другой. Интересно, что при этом заданное разбиение категорий на классы соответствовало бы введению таких понятий, как «род вообще» (а не конкретный род), «падеж вообще», и т. п., т. е. тех объектов, которые в любом грамматическом описании всегда присутствуют и, как правило, также называются «категориями». Неудобство одного термина «категория» как для конкретного рода (например, среднего), так и для «рода вообще» как класса всех родов, или для конкретного падежа (например, дательного) и для «падежа вообще» как класса всех падежей состоит в том, что в первом случае категория однозначно определяет некоторую совокупность слов (например, все слова дательного падежа), в то время как во втором все категории (в пределах одной подсистемы, например, части речи) относятся к той же самой совокупности слов. Итак, мы действительно имеем дело с разными объектами: категория есть совокупность слов, а класс категорий заданного разбиения (например, «род вообще», «падеж вообще» и т. п.) есть название закона, который каждому слову приписывает одну и только одну категорию данного класса[12]. Это тем более верно, что для системы категорий языка выполняется, как легко проверить, критерий Маркуса. Тем самым из фонологии в грамматику могут быть перенесены все результаты, касающиеся однородных категорий, совместимых категорий и т. п.

---

[12] Мы отвлекаемся здесь, разумеется, от грамматической и лексической омонимии, вернее рассматриваем в согласии с лингвистической традицией омонимы как разные словоформы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

Ю. С. СТЕПАНОВ

О ПРЕДПОСЫЛКАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯ

В настоящее время, как известно, в лингвистике нет единого общепринятого понятия «значение».

В семантической (классической, «традиционной») грамматике существует два понятия — «лексическое значение» и «грамматическое значение»; каждое значение приписывается особым морфемам — лексическим и грамматическим, но определяется разными исследователями по-разному[1]. Неопределенным остается значение словообразовательных морфем.

В лексикологии один термин «значение слова» скрывает большое разнообразие понятий. Иногда значение слова определяется через связь «звуковой оболочки» с предметом или явлением. Связь эта понимается или как непосредственная, или, чаще, как опосредованная сознанием. Опосредование в свою очередь трактуется либо как «отображение» явления в сознании[2], либо без этого[3]. В других случаях значение слова определяется через контексты («свод высказываний» на данном языке): «лексическое значение слова — это совокупность его лексико-семантических вариантов»[4].

В фонологии значение не рассматривается, фонема признается единицей односторонней, лишенной плана содержания. Однако иногда вводится понятие «семиологической релевантности» звука[5], соотносительное с понятием «значение». Во всех этих случаях понятия «значение» имеют все же общее: отношение к сознанию.

В структурном описании языка у дескриптивистов это понятие принимает новый вид. Значение каждого элемента определяется через совокупность окружений, в терминах «идентичность» — «различие». В более общем виде значение (meaning) с этой точки зрения определяется как «частичная предсказуемость». Под предсказуемостью же понимается «поддающееся систематическому описанию окружение данного элемента»[6]. При таком понимании значения можно говорить и о значении морфемы и о значении фонемы, но это понятие уже не соотносится непосредственно с сознанием или психикой.

Сходный смысл придается понятию «значение», «семантика» в формализованных искусственных языках, где в общем виде семантикой называют «соотнесение данной формальной системы с интуитивной теорией»[7], т. е. интерпретацию формальной системы. В этом смысле, например, система фонем данного языка может быть «семантикой» некоторой более аб-

---

[1] Ср.: А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 197 и сл.; О. С. Ахманова, Лингвистическое значение и его разновидности, «Проблема значения в лингвистике и логике. Тезисы докладов», М., 1963, стр. 8 и сл.

[2] О. С. Ахманова, указ. соч., стр. 8.

[3] St. Ullmann, The principles of semantics, Glasgow, 1951, стр. 70.

[4] В. А. Звегинцев, Семасиология, М., 1957, стр. 126.

[5] О. С. Ахманова, указ. соч.

[6] A. Hill, Introduction to linguistic structures, New York, 1958, стр. 413.

[7] R. Martin, Les idées actuelles sur la structure de la pensée logique, сб. «Notion de structure et structure de la connaissance», Paris, 1956, стр. 4—9.

страктной системы оппозиций, система звуков речи, по крайней мере в некоторой своей части, может быть «семантикой» системы фонем и т. п.

В третьем типе исследований понятие значения соотносится с психикой в широком смысле слова, при исключении осознания, осознанности, сознательного.

В психолингвистике собственное значение высказывания или его элемента рассматривается в связи с намерением говорящего индивидуума. Появляется новое, комплексное понятие «значения-намерения» (purport). Вводится способ психологической оценки значений (measurement of meaning)[8], а само значение как психическое явление начинает рассматриваться как «многомерное», т. е. поддающееся оценке одновременно в разных «измерениях», с разных точек зрения (например, по размеру, активности, «приятности» и т. п.).

Изучение слова без прямого отношения к сознанию приводит и к иному пониманию значения слова — как совокупности переживаний (воспоминаний), связанных с этим словом[9]. Подобный же подход намечается при изучении значения в литературоведческом (широко — стилистическом) аспекте[10].

Ввиду такого разнообразия, разногласия и даже разнобоя понятий едва ли не главной предпосылкой к созданию общей лингвистической теории значения становится задача выработать мета-язык, с помощью которого можно было бы обсуждать существующие понятия значения. В свою очередь решение этой задачи упирается в более узкую задачу создания понятий о понятиях значения. К решению последней можно приблизиться двумя путями: 1) классифицируя предметную область[11], т. е. описывая с единой точки зрения разные явления «значения», иными словами, отвечая на вопрос—«какие явления действительности можно обозначить словом „значить“»? 2) классифицируя понятия значения, т. е. отвечая на вопрос — «как понимается, что значит „значить“»? После этого можно поставить вопрос о соотношении обеих классификаций.

Остановимся подробнее на каждом из этих трех пунктов.

---

[8] Ср.: Ch. E. Osgood, G. J. Suci, P. H. Tannenbaum, The measurement of meaning, Urbana, 1957; Ch. E. Osgood, Language universals and psycholinguistics, сб. «Universals of language», ed. by J. H. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963, стр. 242—243.

[9] Ср.: F. Rostand, Grammaire et affectivité, Paris, 1951, стр. 136—137: «В предельном случае слово, как может показаться, вызывает все воспоминания о моментах, когда оно было воспринято или просто слышимо... Практически же, когда взрослый понимает или сознательно употребляет слово, он не обращается к большому количеству осознанных воспоминаний... Смысл слову придается исходным концом этой цепи. Но особый смысл, обретаемый словом к моменту каждого нового его употребления, обусловлен противоположным концом цепи и самыми свежими воспоминаниями, связанными с ним». Точка зрения Ф.Ростана вырастает из психоанализа и его критики. Ср. подобную мысль в иной перспективе в статье: Ch. Hockett, Idiom formation, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956.

[10] Ср.: «... было бы интересным проверить гипотезу о том, что семантику каждого слова в поэтическом тексте можно описать шаг за шагом, как производное от его постоянного значения и последовательного подключения смысловых ассоциаций» (А. К. Жолковский, В. В. Иванов, Н. Н. Леонтьева, Ю. С. Мартемьянов, В. Ю. Розенцвейг, Ю. К. Щеглов, Дифференциально-семантические признаки слова, «Тезисы докладов межвузовской конференции по применению структурных и статистических методов исследования словарного состава языка», М., 1961, стр. 61).

[11] О важности описания предметной области для создания мета-языка см.: О. С. Ахманова, К вопросу об основных понятиях мета-языка лингвистики, ВЯ, 1961, 5, стр. 117 и сл.

*

Предметную область можно описать с помощью широко распространенной схемы, идущей от Г. Фреге. Схема достаточно общо показывает внутреннюю структуру знака (в широком смысле, знак — это I—II—III в их отношении друг к другу, в узком смысле знак — это I) (см. рис. 1).

Отношение I — II, знака к денотату, называется выражением «иметь денотат» или словом «обозначать», в частном случае — «называть», в еще более частном случае — «именовать».

Отношение I—III, знака к десигнату, называется выражением «иметь десигнат», т. е. «знак имеет десигнат», в частном случае, например, когда знак — математический символ, — «выражать».

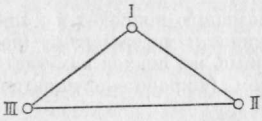

Рис. 1. *I* знак (в частности, фонетическое слово [12]; имя; математический символ). *II* денотат (предмет; явление действительности; в математике — число, и т. д.). *III* десигнат (в частности, понятие о предмете; в математике — концепт денотата)

Отношение III — II, кажется, не имеет достаточно общего названия; в частном случае, в математике, говорят, что концепт «определяет» денотат [13], в философии говорят о том, что понятие «отражает» свойства предмета.

Значением же с полным правом может называться и отношение знака к денотату, и отношение знака к десигнату.

Процесс появления и становления знака называется семиосисом. Поэтому исследовать те явления действительности, которые называются значениями, — это исследовать семиосис в естественных (животных и социальных) и искусственных системах связи («языках» в широком смысле слова). Лингвистическая теория значения, относясь к естественному человеческому языку, т. е. просто — языку, все же не может обойти вопроса и о других семиосисах. Системы связи генетически располагаются в следующем порядке (берем только три основные): 1) биологические системы связи, 2) язык, 3) искусственные формализованные языки.

Можно наметить следующие ступени семиосиса в биологических системах связи.

1. Всякое явление есть знак самого себя, в этом случае явление как объект и то же явление как знак полностью тождественны: это нулевая ступень знаковости; например, нормальное существование семьи пчел есть знак нормального существования семьи пчел. (Конечно, с известной, узкой точки зрения, это вообще не знак. Однако мы вправе описать это явление и как знак, что имеет смысл, если оцениваются разные ступени семиосиса).

2. Более высокую ступень находим, например, в следующем: пчелиная матка постоянно выделяет на поверхность своего тела так называемое маточное вещество, пчелы «свиты» слизывают его и по капельке передают другим, те делятся с третьими и т. д., таким образом, что капля маточного вещества доходит до каждой особи; распределение маточного вещества есть знак благополучия в пчелиной семье, но одновременно необходимая составная часть этого благополучия, — если распределение маточного вещества прекращается (например, при гибели матки), жизнь улья

[12] Указание на то, что слово языка может быть знаком, не предрешает вопроса о том, является ли язык системой знаков.

[13] А. Черч, Введение в математическую логику, I, М., 1960, стр. 19.

нарушается [14]; в этом случае знак биологически релевантен и одновременно биологически частично тождествен означаемому.

3. Еще более высокую ступень находим в таком, например, случае: у рыбы колюшки раздувание брюшка от накопившейся икры есть сигнал к началу брачного танца [15],— более высокую потому, что знак здесь биологически релевантен, но уже не тождествен означаемому. В подобных случаях, — как это показано в опытах так называемой этологической школы в психологии, — уже возможно обобщение сигнала. Так, брачный танец самца бабочки перламутровки может быть вызван бумажной моделью, подвешенной на гибком пруте, причем существенны не форма, размер и цвет модели, а только характер порхания и интенсивность окраски [16].

4. Следующую ступень представляют собой такие сигналы, когда сохраняется только энергетическое подобие знака означаемому, но не биологическое тождество вида энергии. Так, громкий крик животного — сигнал большого возбуждения, тихий крик — сигнал слабого возбуждения и т. п. Таковы некоторые виды интонации, — аффективной, — в человеческих языках, таковы междометия, по крайней мере некоторые и т. п. Эту ступень знаковости находим и в такой знаковой системе с высокой степенью условности, как письменность. Например, в известной сказке А. Толстого речь медвежонка, мамы-медведицы и папы-медведя передается типографически так:

Медвежонок: Кто ел из моей мисочки?
Медведица: Кто ел из моей миски?
Медведь: Кто ел из моей миски?

Таким образом, в биологических системах связи одновременно сосуществуют разные ступени семиосиса, или знаки, которые в разной степени являются таковыми [17].

По-видимому, основное свойство семиосиса в биологических системах связи (как это видно и из приведенных примеров) — это материальное подобие знака означаемому (денотату). Можно сказать, что знак здесь скорее выражает, т. е. передает подобное через подобное, чем символизирует.

В искусственных формализованных языках мы имеем дело с искусственным процессом семиосиса.

---

[14] И. Халифман, Пчелы, 4-е изд., М., 1963, стр. 50 и сл.

[15] N. Tinbergen, The study of instinct, 4-th ed., Oxford, 1958, стр. 38.

[16] N. Tinbergen, указ. соч., стр. 46; также Н. Н. Ладыгина-Котс, Сравнительная психология, сб. «Современная психология в капиталистических странах», М., 1963, стр. 217.

[17] «Семиотика как наука о семиотическом процессе (семиосисе) так же отличается от самого семиотического процесса, как любая наука от своего объекта. Если x функционирует таким образом, что y отдает себе отчет о z посредством x, то мы можем сказать, что x есть знак, и что x имеет десигнатом z и т. д. Но здесь „знак“ и „имеет десигнатом“ являются знаками в семиотическом процессе более высокого порядка по отношению к первоначальному семиотическому процессу низшего уровня...» (Ch. W. Morris, Foundations of the theory of signs, Chicago, 1938, стр. 8). Семиотически можно рассуждать о «знаке знака» или, двигаясь вверх по уровням семиотического процесса, о «знаке знака знака» и т. д., или, двигаясь вниз, о «знаке объекта». Последний уровень является предельным. Для непротиворечивости семиотического описания требуется, чтобы предмет описания не лежал ниже того уровня семиотического процесса, который выражен словами «знак объекта». Таким образом, семиотическая точка зрения исходит из предпосылки, что все знаки в пределах одного уровня — в равной степени знаки. Это естественное ограничение семиотики, и поэтому чисто семиотическая точка зрения (во всяком случае, теперешней семиотики) недостаточна для лингвистической теории значения.

Остановимся в этой связи на одном примере — имени из высокого формализованного искусственного языка — математики. В качестве имени берем $\frac{3}{4}$. С общей семиотической точки зрения существенные отношения могут быть представлены так: I имя (или, что то же самое, математическое выражение $\frac{3}{4}$) называет II денотат (или, что то же самое, само число $\frac{3}{4}$) и выражает III десигнат имени (или, что то же самое, концепт денотата, смысл); десигнат (или концепт денотата) определяет денотат[18]. Отношение I—III, имени к десигнату, является определяющим в этом искусственном семиосисе, так как математическое выражение (имя) должно выражать математический концепт или смысл. Называние должно происходить через придание смысла. Подобия же имени денотату, числу здесь, разумеется, вовсе нет.

Язык занимает промежуточное положение между биологическими системами связи и искусственными языками такого типа. Семиосис в языке в большинстве случаев оказывается естественным, стихийным процессом. Кроме особых черт, он имеет черты и биологического, и искусственного семиосисов.

Определяющим в естественных языках является не отношение «имя концепт (десигнат)», а отношение «имя — денотат». Пример: имя — «подснежник», концепт имени (по лингвистической терминологии — «внутренняя форма») — «нечто, появляющееся из-под снега»; денотат — «цветок, появляющийся из-под снега». Очевидно, что «нечто появляющееся из-под снега» может быть и цветком, и старым башмаком, и пнем и т. п. Десигнат (концепт) в естественных языках не определяет единственности денотата, а денотат не является функцией концепта.

Обратимся теперь к «переводам» математического имени $\frac{3}{4}$ на русский язык. Один перевод, транслитерация «три дробь четыре» наиболее адекватен математическому имени; каждому элементу математического символа соответствует элемент русского языка: «3» — «три»; «—» — «дробь»; «4» — «четыре». Другой перевод, «три, деленное на четыре» наиболее адекватен десигнату (концепту), так как концепт ведь и есть не что иное, как способ, каким денотат называется. Ясно, что денотат — число $\frac{3}{4}$, называется посредством указания на то, что это число получено способом деления 3 на 4. Третий перевод, «три четвертых» или «три четверти», наиболее адекватен самому денотату: «три четвертых», «три четверти» и есть то число, которое именуется символом $\frac{3}{4}$. Эти примеры показывают, что называние в языке может происходить разными путями, причем называние через понятие, концепт или десигнат вовсе не преобладает над другими способами.

Опишем теперь выражение русского языка «три четверти» посредством рисунка. Мы видим, что «три четверти» может значить следующее:

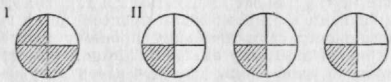

Рис. 2

Второй денотат имеет в русском языке и специальное имя «три четвертинки». В составном имени «три четверти» мы заменяем имя «четверть» на

[18] А. Черч, указ. соч., стр. 19.

имя «четвертинка» с тем же денотатом. При этом денотат полученного составного имени «три четвертинки» сравнительно с первым изменился (рис. 2, II). Этим положением естественные языки также отличаются от искусственных языков, где «денотат составного имени не меняется, если одно из входящих в него составляющих имен заменить другим, с тем же, что у заменяемого, денотатом» [19].

Важно еще одно положение, определяющее для искусственных формализованных языков: «смысл составного имени не меняется, если одно из входящих в него составляющих имен заменить другим с тем же, что у заменяемого, смыслом» [20]. Преобразуем выражение «три четверти» в «три четвертые части». «Четвертая часть» имеет тот же смысл, что «четверть». Полученное составное выражение сохраняет тот же смысл, что и первое, но оно перестало быть именем естественного языка в том понимании термина «имя», в каком мы применяем его к исходному выражению «три четверти». Исходное выражение является тем, что называется на языке лингвистики устойчивым словосочетанием и функционирует как целое, т. е. именно как имя: ср. *рукав три четверти*, *половина бюджета— три четверти бюджета* и т. п., полученное же выражение устойчивым словосочетанием не является.

Применительно к естественным языкам необходимо в о з м о ж н ы е структурные преобразования наименований отличать, с одной стороны, от преобразований нормативных, т. е. допустимых в норме языка (за пределами ее остаются, хотя и понятные, но не принятые выражения), с другой стороны, от преобразований исторических. Так как семиосис в языке носит стихийный характер, то вследствие этого «трансформационная история» какого-либо выражения (т. е. последовательность преобразований, путем которых оно м о ж е т б ы т ь получено) в большинстве случаев и в принципе не совпадает с реальной историей, т. е. с последовательностью преобразований, вследствие которых оно д е й с т в и т е л ь н о в о з н и к л о в языке. Между тем если значение «по десигнату» до некоторой степени зависит от трансформационных отношений в языке, то значение «по денотату» определяется реальной историей. Отсюда такие (многочисленные) случаи, как *писатель*, где значение определяется не трансформацией — «тот, кто пишет», а реальной историей.

*

П о н я т и я з н а ч е н и я необходимо классифицировать соответственно уровням анализа языка. Исходим из положения, что уровни анализа соответствуют объективно существующим уровням объекта — языка. Последних же,— мы принимаем здесь точку зрения Э. Косериу, — три: система, норма, речь [21]. Под системой понимается абстрактная структура языка, характеризующаяся через структурные единицы ее — фонему, морфему и конструкцию и их отношения. Под нормой понимается традиционная, принятая в данном обществе реализация структуры, — правильная речь в противопоставлении неправильной, характеризующаяся словами (лексикой) и типами предложений. Под речью понимается индиви-

[19] А. Ч е р ч, указ. соч., стр. 20.

[20] Там же.

[21] E. C o s e r i u, Sistema, norma y habla, Montevideo, 1952; 3-е изд. в сб. автора «Teoría del lenguaje y lingüística general», Madrid, 1962 (рецензию А. А. Леонтьева на 2-е изд. см. в кн. «Структурно-типологические исследования», М., 1962). Трехступенчатая теория Э. Косериу удачно преодолевает резкое соссюровское противопоставление языка и речи, сохраняя все необходимые различия; в то же время она отвечает в материалистической форме идее трехступенчатой структуры языка у Л. Ельмслева (см. его «Язык и речь» в кн. «История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1960).

дуальная речь с ее основной единицей — высказыванием, «речевым актом», или «речевым событием».

Соответственно этой теории можно дать следующую классификацию понятий значения:

Таблица 1

Уровни языка	Уровни анализа	Понятия значения
Система (структура)	структурный уровень	в синтагматическом плане: «значение как частичная предсказуемость», в парадигматическом плане: «значение как дистрибуция», «значение как совокупность, пучок дифференциальных признаков».
Норма	денотативный уровень	классическое («традиционное») понятие: «значение как указание на объект, связь с объектом, отражение объекта» и т. п.
Речь	коннотативный уровень	психолингвистическое понятие: «значение — намерение»; психоаналитико-лингвистическое понятие: «значение как совокупность переживаний» и т. п.

Из сказанного видно, что разнообразные лингвистические понятия значения в большинстве случаев, разумеется при условии внутренней их непротиворечивости, оказываются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими.

Эта лингвистическая классификация хорошо согласуется с семиотической. В семиотике знак может описываться в трех «измерениях»: 1) семантическое измерение, семантика — отношение знака к объекту, к которому знак прилагается; 2) прагматическое измерение, прагматика — отношение знака к истолкователям его, к пользующимся им; 3) синтактика, синтаксис — отношение языка к другим знакам той же системы — синтаксическое измерение [22]. С семиотической точки зрения, как и с указанной выше лингвистической точки зрения, понятие «значит» расщепляется:

«значит» в терминах синтактики = «имплицирует» (implicates)
» » » семантики = 1) «имеет десигнат» (designates)
2) «имеет денотат» (denotes)
» » » прагматики = «выражает» (expresses).

Совпадение лингвистической и семиотической классификаций может быть показано схематически:

Таблица 2

Уровни лингвистического анализа	Семиотические понятия «значит»
Структурный	синтагматич. аспект: «имплицирует» парадигматич. аспект: «имеет десигнат»
Денотативный	«имеет денотат»
Коннотативный	«выражает»

[22] Ch. W. Morris, указ. соч., стр. 6—7.

*

Сопоставить обе классификации — предметную и понятийную — значит ответить на два вопроса: 1) нет ли в обследованной к настоящему времени предметной области какой-либо части, которая осталась бы не отраженной в существующих понятиях; 2) не является ли какая-либо часть существующих понятий «пустой», т. е. соответствующей не реальным значениям в семиосисе, а лишь задачам описания.

На первый вопрос придется ответить утвердительно. Некоторые из известных теперь реальных семиотических явлений близкого к биологическому семиосису типа (значения аффективной интонации, громкости звука, слова как элемента психической реакции — в восклицании, брани и т. п. многосторонние значения метафоры, в частности синэстетической, цвето-звуковой, и т. д. и т. п.) не находят отражения в системе понятий значения: нижняя клетка табл. 1 остается недостаточно заполненной.

Что касается второго, то он сводится в настоящее время к нерешенному вопросу о том, имеют ли так называемые структурные значения реальные функции в семиосисе: например, имеют ли бинарные классификации значений психическую реальность; действует ли речевое мышление по правилам так называемой порождающей грамматики и т. д. и т. п.: соответствие между верхней клеткой таблицы и предметной областью остается проблематичным. Весьма важным в этой связи оказывается вопрос о разграничении понятий «определить данное значение» (т. е. дать его определение) и «найти, установить, узнать и т. п. данное значение».

Долгое время господствовала точка зрения, что если какой-либо элемент языка имеет значение, то узнать это значение можно через его определение, т. е. дав ему определение. Этот взгляд, очевидно, во-первых, опирался на предположение, что в значении содержатся некие общие понятия, которые и можно установить, давая определения[23], и, во-вторых, относится к таким значениям, которые являются наиболее сознаваемыми, т. е. к денотативному уровню языка, единственно изучавшемуся в то время.

Совершенно иная точка зрения наметилась с начала XX в. и первоначально была выражена Ш. Балли и Л. В. Щербой.

У Ш. Балли: «Возьмем еще один пример и еще раз повторим весь ход рассуждения в его естественной последовательности. Во фразе *C'est un frêle appui que le sien* „Он довольно хрупкая опора“ рассмотрим слово *frêle* „хрупкий“ — лексическую единицу, четко выделяющуюся из всего контекста. Прежде всего определим его значение. Любопытно, что в первую очередь в уме возникает не определение, а аналогии (разрядка наша. — *Ю. С.*): мысль инстинктивно ищет сходные выражения, синонимы; перебирая нити ассоциаций, присущих каждому носителю языка, мы объясняем *frêle* с помощью других прилагательных — таких, как *faible* „слабый“, *débile* „хилый, немощный“, *fragile* „ломкий, непрочный“, *chétif* „чахлый, щуплый“ и т. п. Но равнозначны ли эти синонимы? Нет, и, рассматривая различия между ними, мы невольно сводим их всех к *faible*. Наконец, сопоставляя *faible* и *frêle*, мы находим путем рассуждения (что очень редко бывает в повседневной языковой практике), что *frêle* обозначает „вид слабости, характеризующийся отсутствием сопротивляемости или прочности“; *appui frêle* „хрупкая опора“ — это

[23] Так, Г. Пауль, четко различая узуальное и окказиональное значения, т. е. по существу разные уровни значения — узуальное — уровень нормы, окказиональное — коннотативный уровень (см. табл. 1), все же полагал, что «слово в окказиональном употреблении может выражать нечто конкретное, в то время как узуально оно обозначает лишь нечто абстрактное, некое общее понятие, под которое могут быть подведены различные конкретные представления» (см.: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 94).

опора, которая может рухнуть при малейшем толчке. Этой последней операцией мы даем определение *frêle*, т. е. определяем его значение»[24].

Таким образом, в теории Ш. Балли нахождение, установление данного значения впервые отделяется от определения данного значения. (Хотя Ш. Балли и употребляет термин «определение» безразлично.) Так же рассуждает и Л. В. Щерба[25].

Второй этап в выработке нового взгляда наметился с утверждением структурализма, в частности в работе Р. О. Якобсона о падежах[26]. Из нее следовало, во-первых, что значения нужно соотносить с уровнями языка (ср. табл. 1); во-вторых, что уровень нормы содержит только частные значения, обобщение их путем определения невозможно; одно из частных значений может быть главным, оно инвариант — независимый от контекста; другие частные значения — второстепенные; в-третьих, что общее значение относится к структурному уровню.

Поскольку первоначально с этой точки зрения рассматривались только грамматические элементы лексики (падежи у Р. О. Якобсона, предлоги у В. Брёндаля), то вопрос о границах применения нового метода и о реальности общего значения не вставал. Действительно, реальное существование общего значения, или значимости, не вызывает сомнений в классах с определенным (конечным) числом элементов, каковы классы грамматических форм. На структурном уровне, где значение предстает как общее значение, описание его и есть определение[27]. С течением времени весьма плодотворные идеи Р. О. Якобсона и В. Брёндаля получили широкое распространение[28].

Третий этап в становлении этой точки зрения связан с именем Е. Р. Куриловича, который в статье «Заметки о значении слова»[29] сформулировал мысль о невозможности установления общего лексического значения (например, у двух значений слова *осел* — 1. животное, 2. упрямец), и о том, что понятие «общее значение» гипотетично.

В настоящее время можно, по-видимому, утверждать, что главное и второстепенные значения принадлежат к уровню нормы в объекте и к денотативному уровню в способе анализа, тогда как общее значение принадлежит структурному уровню в способе анализа. Что касается наличия общего значения в объекте, в самом языке, и в процессе семиосиса, то это, как уже говорилось, остается проблематичным[30].

Несмотря на то, что типы или уровни значения разграничиваются таким образом достаточно четко, остается неясным, как устанавливать значения на разных уровнях. Если значение на структурном уровне можно находить путем определения (структурного), то значения на коннотативном уровне и даже на уровне нормы, с которым в первую очередь связана лексикологическая практика и составление словарей, устанавливаются по методу Ш. Балли, эмпирически и интуитивно.

Задача теории значения теперь — точное описание процесса интуитивного нахождения значения на уровне нормы и на коннотативном уровне.

---

[24] Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, стр. 121.

[25] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1940, 3.

[26] R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936.

[27] V. Brøndal, Théorie des prépositions, Copenhague, 1950, стр. 41.

[28] Ср. конкретные исследования советских лингвистов: Л. Н. Засорина, Опыт системного анализа предлогов современного русского языка (предлоги со значением причины), «Уч. зап. [ЛГУ]», 301. Серия филол. наук, 60, 1961; И. П. Иванова, Об основном грамматическом значении, там же.

[29] ВЯ, 1955, 3.

[30] У Л. Ельмслева сематема, по-видимому, сопоставима с общим (структурным) значением в том смысле, как здесь, но сверх сематемы он постулирует еще значимость (Л. Ельмслев, Можно ли считать, что значения слов образуют структуру, сб. «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 132).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

П. С. КУЗНЕЦОВ

ОПЫТ ФОРМАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛОВА

Слово (применительно к любому языку) представляет собой едва ли не единственную единицу, эмпирическое представление о которой имеет любой говорящий, даже неграмотный, чего нельзя сказать не только о звуковых, но и о других, значимых единицах, бóльших и меньших слова. Об этом свидетельствуют самые термины. Ср. исконное русское «слово» и заимствованные термины для различных других значимых единиц, обычно восходящие (непосредственно или через посредство других языков) к источнику классическому, т. е. латинскому или греческому (ср. «фраза», «суффикс», «префикс»), или славянизмы по форме (часто книжного происхождения), представляющие собой кальки опять-таки с латинского или греческого (ср. «предложение», «приставка» и т. п.). Что же касается термина «звук», также издавна известного в русском языке и применяющегося и к такой единице, как звук речи (языка), то он может обозначать и иные акустические эффекты, помимо производимых речевым аппаратом человека.

Но эмпирическое представление о каком-то факте далеко не всегда совпадает с научным определением данного факта. Первым условием научного исследования в любой области всегда является строгое определение объектов этой области. Объекты эти должны быть определены в определенной последовательности с тем, чтобы, дав строгое определение некоторому объекту (точнее, некоторому классу однородных в каком-то отношении объектов), можно было использовать это определение для определения других классов объектов.

О слове писалось много. Было много попыток определения слова, определения отношения слова к его значению и отсюда к выражаемому им понятию. Здесь будет сделана попытка дать чисто формальное его определение без обращения к смыслу, так как именно такое определение может быть дано в наиболее простом и строгом виде. Эта попытка никоим образом не означает отрицания важности изучения значения слова, она означает лишь, что исследование этого значения является дальнейшей задачей, когда исследуются все свойства некоторой уже определенной без обращения к этим свойствам единицы.

Исходя из разграничения языка и речи [1], слово определяется здесь лишь как единица речи. Единицу языка, соответствующую слову как единице речи, обычно называют «лексемой». Формальное определение понятия лексемы также очень важно для языкознания, однако оно должно быть построено, пользуясь уже полученным определением слова как единицы речи. Определение же слова в речи должно лишь служить основанием для проведения границы между словами в речевом потоке, т. е. для отграничения каждого слова от предшествующего и последующего.

Поскольку речь идет лишь об основании для такого отграничения, для определения слова не понадобится понятие «словоформы», вообще очень

[1] Наше понимание этого разграничения см. в статье: П. С. Кузнецов, О языке и речи, «Вестник МГУ», Серия VII, 1961, 4.

важное, но связанное с иным кругом проблем. На данном же этапе рассуждений его можно было бы использовать лишь как полный синоним термина «слово».

Определение, которое будет здесь предложено, относится лишь к устной, или звучащей, речи, т. е. производимой речевым аппаратом человека или воспроизводимой каким-либо прибором (например, магнитофоном). Устная, или звучащая, речь в данном случае противопоставляется письменной речи. Определение слова для современной письменной речи на любом языке, пользующемся буквенным письмом, т. е. для текста, просто. Словом («словоформой») называется отрезок текста между двумя соседними пробелами [2]. Расположение пробелов условно. Оно опирается на традиционную орфографию, которая является более устойчивой, чем живая речь, а поэтому (для одних языков в большей, для других в меньшей степени) истолковывается *диахронически*. Правда, она всегда как-то связана и с состоянием живой речи данного (настоящего) момента.

Слово как значимая единица речи (значение всегда обязательно у слова присутствует) должно быть определено без обращения к другим значимым единицам (как речи, так и языка) с тем, чтобы эти последние могли быть определены, пользуясь уже полученным определением слова.

Слова бывают самостоятельные и служебные; для каждого из них необходимо дать отдельное определение. Словом же вообще будет любая единица, которая подойдет под определение или первого, или второго. Начнем с определения самостоятельного слова.

Каким исходным материалом мы располагаем до того, как приступаем к определению, и какие операции при этом мы можем производить? Мы располагаем звуковой последовательностью человеческой речи данного языка, т. е. определенной последовательностью звучаний, прерываемой паузами, являющейся результатом определенной последовательности работ речевого аппарата говорящего человека. Эту последовательность мы можем наблюдать на слух и регистрировать инструментально как в акустическом, так и в артикуляционном (физиологическом) отношении. Мы можем выделять любые отрезки этой звуковой последовательности и сопоставлять их (сравнивать, отождествлять) с отрезками другой речи другого человека, говорящего на том же языке, или с другими (во времени) отрезками той же речи того же человека.

Существенного отличия не будет, если объектом операций будет служить не речь человека, а воспроизведение ее на приборе (например, магнитофоне). Никакой информацией о значении этой речи мы пока не располагаем.

Приступим к самому определению.

Звуковая последовательность, могущая быть ограниченной паузами любой длины, есть звуковая последовательность, которая содержит по крайней мере одно самостоятельное слово (1).

Определение слова этим еще не дается, а лишь указывается, что в такой звуковой последовательности может быть не меньше одного самостоятельного слова, но может быть и два и три и т. д. Так, например, в таком отрывке диалога, как *Что это там вдали? — Дом*, указанным требованиям удовлетворяет как первая реплика (до знака ?), так и вторая (*Дом*).

Звуковая последовательность, определен-

[2] Ср., например: И. А. Мельчук, Морфологический анализ при машинном переводе (преимущественно на материале русского языка), сб. «Проблемы кибернетики», 6, М., 1961, стр. 207, примеч.

ная указанным выше способом, внутрь которой не может быть вставлена другая звуковая последовательность, определенная таким же способом, и есть отдельное самостоятельное слово (2).

Возможность или невозможность операции (в данном случае вставки) понимается в смысле возможности или невозможности в результате этой операции получить нормальную, осмысленную, реально представленную в речи данного языка звуковую последовательность. Различные отступления от нормы — речь иностранца, плохо владеющего данным языком, случайные обмолвки, речь, прерванная какими-либо внешними причинами, и т. п. — легко могут быть элиминированы статистически.

Рассмотрим такой пример: *Мы вошли в город*. Согласно определению (1), в этой звуковой последовательности (фонетически по нормам литературного языка [мы вашл'и́ вго́рът]) есть по крайней мере одно самостоятельное слово, но одно или больше, еще неизвестно. Указанным способом можно установить наличие не менее чем одного самостоятельного слова в звуковой последовательности *мы вошли* и в звуковой последовательности *в город*. На основании же возможности таких звуковых последовательностей, как *мы недавно вошли* и *в большой город*, и на основании того, что как в отношении *недавно* [н'ъда́внъ], так и в отношении *большой* [бʌл'шо́й], может быть доказана указанным способом принадлежность к звуковым последовательностям, содержащим по крайней мере одно самостоятельное слово, доказывается, что отдельным самостоятельным словом является не *мы вошли*, а *вошли* [вашл'и́], и не *в город*, а *город* [го́рът].

Остается определить служебное слово, что достаточно просто.

Звуковая последовательность, которая не является ни отдельным самостоятельным словом, ни частью отдельного самостоятельного слова, есть служебное слово (3).

Заметим, что междометия, согласно данным выше определениям, относятся к самостоятельным словам.

Приведенные выше определения удобны тем, что позволяют определить отдельное самостоятельное слово по крайней мере большей частью в соответствии с эмпирически существующими представлениями и для тех случаев, когда оно одно не образует высказывания, но обязательно сочетается с другими словами.

Впрочем, отдельные случаи, не разрешимые на основании предложенных определений, а также случаи решений, не соответствующих нашим эмпирическим представлениям, возможны, поскольку любой человеческий язык не представляет собой искусственно созданного логического устройства и описан как таковое может быть лишь в большей части, но не целиком. Существенно, чтобы таких случаев было немного.

При определении слова не были использованы ни понятие «фонемы», ни понятие «морфемы», ни различные понятия, производные от них. Все эти понятия (в определенной последовательности) могут быть получены уже при наличии тех понятий, которые определены здесь.

Здесь использовался лишь материал русского языка; однако предложенные критерии применимы и для других языков (может быть, и для всех, хотя сейчас судить об этом нет возможности).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. Я. МЫРКИН

ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОГО МЕСТОИМЕНИЯ И ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЕГО В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ АСПЕКТЕ

Высказывание Р. Якобсона о том, что «противоречие между реконструируемым состоянием какого-либо языка и общими законами, которые устанавливает типология, делает реконструкцию сомнительной» [1], предполагает, естественно, и обратное: только установление типологического изоморфизма языкового явления, реконструируемого сравнительно-историческим методом, придает реконструкции характер достоверности. Вольно или невольно компаративисты всегда следовали этому тезису в своих частных исследованиях, так что фиксацию черт изоморфного порядка мы имеем для многих языковых фактов. Между тем ряд традиционных черт типологии личного местоимения, предшествующих реконструкции, являются неточными и ложными.

1. Оппозиция форм единственного и множественного числа. 1.1. В научных грамматиках принято говорить, что форма мн. числа местоимения «мы» не означает «я + я + я», чем якобы и объясняется супплетивизм форм ед. и мн. числа. Действительно, и.-е. антиномия *$\hat{eg}(h)\breve{o}(m)$: $\underset{\smile}{u}e(i)s$ (* $m\breve{e}\breve{e}s$) подтверждает это умозаключение, выведенное, кстати, только на материале и.-е. языков. Между тем данное положение не совсем точно в теоретическом и в фактическом планах. На ложность противопоставления существительного личному местоимению в характере значения мн. числа превосходно указал А. В. Исаченко: «Денотаты, обозначаемые формой (*мои*) *книги*, являются разными предметами, относящимися к классу „моих книг". Денотаты, обозначающиеся местоимениями *мы* или *вы*, относятся к тому же классу денотатов, как и денотаты, обозначаемые местоимениями *я* или *ты*, т. е. к классу „лиц". Если форма *книги* обозначает „одна книга и еще другие книги", то местоимение типа *мы* имеет такую семантику: „говорящее лицо и еще другие лица"» [2]. Если все-таки верно, что местоимение «мы» генетически значит «я и ты...» или «я и он...», то, как остроумно заметил Г. Коппельман, «также и при значении „я и ты" или „я и он" звуковое совпадение в одной составной части, например, в начальном согласном, между „я" и „мы" очень вероятно, хотя и не обязательно» [3].

В фактическом плане большинство неиндоевропейских языков обнаруживает гомогенность основ ед. и мн. числа личных местоимений, по крайней мере на уровне указания Г. Коппельмана. Несколько иллюстраций:

---

[1] Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание, сб. «Новое в лингвистике», 3, М., 1963, стр. 102.

[2] А. В. Исаченко, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1, стр. 41—42.

[3] H. Koppelmann, Die eurasische Sprachfamilie, Heidelberg, 1933, стр. 104—105.

	1-е лицо		2-е лицо	
	ед. число	мн. число	ед. число	мн. число
Коми-перм.	*ме*	*мийо*	*тэ*	*тийо*
Ненец.	*мань*	*маня'*	*пыдар*	*пыдара'*
Фин.	*minä*	*me*	*sinä* < **tinä*	*te*
Турецк.	*bān*	*biz*	*sān*	*siz*
Тамильск.	*nān*	*nām*	*nī*	*nīr*
Кит.	*во*	*вомэнь*	*ни*	*нимэнь*

Отсюда можно предположить, что в и.-е. форма 1-го лица ед. числа им. падежа *eĝ(h)ŏ-* является вторичной, а первичным, исконным было, по всей вероятности, образование на *m-*: **me* или **mo*[4], как это следует из форм личного местоимения ед. числа косв. падежей, из личного окончания и.-е. атематических глаголов на *-mi*[5] и форм личного местоимения «я» в других языковых семьях и прежде всего в урало-алтайской группе. Если вставить данную основу **me* в парадигму, скажем, литовского языка:

	Ед. число	Мн. число
Им. пад.	**me*	*mēs*
Вин. пад.	**mene* > *mane*	»

то так называемый супплетивизм, из которого делаются многозначительные выводы[6], в парадигме личного местоимения 1-го лица в некоторых и.-е. языках исчезает. Несколько сложнее механизм отождествления и.-е. основ 2-го лица, о чем будет сказано ниже.

1.2. Каким же способом в таком случае осуществляется выражение оппозиции ед. и мн. чисел? Наиболее общим типологически является способ прибавления к основе ед. числа форм «я», «ты» показателя мн. числа. Так, в китайском в формах мн. числа *во-мэнь* «мы», *ни-мэнь* «вы» формант *-мэнь* является показателем мн. числа для лиц. В нивхском языке формы *н'ы-нг* «мы», *чы-нг* «вы» образованы от соответствующих форм ед. числа *н'и* «я», *ч'и* «ты» с помощью суффикса-*нг*/-*н*, обозначающего множество[7]. Такой же характер имеет, по мнению большинства тюркологов, суффикс *-z* в формах мн. числа тюркских личных местоимений: турецк. *bi-z*, *si-z*, кирг. *би-з*, *си-з* и т. д.[8]. В языке шильх (берберская группа) от форм ед. числа *nkin* «я», *kiin* «ты» (муж. род.) формы мн. числа *nkunne* (<**nkin -une*), *kunne* образованы с помощью суффикса мн. числа *-un*[9]. В языке айну *e* «ты», *echi* «вы», где *-chi* суффикс мн. числа (ср. *pe* «вода» — *pechi* «воды»)[10]. Конечное *-s* в и.-е. формах мн. числа личных местоимений (ли-

[4] Ср.: А. Н. Савченко, Некоторые вопросы развития местоимений в индоевропейском языке, сб. «Rozprawy Komisji językowej [Łodźk t-wa naukowego]», VI, 1959, стр. 13.

[5] Так, П. Кречмер разлагает и.-е. **esmi* «есмь» на **e-s* «он, этот» + *mi* «я», что вместе значило «вот это я», аналогично **esti* «вот это он» (P. Kretschmer, Objektive Konjugation im Indogermanischen, «Abhandlungen der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse, CCXXV, 2, Wien, 1947, стр. 17). В. Бранденштейн считает флексию *-mi* атематических глаголов формой локатива личного местоимения 1-го лица (см. сб. «ΜΝΉΜΗΣ ΧΑΡΙΝ», 1, Wien, 1956, стр. 52).

[6] С. Д. Кацнельсон в работе «К генезису номинативного предложения» (Л., 1936) из супплетивизма в местоименной парадигме 1-го лица сделал заключение о былом существовании эргативной конструкции в и.-е. языке.

[7] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 1, М., 1962, стр. 206.

[8] В. Котвич допускает также, что алтайские формы мн. числа сложного вида: маньч. *muse* «мы», тунг. *miti*, монг. *bida*, турецк. *biz* и т. п.— являются исконными формами двойств. числа (см.: W. Kotwicz, Les pronoms dans les langues altaïques, Kraków, 1936, стр. 13).

[9] C. Meinhof, Die Sprache der Hamiten, Hamburg, 1912, стр. 108.

[10] P. Naert, La situation linguistique de l'aïnou, Lund, 1958, § 138.

тов. *mēs*, *jūs*, гот. *weis*, *jūs*, лат. *nōs*, *vōs* и т. п.), без сомнения, отождествляется с именным суффиксом мн. числа *-(e)s*. Другой и.-е. суффикс мн. числа *-i* [из указательного местоимения *(*to*)-*i*] выступает в др.-инд. *vayám* «мы» < * *u̯e-i-* (а также в гот. *weis* < **u̯e-i-s*?).

1.3. Иногда форма мн. числа образуется путем удвоения основы, вероятно, в результате эмфазы, как в кельтском: др.-ирл. *snisni* «мы», кимвр. *chwichwi* «вы». В таком же плане резонно рассматривать формы мн. числа 1-го лица греч. ἄμμες, др.-инд. *asmā̃-*< * *n̥s-mes*, как состоящие из двух основ с одним и тем же значением «мы», как трактует эти формы А. Н. Савченко[11]. Можно, однако, пойти в этом направлении несколько дальше. Поскольку сочетание *ns* легко объясняется из *ms*[12], то первоначальная форма может иметь вид **ms* — *mes*, т. е. перед нами редупликация одной и той же основы **mes* в нулевой и нормальной ступени.

2. Личное местоимение и грамматический род. Одним из существеннейших признаков, отличающих личное местоимение от неличного, является, по указанию грамматик, отсутствие грамматического рода в личном местоимении. Однако универсальность этого признака нарушается семито-хамитскими и нигеро-чадскими языками, в которых строго и стойко выдерживается различение форм муж. и жен. рода для 2-го и 3-го лица личных местоимений. Ср. формы ед. числа в языке бедауэ: 1-е лицо *'an-i-h*, 2-е лицо муж. род *ba-r-ū́k*, жен. род *ba-t-ū́k*, 3-е лицо муж. род *ba-r-ū́s*, жен. род *ba-t-ū́s*. В арабском в говорах Хатрамаута и Йемена различается грамматический род также и в местоимении 1-го лица: муж. род. *'ánā̃* «я», жен. род *'áни* «я»[13]. В иных языках местоимение 3-го лица не имеет грамматического рода: так, в тайском языке *пом* «я» (муж. род), *ди̂чан* «я» (жен. род), но *кау* «он» и «она» [14].

Тохарский А также нарушает традиционное представление: в тохар. А *ñäš* «я» (муж. род), *ñuk* «я» (жен. род.). Поскольку *ñuk* известным образом тождественно и.-е. модели *(*e*)*meĝ*(*h*), особенно хет. *uk*, то речь идет в первую очередь об интерпретации формы *ñäš*. В. Петерсен предложил гипотезу происхождения тохар. *ñäš* из и.-е. формы мн. числа косв. пад. * *nŏs* (> лат. *nōs*, др.-инд. *nas*), объяснив это таким образом: тохарец выражал в эмфазе свое достоинство, употребляя мн. число, а старое ед. число было оставлено женщинам[15]. Едва ли стоит принимать эту гипотезу всерьез. Гораздо правдоподобнее предположение В. Винтера, что форма муж. рода *ñäš* восходит к притяжательному местоимению муж. рода **эmos* + *s* > **näs* > *ñäš*, а форма *ñuk* — к обычной и.-е. модели **emege*[16]. Учитывая, однако, вероятность существования в доиндоевропейском исконной формы местоимения 1-го лица ед. числа им. пад. **me/mo* (см. стр. 79), можно сделать и другое предположение. Если считается приемлемым возводить тохар. *ñ* к и.-е.**m* в известных условиях [17], то почему бы не видеть в тохар. *ñäš* единственный рефлекс в им. падеже доиндоевропейской формы **me/mo*? Конечное *(*mo*)-*s* изоморфно, может быть, таковому в армянской модели: **eĝh* > **ez* > **ez* + *s* > *es*, где *-s* — дейктическая

---

[11] А. Н. Савченко, указ. соч., стр. 8.

[12] W. Brandenstein, Die idg. Lautgruppen *ms* und *ns*, сб. «Studien zur indogermanischen Grundsprache», Wien, 1952.

[13] Г. С. Шарбатов, Современный арабский язык, М., 1961, стр. 50.

[14] Л. Н. Морев, Ю. Я. Плам, М. Ф. Фомичева, Тайский язык, М., 1961, стр. 90.

[15] W. Petersen, Tocharian pronominal declension, «Language», XI, 3, 1935, стр. 204.

[16] См. сб. «Evidence for laryngeals», The University of Texas, 1960, стр. 181.

[17] Ср.: H. Pedersen, Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung, København, 1941, § 59.

частица первой степени близости[18], или тождественно и.-е. признаку им. падежа муж. рода существительных *-s*. Следовательно, не исключена возможность, что в тохарском А в формах местоимений *ñäš* и *ñuk* засвидетельствована как раз стадия замены прежней формы 1-го лица ед. числа им. падежа **me/mo* (общей с **ne/no* в дравидских, тибето-бирманских, микронезийских, австралийских языках, с **me/mo* в уральских, алтайских, некоторых кавказских языках[19]) формой **ĕg(h)-*, ставшей впоследствии в и.-е. языках повсеместной (но кельт. *me*?).

3. **Оппозиция лиц.** 3.1. Традиционное противопоставление личных местоимений 1-го и 2-го лица анафорическому местоимению 3-го лица с генетической точки зрения требует пересмотра. Различия между местоимениями 1-го и 2-го лица не меньшие, если не большие, чем, скажем, между 2-м и 3-м лицом, как относительно фонемно-структурного состава, так и относительно семантики[20].

Есть основания думать, что основа личного местоимения 1-го лица входит в ряд основ дейксиса первой степени близости со значениями «я», «вот», «здесь», «сейчас», «внутри» и т. п., противопоставляясь всем другим дейктическим значениям. Так, В. Чермак на материале африканских языков устанавливает в них наличие двух рядов противопоставлений: с одной стороны, «здесь, сейчас, видимый, внутренний, я» и т. д., с другой стороны, «там, тогда, невидимый, внешний, не я» и т. д. В языке эве, например, *mé* выражает одновременно «нулевую дистанцию», «внутреннее» и «я». В языке хауса *nana* «здесь» и *na*, *ni* «я» — одного происхождения. В языке банту *ni* «я», как предполагает В. Чермак, связано с суффиксом локатива *-ni*[21]. В языке азиатских эскимосов формы личного местоимения 1-го лица *хўа-н'а*, *ўи-н'а*, *ўа-н'а*, *мы-н'а* «я» первой своей частью тождественны со словами *ўа* ~ *ўо* «вот, здесь» и *ма* «вот, здесь»[22]; вторая морфема является суффиксом 1-го лица глагола, которая, возможно, соотносится с *-на* в словах *ма-на*, *у-на*, *та-на*, «этот, здесь», *иг-на* «тот» и т. п. (ср. также слово *на* «место»).

Г. Енсен, продолжая соответствующие идеи П. Перссона[23], сопоставляет такие и.-е. указательные местоимения, как др.-инд. *ama-s*, иран. *ana*, арм. *na*, греч. ʼε-νος, ст.-слав. *онь*, литов. *a-na-s* «этот, тот» и другие и.-е. образования на *n-/m-* с и.-е. личными местоимениями 1-го лица на *n-* и *m-*. Он приходит к заключению, что и.-е. основы **ne/no* и **me/mo* были первоначально дейктическими частицами, которые указывали на нечто находящееся вблизи от говорящего; постепенно из них образовались, с одной стороны, указательные местоимения и наречия, с другой стороны, личное местоимение наибольшей близости, т. е. местоимение 1-го лица[24].

Таким образом, основой дейксиса первой степени были альтернирующие

---

[18] Э. Г. Туманян, Об указательных местоимениях в армянском языке, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», 3, 1954, стр. 212—226.

[19] См. сопоставление этих форм в работе: M. Bartoli, Ancore delle origine dei linguaggi precolombiani alla luce delle norme spaziali, «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken», Paris, 1937, стр. 123—133.

[20] Ср., однако, противопоставление Э. Бенвенистом местоимений 1-го и 2-го лица местоимению 3-го лица в плане антиномии речи и языка (E. Benveniste, La nature des pronoms, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956).

[21] W. Czermak, Die Vokalvorstellug und ihre Bedeutung für den grammatischen Aufbau der afrikanischen Sprachen, «Festschrift Meinhof», Hamburg, 1927, стр. 209.

[22] Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, I, М.— Л., 1962, § 197.

[23] P. Persson, Über den demonstrativen Pronominalstamm *no- ne-* und Verwandtes, IF, II, 1893.

[24] H. Jensen, Bemerkungen zum ungeschlechtigen Personalpronomen des Indogermanischen, IF, XLVIII, 2, 1930, стр. 125.

доиндоевропейские основы *ne* ~ *me*[25]. Но какая в таком случае основа образовывала противостоящий ряд: «не — я», «там — тогда»? Г. Енсен в качестве этой оппозитивной основы выдвигает основу **te/to*, образующую «там»-группу[26].

3.2. Зафиксировав исконное противопоставление местоимения 1-го лица другим лицам, нам необходимо выяснить взаимоотношения 2-го и 3-го лица. Можно думать, что трехчленному характеру дейксиса (например, в лат. *hic*, *iste*, *ille*) мог предшествовать двучленный дейксис, т. е. дейксис второй степени включал в себя «не я», «там», «ты», «он», так что основа дейксиса второй степени при переходе к трехчленному дейксису могла либо сохраниться в формах местоимений 2-го и 3-го лица, либо была обобщена только для одного лица. Какие доказательства этого предположения мы имеем в языковом материале? Прежде всего недвусмысленное подтверждение первоначальной ситуации дают формы 2-го и 3-го лица личного местоимения в хамитских языках, в которых, помимо наличия грамматического рода, наблюдается тождество структуры названных форм (ср. парадигму в бедауэ на стр. 80). Анализируя личное местоимение в семито-хамитских языках, Л. Райниш указал, что наблюдаемое чередование звуков *t* — *r* в формах муж. и жен. рода является вторичным в результате звуковой эволюции *t*>*r*[27] и что формы 2-го и 3-го лица личного местоимения в хамитских языках являются генетически тождественными[28].

Обратимся теперь к алтайским языкам. В. Котвич обратил внимание, что в монгольском и маньчжурском языках в личном местоимении 3-го лица основе на *-i* в ед. числе (монг. род. падеж *i-nu* и т. д., маньч. *i* «он», ср. также монг. *bi* «я», *či* «ты», маньч. *bi* «я», *si* «ты») противостоит основа на *-a* в монгольском (род. падеж. мн.числа *a-nu*, *ba* «мы», *ta* «вы») и на *-e*, в маньчжурском (*če* «они», *be* «мы») во мн. числе. Но поскольку в маньчжурском форма мн. числа *če* < * *te*, то имеет смысл предположить, что *t* имелось и в других формах 3-го лица. Отсюда В. Котвич реконструирует возможный вариант парадигмы местоимения 3-го лица[29]:

	Монг.	Маньч.
Ед. число	*i-*ti* (>*či*)	*i *ti* (>*či*)
Мн. число	*a-*ta*	*e* *če* (<*te*)

Но «загадочным образом», как выражается В. Котвич, формы *či* < **ti* и *ta* оказываются в монгольском во 2-м лице: *či* «ты», *ta* «вы». Г. Д. Санжеев, возвращаясь к этому вопросу, замечает, что «весьма соблазнительно предположить, что *me* и *mu* представляли какое-то единство: *m* плюс гласный переднего ряда (?) , из которого затем путем использования раннего чередования гласных в монгольских языках (и тунгусо-маньчжурских) получилось, с одной стороны, 3-е лицо *me*, с другой стороны, 2-е лицо ед. числа (*mi*>*чi*>*чi*~*ui*, *ci* „ты“) и мн. числа (*ma*~*mā*, *cy* „вы“)»[30]. Итак, в нашей интерпретации, дейксис второй степени выражался основой **te/to*[31], которая при переходе к трехстепенному дейксису была обобщена для 2-го лица в монгольском и для 3-го в маньчжурском.

[25] Не имеет особого значения тот факт, что основа **ne/no* могла быть обобщена позднее в качестве дейксиса третьей степени.

[26] H. Jensen, указ. соч., стр. 123.

[27] L. Reinisch, Das persönliche Fürwort und die Verbalflexion in den chamito-semitschen Sprachen, Wien, 1909, стр. 49.

[28] Там же, стр. 9, 13.

[29] W. Kotwicz, указ. соч., стр. 17

[30] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, 1, М., 1953, стр. 157.

[31] Звуковое совпадение основ *te/to* в урало-алтайских и индоевропейских языках многозначительно, но вовсе не обязательно для типологии

В этом плане интересно пронаблюдать закрепление основ для 2-го и 3-го лица в урало-алтайских языках. В тюркских языках основа на *-s* обобщена для личного местоимения 2-го лица (турецк. *sen*, кирг. *сен* и т.д.). В уральских языках основа на *-s* является местоимением 3-го лица в ряде языков: фин. *hän* < **sän*, морд. *сон*, коми-перм. *сія*, нганас. *сетэ*, саам. *сонн*. Основа же на *t-* в уральских языках обобщена частично для 2-го лица: фин. *sinä* < * *tinä*, саам. *тонн*, морд. *тон*, коми-перм. *тэ*, нганас. *тона*; частично осталась и во 2-м и в 3-м лице с различными распространениями: марийск. *тый* — *тудо*, селькуп. *тат* — *тэр*, эст. *sinà* < * *tina* — *tema*. Возникает вопрос — не являются ли эти дентальные *t* и *s* в тождественных основах результатом фонетической альтернации *t*∼*s* в глубокой древности? Данные местоимений (ср. монг. *či* «ты», *ta* «вы» — маньч. *si* «ты», *suwe* «вы») заставляют В. Котвича принять альтернацию *t* ∼ *s* и реконструировать основу личного местоимения 2-го лица ед. числа в алтайских языках в виде *si*∼**ti*(*či*)[32].

В свете указанных отношений лиц в местоименной парадигме не вызывает удивления, когда мы встречаем парадигмы такого вида, как в ненецком: 1-е лицо ед. числа *мань*, 2-е лицо *пыдар*, 3-е лицо *пыда* (аналогично в двойств. и мн. числе) или в эскимосском: 1-е лицо ед. числа *хӱа-н'а*, 2-е лицо *лъп-ык*, 3-е лицо *лъ-н'а*, где *лъп-* /*лъ-* одного образования (от *илпык* «другой; друг»? [33]),учитывая даже их, видимо, вторичное происхождение.

3. 3. Возвращаясь теперь к и.-е., мы видим ту же ситуацию, и возможно, даже в более ярком виде. Исконным личным местоимением 3-го лица было местоимение **sue*, обобщенное позднее в функции возвратно-притяжательного местоимения. Структура же форм этого местоимения: **se*, **sue*, **seue* полностью совпадает со структурой местоимения 2-го лица: **te*, **tue*, **teue*. Принимая же во внимание альтернацию *t*∼*s* в местоименных формах алтайских и уральских языков, мы можем гипотетически принять ту же альтернацию и для данных и.-е. зубных *t*∼*s*, объединив их условным значком Z. Итак, основа второй степени дейксиса имела, вероятно, в доиндоевропейском вид **Z*(*u*)*e*. В таком случае становится понятным примечательный контраст в образовании формы дат. падежа ед. числа между, например, лат. 1-м лицом *mi-hī* и 2-м и 3-м лицом *ti-bī*, *si-bī*, который до сих пор представляется загадкой[34].

4. **Личное местоимение и глагольная флексия.** 4.1. Известно, что именные и глагольные суффиксы местоименного происхождения широко распространены во всех языках. В плане происхождения глагольной флексии из личных местоимений обратимся к урало-алтайским языкам, где мы имеем различные степени соединения энклитического личного местоимения и предшествующей глагольной основы: от тувинской модели *мен тур мен* «я стою», где налицо совершенно неприкрытый плеоназм, и татарской *мин йазá мын* «я пишу», где энклитики претерпели уже некоторые фонетические изменения, до финской модели, где глагольные флексии утратили видимую связь с личными местоимениями, но эта связь легко реконструируется: 1-е лицо ед. числа *minä saa-n* < * *-m* «я получаю», 2-е лицо ед. числа *sinä* (< * *tinä*) *saa-t*, 1-е лицо мн. числа *me'* (< *mek*) *saa-mme'* <**-mmek* <**-k-mek*, 2-е лицо мн. числа *te'*(< **tek*) *saa-tte'*< -**k-tek*[35].

---

[32] W. Kotwicz, указ. соч., стр. 6.

[33] Г. А. Меновщиков, указ. соч., §§ 200, 203.

[34] Наиболее известным является объяснение *mi-hī* < **me-bhei* на основе диссимиляции двух губных, автором которого считается В. Шульце, но в действительности такое объяснение было сделано еще А. Шлейхером (A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1866, § 265).

[35] Л. Хакулинен, Развитие и структура финского языка, 1, М., 1953, §§ 39, 62.

В связи с такой типологической общностью происхождения личной глагольной флексии было бы неестественно искать какое-либо другое объяснение в и.-е., если это допускают языковые факты[36]. Обозревая и.-е. первичные окончания глагола, мы устанавливаем генетическое тождество флексий 1-го лица ед. числа *-*mi*, мн. числа *-*mĕs/mŏs*, двойств. числа *-*wĕs/wŏs* с реконструируемыми и.-е. личными местоимениями (ср. примеч. 5). Мы устанавливаем также, что личное окончание 3-го лица мн. числа *-*nti* ничего не имеет общего с известными нам местоимениями. Под вопросом остаются в принципе флексии *-*si* (2-е лицо ед. числа), *-*ti* (3-е лицо ед. числа), *-*te* (2-е лицо мн. числа). Если же принимается тезис о первоначальном единстве 2-го и 3-го лица в виде дейксиса второй степени, который выражался альтернирующими основами * *t(u̯)e*∼* *s(u̯)e*, то диссимилятивный (?) характер распределения основ кажется очевидным из следующей схемы:

Ед. число			Мн. число	
личн. местоим.		личн. оконч.	личн. местоим.	личн. оконч.
2-е лицо	*tu̯e*	*-si* (< *s*$^{u̯}$*e*?)	*su̯es*	*-te* (*s*)
3-е лицо	*su̯e*	*-ti* (< *t*$^{u̯}$*e*?)		

Распределение тематического гласного в глаголе также отвечает предложенной связи 2-го и 3-го лица (исключая 3-е лицо мн. числа).:

		Ед. число	Мн. число
1-е лицо	*me*	*bher-o-(mi)*	*mes bher-o-mes*
2-е лицо	*tu̯* (*e*)	*bher-e-si*	*su̯es bher-e-tes*
3-е лицо	*su̯* (*e*)	*bher-e-ti*	

4.2. Следующий факт в личных окончаниях глагола обращает на себя внимание. Мы подчеркнули выше, что местоименное происхождение глагольных флексий 1-го лица не вызывает сомнений. Но любопытно, что флексия мн. числа начинается регулярно во всех и.-е. языках (кроме хеттского) носовым *m*-, тогда как мы имеем в личном местоимении 1-го лица мн. числа также формы и на ртовый *u̯* (тохар. В *wes*, хет. *wes*, др-инд. *vayám*, гот. *weis* и др.). Можно ли говорить о совместимости данных форм, т.е. об альтернации в и.-е. в известных случаях *u̯*∼*m*? В хеттском такая фонетическая альтернация действительно наблюдается там, где окончание 1-го лица мн. числа выступает в виде *-meni* после *-u*- и в виде *-weni* во всех остальных случаях. Г. Кронассер считает, что первичным было в окончании *-m*-, окончание же на *-w*-, по Г. Кронассеру, более позднее образование по аналогии с двойств. числом *-*u̯e*-[37]. Э. Стертевант, напротив, придерживается мнения,что исконным было окончание на *-w*-, так как *-weni* в хеттском не было позиционно ограниченным, кроме позиции за *-u*-. В качестве дополнительного аргумента Э. Стертевант указывает на глагольную флексию 1-го лица ед. числа *-wi* в лувийском и приходит к выводу, что распределение в окончаниях глагола начального *-u̯*- для 1-го лица двойств. числа и начального *-m*- для 1-го лица мн. числа было в и.-е. языках, по-видимо-

[36] См. историю вопроса и интерпретацию флексий в работе А. Н. Савченко «Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке» (Ростов, 1960). Окончание 2-го лица ед. числа *-si* А. Н. Савченко связывает с основной указательного местоимения **so* (стр. 16). Окончание же 3-го лица ед. числа *-ti* давно принято возводить к основе указательного местоимения **to*.

[37] H. Kronasser, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956, § 182.

му, вторичным[38]. Трудно говорить о первичности *u̯* и *m*, ибо подобных примеров с корреляцией губных *u̯* и *m* достаточно много в и.-е. языках (ср. ст.-слав. *чрьвь* — литов. *kirmìs*, греч. лесб. δό-μ-εναι — кипр. δὸ-r-εναι, др.-инд. *dāvane* «давать», литов. *šir-m-as* — *šir-v-as* «серый», русск. *се-м-ья*, гот. *hai-m-s* «дом» — латыш. *siē-v-a* «супруга», др.-в.-нем. *hî-w-o* «супруг», др.-инд. *dra-m-ati* — *dra-v-ati* «бежит», др.-инд. *dru-m-as* «дерево», греч. гомер. δρυ-μ-ά «лес» — русск. *дро-в-а* и т. д.[39]), а замеченных закономерностей «перебоев» достаточно мало и даже, можно сказать, совсем нет[40]. Для нас важно в итоге заметить следующее: коль скоро в других и.-е. формах, несомненно тождественных, зафиксирована каузально пока необъяснимая альтернация *u̯* ~ *m*, то мы вправе в качестве эксперимента принять ту же альтернацию и для форм личных местоимений **u̯e(i)s* и **mes*, тем более что указанная альтернация наблюдается также между личными местоимениями и глагольной флексией. Это значит, что снимается супплетивизм личных местоимений **mes* и **u̯e(i)s*, которые можно объединить гипотетически в виде ** Ƒes*. Соответственно форма ед. числа 1-го лица получает вид **Ƒe*. Поскольку, однако, в и.-е. известна также альтернация губных *m* и *bh*, которая в наиболее ярком виде выступает в именном окончании дат., инстр. падежа мн. числа[41], то в целом целесообразнее принять альтернирующий ряд *u̯*~*m*~*bh* = *Ƒ*. С другой стороны, губной *u̯* имеется в и.-е. формах личного местоимения 2-го и 3-го лица: **tu̯e* и **su̯e*. Чтобы быть последовательными в эксперименте, примем и этот звук как результат возможной реализации альтернации *u̯* ~ *m* ~ ~ *bh* = *Ƒ*. Учитывая также принятую нами альтернацию зубных *t* ~ *s* = = *Z* (стр. 83), мы можем представить схему основ дейксисов первой и второй степени в следующем виде (для доиндоевропейского состояния):

Д. 1 *Ƒe*; Д. 2 *Z-Ƒe*

Эта схема могла потенциально реализоваться в протоиндоевропейском:

Д. 1 *me* (~*ne*) *u̯e* *bhe*; Д. 2 *tme* (~ *tne*) *tu̯e* *tphe*
sme (~ *sne*) *su̯e* *sphe*

Как в конкретном языковом материале подтверждается наша схема?

4.3. а) и.-е. формы местоимений 2-го и 3-го лица: **te-u̯e*, **se-u̯e* (род. падеж) и **te-bhe*, **se-bhe* (дат. падеж) являются реализацией основы *Z-Ƒe*, а не основами с присоединенными частицами -**u̯e* и -**bhe*;

б) формы род. падежа ед. числа в тохар. А *ñi*, *tñi*, *šñi* не обязательно результат аналогии, но могут быть одинаковой реализацией первоначальных основ **Ƒe* — **ZƑe*[42];

в) формы 2-го лица мн. числа кельт. **swēs*, герм. **i-swes* (гот. *iz-wis*), др.-инд. *yušmā́*- легко увязываются между собой на основе альтернации *u̯* ~ *m*;

г) появляется возможность дать аналогичное истолкование происхождению греч. формы 2-го лица двойств. числа φώ <**sphō* <**ZƑe*;

д) греч. форма 2-го лица мн. числа ὑμεῖς, хет. *su(m)mes* могут быть объяснены аналогично форме 1-го лица греч. гомер. ἄμμες (см.

[38] E. H. Sturtevant, E. A. Hahn, A comparative grammar of the Hittite language, 1, [New York], 1951, стр. 44—45.

[39] См. примеры: J. Otrębski, Studja indoeuropeistyczne, Wilno, 1939, § 96; F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947, стр. 179 и т. д.

[40] Поскольку в личных окончаниях глагола мы имеем почти исключительно -*m*, а личные окончания 1-го лица — это личные местоимения в энклизе, то не связано ли чередование *u̯* ~ *m* с акцентными отношениями? На возможность такой постановки вопроса указал А. Мейе (MSLP, 15, 1908, стр. 91).

[41] См. другие примеры: F. Specht, указ. соч., стр. 261 и т. д.

[42] Ср. интерпретацию этих форм: «Language», XI, 3, 1935, стр. 205; H. Pedersen, указ. соч., § 58; «Journal asiatique», XVII, 1, 1911, стр. 464.

стр. 80) из удвоения основы *ZFe* в нулевой и нормальной ступенях; **sF=sFe (s)> *sy̯-sme (s)>* ὔμεις (лесб. ὔμμε с устранением придыхания по аналогии с формой 1-го лица ἄμμε), хет. *su /m/ es*;

е) так как 2-е и 3-е лица личных местоимений произошли из одной основы дейксиса второй степени **ZFe*, то становится понятным совпадение в хет. энкл.-*šmaš* значений «вы» и «они»[43];

ж) к той же основе относится энклитическая частица-*sme*, появляющаяся в формах указательного местоимения: др.-инд. *ta-sma-*, умбр. *esmei*, гот. *Þamma* < * *to-smē* и т. п.[44];

з) греч. форма 3-го лица мн. числа σφεῖς «они» может быть теперь отождествлена с хет. -*šmaš* «они» < * *ZFe*;

и) др.-инд. пракр. форма *tumą* «ты» идентична, следовательно, обычной др.-инд. форме *t(u)vam* «ты».

Выше была отмечена трудность снятия суплетивизма между основами местоимений 2-го лица ед. числа и 2-го лица мн. числа. В качестве основ личных местоимений 2-го лица мн. числа выступают: **sy̯ĕs* (др.-ирл. *si*), **y̯e/y̯o* (ст.-слав. *вы*, лат. *vōs*) и * *i̯y̯-* (тохар. А *yas*, др.-инд. *yuyám*, литов. *jūs*, гот. *jūs*). Тождество основ ед.числа *tu̯e* и мн. числа *sy̯ĕ(s)* теперь понятно. Основа **i̯u-* может быть истолкована следующим образом: наряду с альтернирующими зубными *t~s*, создававшими контраст в оппозиции основ дейксисов первой и второй степени, такую же функцию в и.-е. выполнял гласный *i-* (или *ie-*?), ср. лат. *i-s*, *i-ste* «этот», *i-ta* «так», *i-sto* «там, тогда» и т. п., др.-инд. *i-dam* «это» (ср. род), *i-mám* «этого» (муж. род), *i-tara* «другой», *y-as* «который», ст.-слав. *и-же*, гот. *jains* «тот», *jainar* «там, тогда» и т. д. и т. п. Этот же гласный выступает в формах личного местоимения 2-го лица мн. числа на месте *s-*: * *i-Fe* > * *i-y̯e* > * *i̯u-* (по закону Зиверса—Эджертона). В некоторых случаях формант *i-* был перенесен по аналогии в парадигме также и на форму **sFe(s)*: **i-sFes* > гот. *izwis*, др.-инд. *yuśmā́-*, что фактически является плеоназмом. Формы с основой **y̯e*[45] являются, видимо, результатом переразложения личного местоимения **sy̯e(s)* в энклизе с личным окончанием глагола 2-го лица мн. числа **-te*. Подобное явление достаточно хорошо известно: ср. др.-сканд. формы *mér* «мы» и *Þér* «вы» из конструкций *hafum vér* «имеем мы», *hafuÞ ér* «имеете вы». В компаративистике принято объяснение Р. Турнейзена[46] начального *s-* в др.-ирл. *sni* «мы» из переразложения между глагольной флексией и энклитическим местоимением: **mos* + **ni* (< и.-е. **nĕs*?)> *sni*. То же самое переразложение, но в пользу окончания можно предположить для ст.-слав. *вы* и лат. *vōs*. Ср. соответствующие единицы в латинском и древнеирландском:

Лат. *-ti-s/-vŏs*; Др.-ирл. *-the-/s-wēs*.

Таким образом можно истолковать многообразие и.-е. форм местоимений, часто противоречивых, снять суплетивизм и ввести и.-е. материал в сравнительно-исторические рамки сопоставления с местоимениями неиндоевропейских языков (например, монг. *bi*, *min*, др.-егип. энкл. ед. число *wj*, *tw*, *sw*, мн. число **n*, *tn*, *sn* и др.).

Идеи данной работы не выходят за рамки гипотезы, однако они должны показать необходимость типологических исследований, предшествующих ретроспективным.

[43] Ср. объяснение этого факта: F. Sommer, Hethiter und Hethitisch, Stuttgart, 1947, стр. 58.

[44] Ср.: I. Dal, Ein archaischer Zug der germanischer Flexion, NTS, 9, 1938, стр. 186—218; G. S. Lane, On the formation of the Indo-European demonstrative, «Language», XXXVII, 1961, стр. 469—475.

[45] Ср. объяснение формы: А. Н. Савченко, Некоторые вопросы..., стр. 19.

[46] R. Thurneysen, A grammar of Old Irish, Dublin, 1946, § 448.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

К. В. ГОРШКОВА

РАЗВИТИЕ ДИАЛЕКТНЫХ РАЗЛИЧИЙ СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРОВ В СИСТЕМЕ ВОКАЛИЗМА

1. Первым этапом возникновения изоглосс в области вокализма в диалектах Ростово-Суздальской, Новгородской и Псковской земли следует считать начальный период формирования языка великорусской народности (XIV—XV вв.). Исходной системой без таких изоглосс для этой территории была система после появления согласных вторичного смягчения и до падения редуцированных, т. е. период X — начала XII в. Особое значение в этой системе имели бинарные оппозиции по высоте тона (диезная тональность — простая тональность; бемольная тональность — простая тональность) и многочленная оппозиция по степени подъема; именно эти оппозиции оказались наиболее существенными при изменении исходной фонетической системы и при формировании системы последующего периода.

В этой системе признаки «переднее — непереднее образование гласных» и «мягкость — твердость парных согласных» были взаимно связаны в пределах слога (диезная тональность — простая тональность); по данному признаку противопоставлялись следующие силлабемы[1]: *t'i* — *ty*, *t'ȕ* — *tu*, *t'ъ* — *tъ*, *t'e* — *to*, *t'ȁ* — *ta*. Силлабема *t'ê* противопоставлений не имела. Изолированно от предшествующего согласного в этой системе могли функционировать гласные *u*, *o*, *i* в начале слова (ср. древнерусские слова типа *utro*, *os'en'ъ*, *igla*). Но и в этой позиции не было противопоставления гласных по ряду; поэтому заднее образование гласных *u*, *o* и переднее образование *i* не являлись дифференциальными признаками (ДП) гласных в начале слова.

Признак «лабиализованность — нелабиализованность» (бемольная тональность — простая тональность) характеризовал слоги: $t^{u}y$ — *ti*, $t^{u}ъ$ — *tъ*, $t^{u}o$ — *te*. Слоги с гласными *a* и *ȁ* не входили в данную оппозицию. В позиции *t'ȕ* — *t'i* и $t^{u}u$ — $t^{u}y$ признаком «лабиализованность — нелабиализованность» характеризовалась оппозиция гласных фонем верхнего подъема. Дальнейшее развитие исходной фонетической системы показывает, что для силлабем *t'i* — *ty*, *t'ъ* — *tъ*, *t'e* — *to* признак «диезная тональность — простая тональность» был дифференциальным, а признак «бемольная тональность — простая тональность» избыточным. Противопоставление по подъему также осуществлялось в пределах слога. После мягких и после твердых согласных различалось четыре степени подъема: верхний, верхне-средний, средний и нижний (см. табл. 1 [2]).

В пределах этой многочленной оппозиции выделяется бинарная оппозиция по напряженности — ненапряженности, в которой находились гласные *ê* — *e*. О существовании оппозиции по этому признаку свидетель-

[1] Термин предложен Р. И. Аванесовым в статье «Из истории русского вокализма. Звуки *i* и *y*» («Вестник МГУ», 1947, 1).

[2] В таблицах приняты следующие обозначения: С — согласный, Г — гласный, л — лабиализованный, нл — нелабиализованный.

ствует последующая нейтрализация этих гласных по данному признаку перед мягкими согласными после падения редуцированных. Функциональная нагрузка оппозиции *ê* — *е* была незначительной: корней, которые различались бы противопоставлением *t'ê* — *t'е* (типа *s'êlъ* — *s'elъ*), было немного; в аффиксах роль этой оппозиции была более заметной: по ней различались формы индикатива и императива глагола, падежные формы имен существительных и прилагательных (*n'es'êmъ* — *n'es'emъ*, *s'in'êjê* — *s'in'eje*; *z'em'l'ê* — *z'em'l'e* и под.).

Таблица 1

Позиция / Подъем	СГ	СГ
Верхний	*i*, *ṅ*	*y*, *u*
В.-средний	*ê*, *ъ*	*ъ*
Средний	*e*	*o*
Нижний	*ȧ*	*a*

Диалектное варьирование в области вокализма в охарактеризованной системе было связано лишь с изоглоссой нового акута и появлением звука *ô*, но различие между *ô* и *o*, очевидно, не вышло еще из сферы интонационных отношений.

2. Наиболее раннее развитие диалектных различий в области вокализма определилось разновременностью процесса падения редуцированных по диалектам русского языка. На территории северо-восточной, в пределах Ростово-Суздальской земли и на путях ростово-суздальской колонизации, падение редуцированных закончилось раньше, чем на северо-западе, на земле Новгородской. Позднее всего падение редуцированных происходило на севере, в местах новгородской колонизации, по течению Северной Двины. Свидетельства этой разновременности дают некоторые графико-орфографические особенности ростово-суздальских, новгородских и двинских грамот XIII—XIV — начала XV в. при передаче звуков буквами *ъ*, *ь*, *о*, *е*.

Разновременность утраты редуцированных создавала диалектные различия для эпохи XII—XIII вв. в синхронном плане: в системе диалектов северо-востока редуцированные уже утратились и стали развиваться явления, вызванные падением редуцированных, в то время как на северо-западе и севере редуцированные, очевидно, сохранялись до середины, а, возможно, в отдельных говорах и до конца XIII в. Разновременная утрата фонем *ъ* и *ь* не дала изоглосс на территории русского языка; ее можно определить лишь как временну́ю изоглоссу (хроноизоглоссу).

Не возникает территориальных изоглосс после падения редуцированных и в связи с историей гласных верхнего подъема в диалектах русского севера. Функциональное объединение звуков *i* и *y* при сохранении их звукового различия уже описано [3]. Данное изменение свидетельствовало об окончательной утрате русскими гласными ДП «переднее — непереднее образование» и, следовательно, об объединении звуков *i* — *y*, *ṅ* — *u*, *e* — *o*, *ȧ* — *a* на правах разновидностей соответствующих фонем: *i*, *u*, *o*, *a*.

Специфические изменения гласных неверхнего подъема — развитие аканья — выделяют к XV в. группу говоров псковского диалекта, исторически сблизившихся с западным, смоленско-полоцким диалектом. Однако вопросы возникновения аканья представляют специальный интерес и в данной статье не рассматриваются. В окающих псковских говорах, в новгородском и ростово-суздальском диалекте в период XIII—XV вв. изменение гласных нижнего подъема *a*, *ȧ*, связанное с их функциональным объединением, территориальных изоглосс не создает.

3. Территориальные изоглоссы в области вокализма в севернорусских диалектах складываются в связи с историей гласных верхне-среднего и

[3] Р. И. Аванесов, указ. соч.

среднего подъема. После падения редуцированных окончательно утрачиваются фонетически не обусловленные различия гласных по длительности, зависимость качества гласного от качестве интонации; утрачивается автономность слога, появляется межслоговое взаимодействие звуков и позиционная мена гласных под влиянием последующих согласных в зависимости от их твердости — мягкости: мена по ряду, а во многих говорах и по напряженности. В результате ряд и напряженность гласного, характеризуя позиционную мену, исключаются из числа возможных ДП гласных фонем, функционирующих в тех же позициях.

Различие по подъему становится одним из двух возможных ДП, причем универсальным, поскольку противопоставление по лабиализованности — нелабиализованности характеризует лишь гласные фонемы верхнего подъема *u* — *i*. Этот ДП получает возможность дальнейшего развития в системе вокализма, так как не используется в консонантизме: во всех северных говорах начинает развертывать свои возможности категория твердых — мягких согласных фонем [4]. Положение перед гласными верхне-среднего и среднего подъема оказывается слабой позицией для этой категории и, следовательно, это звено системы гласных (*t'ê*, *tô*, *t'e*, *to*) не способствует развитию категории твердости — мягкости. Морфологические изменения — утрата аффикса *ê* в императиве, утрата ряда форм с древней флексией *ê* (род. пад. *ž'en'-ê*, вин. пад. *kon'-ê*) — сократили употребление *ê* на правах отдельной морфемы, что уменьшило возможности ее функционирования.

Таким образом, во всех севернорусских говорах «назревает» необходимость в преобразовании данного звена системы вокализма. Направление, темпы, характер изменения гласных верхне-среднего и среднего подъема оказываются различными по говорам, в результате чего создаются изоглоссы.

4. После утраты зависимости *ô* от нового акута в русских диалектах появляется противопоставление фонем *ô* — *o*. Фонема *ô* была представлена в отдельных диалектах и имела довольно широкое распространение.

Установлено, что в говорах, различающих лабиализованные фонемы верхне-среднего и среднего подъема *ô* и *o*, перед начальным напряженным *ô* развивался протетический звук *в* [5]. Такие примеры представлены в северо-восточных актах. В настоящее время на исконной территории ростово-суздальского диалекта и на путях ростово-суздальской колонизации редко отмечается фонема *ô* или ее разновидность *u͡o*. В атласе центральных говоров к востоку от Москвы такие говоры отмечены в Курловском районе Владимирской области. Опираясь на эти данные, полагаем, что в ростово-суздальских говорах XIV—XV вв. была особая фонема *ô* под ударением.

Фонема *ô* оказалась более устойчивой в тех говорах, где в силу морфологической аналогии она распространилась и после мягких согласных. В этом случае положение перед *ô* оказывалось сильным для парных твердых — мягких согласных фонем, что в свою очередь благоприятствовало сохранению *ô*.

О существовании *ô* в древненовгородском диалекте свидетельствуют рукописи, изученные Н. Н. Дурново и В. В. Колесовым. В. В. Колесов приходит к выводу, что в древненовгородском говоре конца XV — начала XVI в. наблюдается процесс утраты особой фонемы *ô* и устанавливается

[4] Ср.: Л. Э. Калнынь, Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», XIII, 1956.

[5] См.: Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI — XVII веков, Л., 1929.

позиционная связь между *ô* и *о*: *ô* закрепляется в закрытых слогах, *о* — в открытых [6]. Фонема *ô* характеризовала, очевидно, и часть псковских говоров, близких к новгородским.

5. Изменение отношения между гласными *е* — *о* как разновидностями одной и той же фонемы *о* было связано с фонетическим процессом лабиализации *е* перед твердыми согласными и с появлением слога типа *t'o* в результате морфологических изменений.

Данные северо-восточной актовой письменности [7] позволяют судить о процессе лабиализации *е* после падения редуцированных. Орфограммы с меной букв *о* и *е* находим для обозначения корневых, аффиксальных и флективных морфем. Эта мена наблюдается под ударением и без ударения, перед твердыми и перед мягкими согласными. Вот примеры замены буквы *е* буквой *о* в орфограммах корневых морфем: *жону* — 30 [8], *жонѣ* —117; *Шостакову* — 285, *шостою* — 481, *щока* — 156, *щокинскои* — 238, *Щокинъ* — 495, *Щолковскаꙗ* — 189, *на Щолковѣ* — 289 (2 раза), *на Шокснѣ*, *Шокснѣ* и другие формы слова — 238, 233, 168, 308, 280, 178, 207, 273, 290, 309, 249, 252, *Шокꙋров* — 289, *Жолтиков* — 281, *ни в чом* — 189, 232, *шодши* — 285, *исшод* и другие формы с корнем *шод* — 265, 287, 283, 490, 334, 336, 495, 338, 335, *жог* — 495 (3 раза), 445, *Бужонины* — 281, *Палжомьское* — 324. Такая же замена наблюдается в орфограммах аффиксов: *мошокъ* — 104, 109, 327, *лошачок* — 184, *по вражок* — 290, многочисленные примеры с написанием *-ов* наряду с *-ев* в словах типа: *Мѣдищово* — 481, *Лычовъ* — 165, *Колычов* — 235, *ѡлешовскаꙗ* — 290 и под., *сосонки* — 470.

Примеры замены *е* на *о* в именных флексиях: *селищо* — 464, 431, 252, 330, *болотцо* — 467, 287, 238, *нашо лонское* — 285, *сѣно нашо* — 285, *селцо* — 170, 329, 339, *то дорищо* — 285, *кнѧжо слово* — 334, *ременицо* — 285, 286, *з гнѣвашом* — 338, *грошом* — 289, *с отцомъ* — 289, *за мостищомъ* — 204, *и товарищов* — 463, 336, 337, *жильцов* — 290, *добромерцов* — 467-а, *истцовъ* — 401, *черньцов* — 481, *осначов* — 102, *старцов* — 108, 177, 232, 284, 309, *вотчичов* — 192, *лещов* — 172, 235, *белозерцом* — 322, *старцом* — 287, 470, 277 (2 раза), 284, 286, *старожильцом* — 306, 207, *селищом* — 481, *селищох* — 481 (4 раза), *шелекшою* — 337, 335, *межою* — 470, *за Каршою* — 471, *Натал(ь)ицо(ю)* — 474, *пустошой* — 99.

В флексиях местоименных форм прилагательных: *бывшои* — 308, *подъячои* — 233, *нищои* — 117, *ходѧчои* — 178, *погожои* — 284; *вашои деревни* — 289, 306, *нашои волости* — 288, *в нашои деревне* — 255, *в нашои вотчинѣ* — 271, *по матери нашои* — 283, *на нашои разсѣчи* — 285, *вашого сꙋда* — 289. В глагольных флексиях: *ищомъ* — 481, *кажомъ* — 285, 288.

Указанная замена наблюдается в написании конечных гласных различного рода энклитик и наречных слов: *почему жо*, *тѣжо* — 463, *вверх жо* — 471, *ажо в грамотах* — 90, *так жо хто* — 99, *ещо* — 287, *занжо* — 253, *ужо* — 289 и мн. др.

Отсутствие примеров с буквой *о* после парных мягких согласных объясняется характером русской орфографии.

Приведенные факты письменности показывают, что к XV в. в северо-восточных говорах ростово-суздальского типа процесс лабиализации *е*

---

[6] В. В. Колесов, Эволюция фонемы [ô] в русских северо-западных говорах, ФН, 1962, 3; его же, [ô] (*о* закрытое) в древненовгородском говоре, сб. «Исследования по грамматике русского языка», III, Л., 1962.

[7] Материал приводится по изданию: «Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси», II, М., 1958. Изучены грамоты, при опубликовании которых переданы орфографические особенности рукописи.

[8] Здесь и далее цифры обозначают номер грамоты.

получил широкое распространение: лабиализирующее воздействие последующего согласного и результаты грамматической аналогии привели к появлению слога новой фонологической структуры *t'o* в различных морфемах под ударением и без ударения перед твердыми согласными. Сочетание фонем *t'ot'* или конечное сочетание *t'o*, появляясь как следствие морфологических процессов, охватывали не все морфемы; при отсутствии аналогии сохранялись сочетания типа *t'et'*, *t'e* (ср. им. пад. *pol'o*, зват. пад. *pol'e*; твор. пад. *z'em'l'oju*, род. пад. *pol'ej*).

Доказательством реальности предложенной интерпретации фактов письменности являются данные современных говоров — наследников ростово-суздальского диалекта. Эти говоры имеют пятифонемный состав гласных: *u — e — o — a — y*, два типа предударного вокализма после мягких согласных перед твердыми: 1) *u — e — o — a — y* и 2) *u — o — o — a — y* [9]. В этих говорах известны формы типа *землёю*, т. е. с сочетанием *t'ot'* аналогического происхождения [10].

Из двух возможностей, которые возникали для силлабем *t'e — to* после падения редуцированных: развитие противопоставления гласных *e — o* и как следствие — отвердение согласных перед *e* с перемещением ряда гласного или развитие противопоставления согласных *t' — t* и связанный с этим переход *e* в *o* — северо-восточные говоры избирают вторую возможность.

Для XV в. отношение *e — o* в северо-восточных говорах можно представить, как в табл. 2.

Таблица 2

СГ; СГС		СГС'; С'ГС		С'Г		С'ГС'	
л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
o		*ó*		*ó*	*e*	*ō*	*ê*

Фонологизация отношений между *e — o* возникает между мягкими согласными и на конце слова: в качестве дифференциального признака выступает «нелабиализованность — лабиализованность».

Противопоставление *e — o* практически осуществлялось редко. Оно наблюдается, например, в формах типа: *pol'ej — z'em'l'oju*; *kon'ej — gorod'n'oju*; *gospodar'ej — bur'oju*; зват. пад. *pol'e* — им.-вин. пад. *pol'o*. Перед твердыми согласными фонемы *e* и *o* не могли противопоставляться: из-за лабиализирующего воздействия последующего твердого согласного звук *e* в этом положении изменялся в *o*. Можно считать, что фонологизация отношений *e — o* между мягкими согласными и на конце слова привела к прекращению фонетического изменения *e* в *o*, но все же еще нельзя говорить о противопоставлении *e — o* перед твердыми согласными, так как еще не было слов, включающих фонетическое сочетание типа *t'et*. Этот слой лексики возник в более позднее время в результате усвоения заимствованных слов типа *аптека*, *лента*, *монета*, а также отвердения согласных в словах: *верх*, *женский*, *деревенский*, *полотенце*, *отец* (сюда же книжные слова: *крест*, *небо*, *перст* [11] и под.) и главным образом в результате изменения *ê* в *e*.

В древненовгородском диалекте гласные *e* и *o* имели иную историю. По наблюдениям А. А. Шахматова, лишь некоторые новгородские грамоты второй половины XIV в. знают написание буквы *o* на месте этимологического звука *e*: № 13 — *чорныхъ*, №№ 8 и 17 — *Торжокъ*, № 17 — *рубе-*

---

[9] См.: С. К. Пожарицкая, Типы вокализма 1-го предударного слога после мягких согласных в северновеликорусских говорах. Канд. диссерт., М., 1962.

[10] См.: А. Н. Добромыслова, К вопросу о корреспонденции *o — e* в творительном падеже женского склонения, «Вестник МГУ», Серия VII. Филология, журналистика, 1963, 1.

[11] В русских говорах и в этом слое лексики может звучать *o* из *e*: *кр'ост*.

жомъ, *новгородцовъ* [12]. «Новгородские берестяные грамоты XIV—XV вв.,— пишет Р. И. Аванесов,— в отдельных случаях отражают процесс изменения [е] в [о] перед твердым согласным» [13]. Данные двинских грамот XV в. также дают некоторый материал о лабиализации *е* в новгородском диалекте.

Изучение характера всех примеров из новгородских и двинских грамот позволяет сказать, что 1) количество примеров написания *о* вместо *е* в новгородских памятниках, если отделить примеры, связанные с возможностью твердой основы у прилагательных (типа *верхний*, *нижний*, *летний*), небольшое; 2) эти примеры извлечены из сравнительно малого числа грамот; многие грамоты новгородского происхождения не знают подобных примеров; 3) в двинских грамотах известно написание *ѣ* вместо *е* перед твердыми согласными, на которое обратил внимание А. А. Шахматов: № 93 — *на берѣгу*, *полъсѣма*; №№ 5, 105, 122, 123 — *с озѣры*, *озѣромъ*; №№ 103, 116, 97, 98 — *сѣло*, *сѣла*; № 93 — *в притѣрѣбахъ* и др. Эти написания он объяснял как отражение результатов морфологического воздействия основ типа *с'ел* на основы типа *с'ол* [14]. Морфологическое объяснение в данном случае может вызвать сомнение однако обращает на себя внимание тот факт, что именно в грамотах новгородского происхождения есть замена перед твердыми согласными буквы *е* буквой *ѣ*, в то время как в ростово-суздальских текстах такая замена наблюдается прежде всего перед мягкими согласными; 4) грамоты, знающие замену *е* через *ѣ* перед твердыми согласными, и грамоты, имеющие в этом же фонетическом положении написание *о* вместо *е*, не совпадают. Не совпадают и грамоты, имеющие написание *о* вместо *е* и написание *и* вместо *ѣ*. Можно выделить новгородские тексты с такими чертами: а) замена буквы *е* буквой *ѣ* перед твердыми согласными, б) мена букв *ѣ* и *и* во всех морфемах, а не только в конечном открытом слоге, составляющем определенные флексии, в) отсутствие написаний буквы *о* вместо буквы *е* в морфемах, где нельзя предположить результат морфологического воздействия.

Описанная орфография свидетельствует о непоследовательности фонетического изменения *е* в *о* в новгородских говорах, о слабости или даже об отсутствии лабиализации *е* в отдельных говорах новгородского диалекта. Этот вывод подкрепляется данными современной диалектологии. Р. И. Аванесов сообщает о слабой лабиализации предударного *о* из *е* в говорах олонецкой и архангельской группы и в говорах, не знающих изменения *е* в *ê* перед мягкими согласными [15]. Материал, собранный для атласов русских народных говоров и уже частично обобщенный в кандидатских диссертациях, свидетельствует о том, что на северо-западе и севере распространены главным образом говоры со следующими типами предударного вокализма перед твердыми согласными: 1) *и — е — е — а — у*, 2) *и — е — е — е — у*, 3) *и — и — о — а — у* [16]. Иными словами, на значительной территории северо-запада и севера отсутствует лабиализация предударного *е* перед твердыми согласными. На этой же территории

---

[12] А. А. Шахматов, Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV веков («Исследования по русскому языку», I), СПб., 1885—1895, стр. 148—149.

[13] Р. И. Аванесов, Фонетика, в кн. «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955, стр. 92—93.

[14] А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., ч. I, II («Исследования по русскому языку», II, 3), СПб., 1903, стр. 88—89.

[15] Р. И. Аванесов, Заметки о говоре с. Семеновского на р. Водле, «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М.— Л., 1949; его же, Об одной фонетико-морфологической особенности северновеликорусских говоров, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 2, 1947.

[16] С. Пожарицкая, указ. соч.

фиксируются формы типа *землею*, т. е. с сочетанием *t'et'*, не подвергшиеся воздействию морфологической аналогии [17].

Отношение *е* — *о* в древненовгородском диалекте к XV в. можно представить, как в табл. 3.

Таблица 3

Под ударением										*Без ударения*									
сг; сгс		сгс';		с'гс		с'г		с'гс'		сг; сгс		сгс';		с'гс		с'г		с'гс'	
л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
о		*ó*		*ô*	*е**	*ô*	*е*		*е*	*о*		*ó*			*е*	*ö*	*е*		*е*

* По говорам лабиализация е и в этом положении отсутствовала. Известны современные говоры новгородского происхождения с отношением *н'ес — н'есу́*.

В памятниках XIV в. псковского происхождения мало достоверных примеров, свидетельствующих о фонетическом изменении *е* в *о* перед твердыми согласными. На этом основании Т. Н. Кандаурова приходит к выводу, что изменение *е* в *о* не было свойственно произношению ни первого, ни второго писца Пролога 1383 года [18]. Но в XV в. в памятниках Пскова и его области число примеров мены букв *е* и *о* в разнообразных орфограммах уже довольно большое. По данным Н. М. Каринского частая замена буквы *е* буквой *о* (около 120 примеров) отмечается в Сборнике Синодальной библиотеки № 154 [19], есть эта мена и в других текстах. Эти факты допускают фонетическое толкование и делают возможным предположение о переходе *е* в *о* перед твердыми согласными под ударением в древнепсковском диалекте XV в. Такому предположению соответствуют сведения о фонетике современных окающих и акающих псковских говоров [20].

6. Исследователи письменных текстов XIV в. северо-восточного происхождения пришли к выводу, что в говорах ростово-суздальского диалекта в середине XIV в. существовала особая гласная фонема, обозначаемая буквой *ѣ*. Эта фонема была противопоставлена фонемам *е* и *и* во всех фонетических положениях [21] или во всех положениях, кроме конечного открытого слога [22]. П. С. Кузнецов отмечал мену букв *ѣ*, *е*, *и* перед мягкими согласными, свидетельствующую о возможном совпадении фонемы, обозначаемой буквой *ѣ*, с другими гласными в указанном положении [23].

Изучение актового материала конца XIV и XV в. (до 1505 г.) позволило получить следующие данные об орфограммах, содержащих буквы *ѣ*, *е*, *и*. Корневые морфемы *бѣл-* (168, 495), *бесѣд-* (97), *вѣк-* (261, 280, 334, 336), *вѣр-* (280, 253, 264), *вѣс-* (180, 207, 238), *грѣх-* (169, 286, 290, 444, 495), *гнѣв-* (474, 302), *дѣд-* (89, 269, 90, 333), *желѣз-* (280), *крѣп-* (333, 307,

[17] А. Добромыслова, указ. соч.

[18] Т. Н. Кандаурова, К истории древнепсковского диалекта XIV в. (О языке псковского Пролога 1383 г.),«Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», VIII, 1957, стр. 196—199.

[19] Н. Каринский, Язык Пскова и его области в XV в., СПб., 1909, стр. 69 и др.

[20] «Псковские говоры. Сб. статей», Псков, 1962.

[21] Л. П. Жуковская, Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», VIII, стр. 60.

[22] О. А. Князевская, К истории русского языка в северо-восточной Руси в середине XIV в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г.), там же, стр. 157.

[23] П. С. Кузнецов, К исторической фонетике ростово-суздальских говоров, «Докл. и сообщ. [Ин-та русского языка АН СССР]», 2, 1948, стр. 138.

481), *клѣть-* (333), *лѣз-* (152, 168, 334), *мѣр-* (155, 280, 294, 472), *лѣт-* (180, 192, 292, 266, 276, 98, 455, 323, 169, 156, 158), *пѣс(ок)-* (280), *пѣт-* (476, 487), *полѣн-* (302), *рѣз-* (100); *стрѣл-* (238, 290), *сѣмѧн-* (328), *свѣт-* (495), *хлѣб-* (279, 474, 446, 328, 333, 337); *цѣн-* (289) — написаны с буквой *ѣ* в соответствии с их этимологией. Многие основы собственных имен и топонимических названий имеют орфограммы лишь с буквой *ѣ*: *Глѣбов* — 280, 255, *Грибоѣдѡв* — 258, *Еѳрѣмко* — 280, *Жадѣнки* — 490, *Кѣрго* — 165, *Коѣзин* — 308, *Кощѣꙗ* — 467-а, *Лѣпника* — 208, *Нарбѣков* — 464, 470; *Осѣнком* — 463, *Полѣнова* — 280, *Снѣгирево* — 290 и др.

Замена буквы *ѣ* буквой *е* перед твердыми и мягкими согласными часто наблюдается при написании корневой морфемы *бѣл-* в сложных словах: *Белаозера* — 208, *Белоозеро* — 171, 172, 177, *белоозерьский* — 106, 107, 108, 109, 253, 309, 278, 302, 322; *белозерьцом* — 322, *Белѣѡзерѣ* — 233, 236, 278; *Белеѡзере* — 118, 337. Такая же замена перед твердыми согласными единично отмечена в корнях: *вѣд-*: *ведомо* — 306, 481, *проведшими* — 156, *лѣв-*: *лев* — 90; *лѣс-*: *лес* — 303, 335, 337, *к лесу* — 104, *лѣт-* : *лето*— 171, *мѣст-* : *место* — 237, *мест* — 305, *рѣк-*: *рекою* — 255, *сѣк-*: *сосеком* — 306, *осек* — 306, *секли* — 306, *просекли* — 337; *сѣн-*: *сена* — 484, *сѣр-*: *сѣрко* — 63, *цѣлов-*: *целовав* — 334, 336. Мена букв *ѣ* и *е* в орфограммах корней и основ имеет место перед мягкими согласными, причем *ѣ* на месте *е* за исключением примеров: *пролѣгла* — 110, *озѣры* — 155 известна только перед мягкими согласными: *берѣзѣ* — 280, *розвѣсти* — 299 (при обычном *веду*, *вести*), *вѣлелъ* — 110 (2 раза), *з дѣревнѧми* — 155, *озѣрѣ* — 155 (3 раза), *дѣржат* — 155 (согласный *р* в этом слове произносился мягко), *мѣжа* — 308; *по мѣже* — 309, *мѣжах* — 47, *мѣжъ собою* — 308, *мѣнѧ* — 309, *здѣсе* — 270, *ежелѣть* — 102. В этом положении замена *ѣ* на *е*: *неделю* — 101, *дети* — 261, *детеи* — 168, 496, *з детьми* — 168, *налевѣ* — 306, *на лесѣ* — 209, *на лесѣх* — 289, *променил* — 253, *менѧли* — 472, *променити* — 474; *озерѣ* — 155, *отвечаите* — 306, 309, 463, *речкѣ* — 335, *на речке* — 338, 336, *реки* — 104, 334, 335, 336, *речки* — 335, *к реке* — 104, 309, *по реке* — 104, *к реце* — 337, *на рецѣ* — 325, 334, 336, *по рецѣ* — 203, 167, 289, *рекѣ* — 185, 188, 208; *отъседев* — 98, *сечю* — 306.

Замена *ѣ* на *е* широко представлена после согласного *j* в слове *ѣхати* (68, 110—3 раза, 156, 194, 201, 232, 302, 308—2 раза, 487). Ср. также: *ѣзовища* — 8, *ѣзовщику* — 113, *езовщику* — 113, *ѣз* — 168, *езь* — 113, *ѣзу* — 178, 237, *езѣх* — 113, *зового* — 271, *езу* — 113, 119, 168, *ѣе* — 252, *ее* (часто).

Замена буквы *ѣ* буквой *и* в корневых морфемах единична: *на рике* — 261, *под Дивич(ь)ею горою* — 168 (здесь написание *и* вместо *ѣ* может иметь и графическое объяснение), *сизѣмъские* — 99, *Сиземских* — 160, наряду с *сѣземъские* — 98, 99, 160, 194, 199.

Написание местоименных основ с флексией соответствует этимологии: *всѣ*, *всѣм*, *всѣх*, *всѣми*, *тѣ*, *тѣх*, *тѣм(ъ)*, *тѣми*, *сѣх*, преобладает написание с *ѣ* и в местоимении *чѣм(ъ)*, *ничѣмъ*. Аффиксальная морфема *ĕj* знает две равноправные орфограммы: *-ѣи* и *-еи*. Морфема *-ê-* в основе инфинитива передается обычно буквой *ѣ*, лишь в двух случаях буквой *е*: *вѣлелъ*— 110, *възрелъ* — 185 и один раз буквой *и*: *възрили* — 290 (здесь возможно морфологическое объяснение: смешение аффиксов инфинитива *ѣ* и *и*).

Характер мены букв *ѣ* и *е* во флексиях — преобладание этимологического написания или орфографические инновации — зависят от формы слова, от ее принадлежности к книжному типу русского языка XIV—XV вв. или живому языку. Во флексии род. падежа ед. числа прилагательных и местоимений, в формах типа: *тое(-ѣ) грамоты*, *из нашие(-ѣ) деревни*, которые для XIV—XV вв. стали принадлежностью книжного языка (ср. формы живой речи: *той*, *нашей*), написание конечной буквы *е*

преобладает над написанием конечной буквы *ѣ*. В окончаниях дат. падежа ед. числа существительных жен. рода после основ на парный твердый согласный, на парный мягкий согласный, на непарный мягкий согласный, на заднеязычный, в окончаниях мест. падежа ед. числа имен существительных жен., муж. и ср. рода после перечисленных основ, в конце неизменяемых слов (наречий, служебных слов, происходящих из формы местн. падежа существительных) преобладающим является написание буквы *ѣ*. Мена буквы *ѣ* и *е* в окончании местн. падежа мн. числа в бывших основах на -**о*: *возѣх*, но *лѣсех* и т. д. может иметь и морфологическое объяснение: смешение флексий *-ѣх* и *-ех* из *-ьх* у слов одного и того же рода.

Чередование орфограмм с соответственной меной букв *ѣ*, *е*, редко *и*, обнаруживает связь с некоторыми фонетическими (соседство *j*, парных твердых, парных мягких и непарных мягких согласных) морфологическими признаками (обозначение корневой, аффиксальной или флективной морфемы) и не зависит от места ударения. Это чередование букв, особенно замена буквы *е* буквой *ѣ* в положении перед мягкими согласными в корнях слов, а также довольно последовательное написание буквы *ѣ* в падежных окончаниях местоимений и имен существительных жен. рода в дат. падеже и всех трех родов в местн. падеже ед. числа, видимо, имеет фонетическое значение. При переводе орфографических данных в фонологический план целесообразно определять не звуковую основу каждого отдельного отступления, а соотнесенность характера орфографии с предполагаемым состоянием звуковой системы. Эту соотнесенность можно было бы истолковать так.

После падения редуцированных, утраты слогом автономности и появления новых типов позиционной мены звуков в говорах ростово-суздальского типа возникла позиционная мена *е/ê* («*е* напряженное») в условиях *et/êt'*. Фонема *ê* по своему качеству оказалась близкой или даже тождественной новому члену позиционной мены в ряду фонемы *е*, т. е. возникла позиция нейтрализации двух фонем. Неразличение фонем *ê* и *е* перед мягкими согласными, подтверждающееся и данными современных говоров, продолжающих историю говоров ростово-суздальского типа [24], и стало фонетической основой мены букв *ѣ* и *е*. Мена букв *ѣ*, *е* перед твердыми согласными может быть объяснена аналогическим перенесением в эту позицию (в условиях парадигмы) мены этих букв в позиции перед мягкими согласными.

Узкий гласный типа *ê* между мягкими согласными не достигал в это время самого верхнего подъема, не становился гласным *и*. Редкие случаи мены букв *ѣ* и *и* могут получить и нефонетическое объяснение. Мена букв *е* и *и* также редка: *Богоматири* — 72, *Кочивинской* — 265 и *Кочевинск8ю*— 265, *пречистои*, *прѣчистои*, *причистои* — 309. Все эти примеры могут также иметь не фонетическую, а графическую (влияние последующей буквы *и*) или морфологическую [смешение префиксов *пре-* (*прѣ-*) и *при-*] интерпретацию.

Лабиализация *е* перед твердыми согласными и изменение *ê* в *е* перед мягкими согласными изменяет состав ДП у фонемы *ê*. Признак напряженности, став свойством, зависящим от позиционных условий функционирования фонем верхнего, верхне-среднего и среднего подъема, исключается из числа их возможных ДП в этой же позиции, т. е. в положении между мягкими согласными. Качество напряженности у фонемы *ê* перед

---

[24] «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957, Вступительные статьи, справочные материалы и комментарии к картам, стр. 431 и сл.; карта № 17, пп. 88, 92, 112, 224, 312, 342, 360, 361, 807.

твердыми согласными также перестает быть ДП, так как утрачивается противопоставление *ê* — *е*.

В этой системе *ê* и *о* перед твердыми согласными и на конце слова были лишены возможности бинарного противопоставления по лабиализованности — нелабиализованности, так как они были разного подъема. Следовательно, данный ДП к XV в. утвердился в подсистеме гласных среднего подъема лишь между мягкими согласными. Дальнейшее использование этого ДП для гласных среднего подъема становилось возможным при изменении *ê* в *е*. Такое изменение не встречало противодействия системы, так как старый открытый звук *е* в этой позиции изменился в *о*. Как показывает материал современных говоров к северо-востоку и к востоку от Москвы, раньше всего произошло изменение *ê* в *е* в безударном положении, дольше всего *ê* держится в открытом конечном слоге, во флексии, что, возможно, связано с его морфологизацией [25].

На основании изучения новгородских грамот А. А. Шахматов приходит к выводу, что древненовгородский диалект XIII—XIV вв. имел в своем составе особый гласный звук *ѣ*, который он определяет как дифтонг типа *ie* [26]. Данные новгородских берестяных грамот также «свидетельствуют о различении [ě] как особой фонемы и об изменении [ě] в [i] перед мягкими согласными в более поздний период (по данным берестяных грамот XV в.). При этом нет заметных указаний на различия в судьбе этимологического [ě] в ударенном и безударном слогах» [27]. «Грамоты, относимые к XV веку, дают неодинаковые показания по отношению к *ѣ*: одни из них, как и более ранние, употребляют букву *ѣ* этимологически правильно, а в других попадаются написания с буквой *и* на месте *ѣ*» [28].

Все случаи частой мены букв *ѣ*, *и* принадлежат текстам XV—XVI вв. или самого конца XIV в.[29].

А. А. Шахматов в зависимости от написания букв *ѣ*, *е*, *и* делит двинские грамоты на три группы и дает следующую фонетическую характеристику этим фактам: первая группа отражает говоры с *ѣ*(= *ie*), вторая группа знает изменение *ѣ* в *е*, третья группа связана с говорами, в которых *ѣ* изменился в *i*. Во всех говорах конечный *ѣ* изменился в *i* [30]. По поводу изменения *ѣ* в *i* у А. А. Шахматова не было единого мнения. В описании морфологии говоров по данным новгородских грамот А. А. Шахматов писал, что «*и* не может быть фонетической заменой *ѣ*» [31], что «нельзя доказать, чтобы в XIV веке, например, были в северной России говоры, изменившие *ѣ* в *и*: исключение могли бы составлять некоторые двинские грамоты..., но, конечно, является вопросом, насколько *и* в данных случаях не служит лишь приблизительной передачей звука *ѣ*» [32]. Р. И. Аванесов считает возможным предполагать фонетическое изменение *ѣ* в *i* в древненовгородском диалекте XV в. Такая интерпретация орфогра-

---

[25] Наблюдения Е. С. Скобликовой (Е. С. Скобликова, О судьбе этимологического *ѣ* в 1-м предударном слоге перед твердым согласным в говорах Владимиро-поволжской группы, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, III, М., 1962) показывают, что наиболее благоприятные условия изменения *ê* > *е* > *'о* в безударном положении создавались при отсутствии позиционной мены безударного *ê* с ударным *ê* в той же морфеме, поэтому в говорах найдем произношение: *п'отýх*, *дв'онац:ат'* при *р'екá* — *р'ёки*.

[26] А. А. Шахматов, Исследования о языке новгородских грамот...

[27] Р. И. Аванесов, Фонетика, стр. 87—88.

[28] Там же, стр. 89—90.

[29] В. В. Виноградов, Исследования в области фонетики севернорусского наречия, ИОРЯС, XXIV (1919), 1 — 1922, 2 — 1923, стр. 171—205. Здесь собраны обширные данные по этому вопросу.

[30] А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в.

[31] А. А. Шахматов, Исследования о языке новгородских грамот..., стр. 190.

[32] Там же, стр. 225—226.

фии новгородских текстов основывается на данных современных говоров новгородского типа с распространенным рефлексом *і* на месте древнерусского *ѣ*. Но был ли возможен непосредственный фонетический переход *ѣ* в *і* в системе новгородского диалекта XIV—XV вв.? Видимо, здесь обязательной была стадия дифтонга типа *іę*, о чем может свидетельствовать мена букв *и* и *ѣ* в орфограммах корневых и флективных морфем, в разных фонетических условиях, перед твердым и перед мягким согласным, под ударением и без ударения.

В тех новгородских говорах, которые знают в своих письменных текстах написание буквы *и* вместо буквы *ѣ* только в падежных флексиях, причем в остальных морфемах представлено этимологическое написание буквы *ѣ* или мена букв *е* и *ѣ*, буква *и*, видимо, обозначает фонему *і* морфологического происхождения.

Есть свидетельства, что в некоторых современных говорах новгородского происхождения различаются по своему качеству звуки *і* из *ê* и из *і*. Это различие проявляется в степени смягчения предшествующих согласных, так что слова типа *л'ис*, *с'ино* звучат с более смягченным согласным, чем слова *л'ис'ей* (от *лиса*), *с'иней*[33].

Среди говоров новгородской группы были, очевидно, и такие, в которых, как и в ростово-суздальских, происходило изменение *е* в *о* и нейтрализация фонем *ê*, *е* в положении С'ГС', что и послужило фонетической причиной мены букв *ѣ* и *е* в части двинских грамот и в других письменных текстах новгородского происхождения[34].

Результаты исследования псковских текстов вызывали оживленные споры: достаточно назвать полемику А. А. Шахматова с Н. М. Каринским, который в своих выводах следовал за А. И. Соболевским[35]. Критически разбирает работы предшественников и Т. Н. Кандаурова. Однако исследователи рукописей псковского происхождения сходятся в интерпретации мены букв *ѣ* и *е*, *ѣ* и *и*, и именно в том, что в группе псковских говоров, удалившихся в своем развитии от новгородских, произошло полное совпадение этимологических *ѣ* и *е*. Для части говоров древнепсковского диалекта предполагается наряду с $e < \hat{e}$ и более широкое распространение фонемы *і* за счет древнейшей замены флексии *-ѣ* в определенных формах флексией *-і*. Но возможность вывода о лабиализации *е* перед твердыми согласными под ударением в древнепсковском диалекте XV в. заставляет критически отнестись к предположению о совпадении *ê* и *е*, принимаемому уже для текстов XIV—XV вв. Ведь если предположить, что к XIV в. это совпадение произошло в ударных и безударных позициях, то трудно объяснить, каким образом в последующую эпоху XV в. звук *е* из древнерусского *е* изменялся в *о*, а звук *е* из древнерусского *ê* этого изменения избежал. Остается предположить, что под ударением различие между *ê* и *е* держалось до изменения *е* в *о* и лишь после лабиализации *е* фонема *ê* под ударением изменилась в *е* в акающих говорах псковского диалекта XV в.

7. Возникшие диалектные различия в области вокализма на территории северных диалектов русского языка можно представить в таблицах 4, 5, 6.

Окающие говоры псковского диалекта не отличались от новгородских.

---

[33] Эти наблюдения сделаны Р. И. Аванесовым во время его северных диалектологических экспедиций и О. Г. Гецовой в экспедиции МГУ летом 1963 г. в юго-западной части Архангельской обл.

[34] Ср.: В. В. Виноградов, указ. соч., ИОРЯС, XXIV (1919), 2 — 1923.

[35] А. А. Шахматов, Несколько заметок об языке псковских памятников XIV — XV в., ЖМНП, Новая серия, ч. XXII, 1909, июль.

Таблица 4

Ростово-суздальский диалект
Под ударением

Позиция / Подъем	СГ; СГС		СГС'		С'Г		С'ГС		С'ГС'	
	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
В.-средний	*ô*		*ô*			*ê*		*ê*		*ê*
Средний	*o*		*o˙*		*˙o*	*e*	*˙o*		*ö*	*ê*

Без ударения

Позиция / Подъем	СГ; СГС		СГС'		С'Г		С'ГС		С'ГС'	
	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
В.-средний						*ê*		*ê*		*ê*
Средний	*o*		*o˙*		*˙o*	*e*	*˙o*		*ö*	*ê*

Примечание: 1) в говорах с фонемой *ô* возможно ее распространение и на позиции С'Г, С'ГС, С'ГС' по аналогии; 2) фонема *ê* в позиции С'ГС в безударных слогах, возможно, уже стала изменяться в *е*.

Таблица 5

Новгородский диалект
Под ударением

Позиция / Подъем	СГ; СГС		СГС'		С'Г		С'ГС		С'ГС'	
	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
В.-средний	*ô*		*ô*			*ê*		*ê*		*ê*
Средний	*o*		*o˙*		*˙o*	*e*	*˙o*	*e*		*e*

Без ударения

Позиция / Подъем	СГ; СГС		СГС'		С'Г		С'ГС		С'ГС'	
	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
В.-средний						*ê*		*ê*		*ê*
Средний	*o*		*o˙*		*˙o*	*e*		*e*		*e*

Примечание: 1) фонема *ê* в большинстве новгородских говоров произносилась дифтонгически как ie. Очевидно, имело место и дифтонгическое произношение фонемы *ô* (*uo*); 2) в говорах этой группы в результате морфологического воздействия в позиции С'Г на месте древнейшей флексии *ê* широко распространилась флексия i; 3) фонема *o* в позиции С'Г, С'ГС по говорам была ограничена морфемами типа *pol'o*, *pol'om*, под ударением в позиции С'ГС в отдельных говорах она могла явиться и в результате фонетического изменения *е*.

Таблица 6

Псковский диалект. Акающие говоры
Под ударением

Позиция / Подъем	СГ; СГС		СГС'		С'Г		С'ГС		С'ГС'	
	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл	л	нл
В.-средний										
Средний	*о*		*о˙*		*˙о*	*е*	*о˙*	*е*	*ō*	*ê*

8. Ближайшие причины различного развития гласных верхнесреднего и среднего подъема, очевидно, нужно искать в истории соотношения вокализма и консонантизма. Возникшая после падения редуцированных возможность фонологического развития категории твердых — мягких согласных с наибольшей полнотой осуществлялась в фонетической системе ростово-суздальского диалекта.

Такое направление в развитии консонантизма способствовало фонетическому процессу лабиализации звука *е* и облегчало морфологические процессы, связанные с распространением аффиксов с начальной фонемой *о* после основ на мягкий согласный. Появление слога типа *t'о* создало новую сильную позицию для оппозиции согласных по твердости — мягкости, а фонологизация отношения *е — о* означала распространение ДП «нелабиализованность — лабиализованность» на гласные среднего подъема.

Направление в изменении фонемы *ê* было небезразлично к характеру лабиализации *е*. Последовательность фонетического изменения *е* в *о*, распространение сочетания *t'о* по аналогии создавали в фонетической системе условия изменения *ê* в *е*. Имеются данные, показывающие, что на территории сгущения ёканья распространены говоры с пятифонемным составом гласных: *и — е — о — а — у* [36]. В тех же говорах, где звук *е* слабо лабиализовался или где сочетание *t'о* оказалось ограниченным и фонетически (положением под ударением), и морфологически (отсутствовали формы типа *землёй*), фонема верхне-среднего подъема *ê*, как правило, не изменялась в направлении к *е*, а имела своими рефлексами *ê*, *ię*, *i*. Такими были новгородские и близкие к ним псковские говоры. В акающих псковских говорах фонема *ê* под ударением изменилась в *е* после лабиализации древнего *е* [37].

---

[36] См.: С. Пожарицкая, указ. соч. (карты).

[37] Можно назвать южновеликорусские говоры, в системе которых фонема *ê* изменилась в *е*, хотя фонетического процесса лабиализации *е* в этих говорах не было. Такую систему имеют, например, рязанские говоры с кидусовским подтипом ассимилятивно-диссимилятивного яканья. Но в этих говорах совпадение *ê* и *е* могло иметь место во всех позициях до падения редуцированных, а фонетическое изменение *е* в *о* здесь вообще отсутствовало.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

К ВОПРОСУ О ПРОНИЦАЕМОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА

Грамматический строй, как известно, в любом языке является гораздо более устойчивой его частью, чем лексика и фонетика. Если заимствования лексических образований из одного языка в другой являются обычными и осуществляются по звуковым закономерностям заимствующего языка, то заимствования отдельных морфем, особенно морфем словоизменения, в лингвистической литературе признаются исключительно редкими и даже маловероятными. Так, например, Г. Пауль считает, что «слова заимствуются всегда целиком, отдельные словообразовательные суффиксы и окончания никогда не заимствуются»[1] (разрядка наша.— *Г. М.*); А. А. Реформатский отмечает, что «почти как исключение, можно обнаружить в языках заимствование словоизменительных форм, т. е. тех случаев, когда выражение отношения (реляционное значение) перенимается из другого языка; как правило, этого не бывает, так как каждый язык выражает отношения по внутренним законам своей грамматики»[2]; Б. А. Серебренников указывает, что «система словоизменительных формативов в языке обладает колоссальной силой сцепления и обнаруживает исключительную непроницаемость»[3].

Подобные высказывания справедливы лишь в том отношении, что грамматический строй того или иного языка, складывавшийся в течение многих тысячелетий, действительно обладает исключительной сопротивляемостью, препятствующей проникновению в него иноязычных элементов, особенно — элементов словоизменения. В языках мира до сих пор отмечено мало примеров проницаемости грамматического строя. Когда же такие явления обнаруживаются в отдельных языках, грамматический строй которых в силу особых исторических условий их развития и только под сильным воздействием иносистемного языка подвергся тем или иным частичным изменениям, эти языки часто относят к разряду своеобразных лингвистических «аномалий». Между тем такие явления следует рассматривать как продукт исторического развития контактирующих, а иногда и скрещивающихся пограничных народов, говорящих на разных языках. Малочисленные и слаборазвитые народы, народности и изолированные или одиночные этнографические группы скорее подвергаются культурному, экономическому и лингвистическому влиянию со стороны более многочисленного и культурного соседнего народа. Если в результате такого влияния существенным образом изменяются условия жизни малоразвитого или малочисленного народа, то любые новые элементы его культуры (будь то новые элементы материальной жизни, духовной культуры или языка) необходимо рассматривать как целесообразные, исторически обусловленные определен-

[1] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 469.
[2] А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1960, стр. 394.
[3] Б. А. Серебренников, Об устойчивости морфологической системы языка, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 208.

ными социальными причинами. И если в результате сложных взаимодействий и взаимовлияний из одного языка в другой проникают элементы грамматического строя, к тому же в системном виде, то вряд ли можно говорить о какой-либо испорченности заимствующего языка.

На отдельные факты проницаемости грамматического строя того или иного языка под воздействием контактирующего с ним иносистемного языка указывают многие языковеды. Но приводимые ими факты в ряде случаев недостаточно убедительны, а толкование этих фактов часто носит гипотетический характер. Так, например, И. А. Бодуэн де Куртенэ предполагал возможность влияния урало-алтайских (или других неиндоевропейских) языков на развитие падежной системы и категории числа в армянском языке [4]. Ж. Вандриес отмечал, что в языке армянских цыган сохранился только цыганский словарь, а морфологическая система заимствована из армянского языка; подобное же явление проникновения элементов грамматического строя он видел в языке английских цыган, которые свой словарь сплели с английскими формами [5]. Но модернизированный язык цыган, постоянно кочующих небольшими группами по той или иной стране и приспосабливающихся к господствующей языковой среде, вряд ли можно рассматривать как типичный пример проницаемости грамматического строя языка: Ж. Вандриес, в частности, подозревал, что армянский и английский случаи заимствований словоизменительных форм цыганским языком являются искусственными. Однако этот же автор приводит серию других, несомненных случаев проникновения отдельных элементов грамматического строя из одного языка в другой. Так, например, словенцы, жители сербо-хорватской колонии в итальянской провинции Кампобассо, поселившиеся там еще в XV в. и говорящие на словенском языке по настоящее время, заимствовали из итальянского определенный член *le*, который регулярно употребляется в их речи (см.: *da mi kaze le pute* «пусть он мне покажет путь»). Там же приводится пример из португальского языка в Индии, который под влиянием английского стал использовать морфему *'s* как показатель принадлежности [6], а также примеры проникновения французского и английского элементов в бретонский и ирландский языки и обратного влияния последних на поглощающие языки [7].

Заслуживающий внимания языковедов случай проницаемости грамматического строя, когда грамматические элементы проникают из одного языка в другой в довольно системном виде в пределах одной части речи, обнаружен нами летом 1963 г. во время лингвистической экспедиции у алеутов Командорских островов, а конкретно — у алеутов о-ва Медного, диалект которых значительно отличается от диалекта алеутов соседнего о-ва Беринга. Открытые в 1741 г. В. Берингом необитаемые Командорские о-ва в период с 1826 по 1880 г. в целях развития котикового промысла были заселены по инициативе русской администрации алеутами. О. Беринга был заселен алеутами в количестве 400 человек с о-ва Атка, а о. Медный — алеутами в количестве около 300 человек с о-ва Атту. Территориальная изоляция островных колоний способствовала сохранению и самостоятельному развитию каждого из этих двух диалектных ответвлений алеутского языка. С самого начала существования этих маленьких колоний к алеутам была приставлена русская администрация из нескольких человек, а в середине XIX в. колонии были пополнены

---

[4] И. А. Бодуэн де Куртенэ, О смешанном характере всех языков, «Избр. труды по общему языкознанию», I, М., 1963, стр. 365.

[5] Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 267.

[6] Там же, стр. 266.

[7] Там же, стр. 263.

несколькими десятками русских поселенцев из среды сибирских и камчатских охотников: на 300 человек алеутов, населявших о. Медный, приходилось примерно 30 русских. Некоторые русские колонисты на о-ве Медном уже в середине XIX в. заключали брачные союзы с алеутскими семьями. Образовались смешанные алеутско-русские семьи. Русское меньшинство в силу количественного превосходства алеутов, жизненной необходимости освоения традиционного промыслового хозяйства и быта последних вынуждено было овладевать алеутской речью, которая стала основным средством общения островитян. Дети-метисы, овладевая языком алеутского большинства, в то же время усваивали язык своих русских матерей и отцов. Что же касается русских заимствований алеутами, то они ограничивались лишь отдельными элементами лексики. Русские же колонисты, усваивая алеутскую лексику, не могли, по-видимому, воспринять необычные для русского языка грамматические формы алеутского глагола с его весьма сложными временными и личными показателями. Между тем именно глаголы имели главнейшее значение при коммуникации. Русское меньшинство, заимствовав от алеутов целиком их язык, внесло в него отдельные элементы грамматического строя родного языка, затрагивающие систему глагола: русские глагольные флексии гораздо проще по своей структуре и по произношению, а набор их малочисленнее. Этот случай проницаемости грамматического строя можно объяснить возникшей у алеутов насущной потребностью во введении в строй их языка новых формальных элементов, способствующих более эквивалентному взаимопониманию говорящих на контактирующих языках — алеутском и русском. К этому следует добавить, что к концу XIX в. первые русские поселенцы из среды охотников уже вымерли, а в последние десятилетия XIX в. и в начале XX в. приток русских на о. Медный почти прекратился, представителей же русской администрации насчитывалось всего по несколько человек, поэтому активного влияния русского языка на алеутский длительное время не было. Между тем в языке медновских алеутов упрочались и продолжали употребляться русские глагольные окончания при полном сохранении исконной алеутской глагольной лексики и утрате соответствующих грамматических форм глагола алеутского языка. Русские глаголы, исключая единичные случаи, алеутским языко не заимствовались. Все другие сферы грамматического строя языка медновских алеутов оказались неизменными и продолжали развиваться по внутренним закономерностям собственно алеутского языка.

Сопоставление полевых записей медновского и беринговского диалектов показало, что, кроме чисто алеутских диалектных особенностей, язык медновских алеутов отличается наличием элементов русской грамматики, а именно — глагольных словоизменительных форм, а также нескольких наречий и вспомогательного глагола *быть*, используемых для образования аналитических форм глагола. Сопоставление позволило установить, что спряжение глагола в его финитных формах в беринговском диалекте соответствует полностью общеалеутской парадигме, в то время как в медновском диалекте глагол утратил алеутские показатели времени, наклонения, лица и числа и при полном сохранении исконной глагольной лексики стал изменяться по русской словоизменительной схеме.

Проникновение грамматических элементов русского языка в язык медновских алеутов коснулось следующих сторон глагольной парадигмы:

1. Изменение глагола по лицам:

	Беринг. д.	Медн. д.	Русск.
	awa-ку-к'	*аба-ю*	«работаю»
1-е лицо	*ā̄лах awa-ку-с*	*ā̄лах аба-им*	«двое работаем»
	awa-ку-с	*аба-им*	«работаем»

	awa-ку-х'т	*аба-ишь*	«работаешь»
2-е лицо	*awa-ку-х'т-хидих*	*алах аба-ити*	«двое работаете»
	awa-ку-х'т-хичих	*аба-и-ти*	«работаете»
	awa-ку-х'	*аба-ит*	«работает»
3-е лицо	*awa-ку-х*	*алах аба-ют*	«двое работают»
	awa-ку-с	*аба-ют*	«работают»

Русские личные окончания глагола целиком заимствовались языком медновских алеутов (частичное звуковое изменение — русск. *е* ~ алеут. *и* — может быть объяснено как заимствованием из русской разговорной речи, так и отсутствием гласного *е* в алеутском языке).

2. Изменение по временам:

	Беринг. д.	Медн. д.	Русск.
наст. вр.	*awa-ку-х'*	*аба-и-т*	«работает»
прош. I	*awa-н-х'*	*аба-л*	«работал»
прош. II	*awa-майа-на-х'*	*аба-майа-л*	«сейчас работал»
будущ. I	*awан'ан ан'ах'*	*будит аба-т'*	«будет работать»
будущ. II	*awан'ан аг'икух'*	*скоро будит аба-т'*	«скоро будет работать»

Как можно видеть из данной сопоставительной парадигмы, медновский диалект заимствовал из русского языка не только морфологический способ образования глаголов настоящего и прошедшего времени, но и аналитический способ образования глаголов будущего времени. В беринговском диалекте сохранились исконные алеутские способы образования временны́х форм глагола.

3. В медновском диалекте при глаголах регулярно употребляется отрицательная частица *ни* (< русск. *не*); ср. беринг. д. *айгаг-лака-с* «не идут» (суффикс *-лака* — показатель отрицания), медн. д. *ни-агайахча-ит* «не идут» (отрицательная частица *ни* по русскому образцу стоит в начале слова). Отрицательные формы глаголов будущего времени в алеутском образуются особым способом посредством сложного суффикса *-дўка-гула* (медн. д. *-уча-н'ула*). В медновском диалекте такой глагол, кроме того, присоединяет еще и русскую частицу *ни*, ср. беринг. д. *айгаг-дўка-гула-х'*, медн. д. *ни-агайаг-уча-н'ула-ит* «не пойдет». Таким образом, если показатели лица и времени в глаголах положительной формы медновского диалекта целиком утратились и заменились русскими, то в глаголах будущего времени отрицательной формы в этом же диалекте наблюдается сосуществование двух показателей отрицания — заимствованного русского и исконного алеутского.

4. Алеутский показатель повелительного наклонения *-дӑ* в медновском диалекте заменился русской флексией глаголов этого же наклонения *-й*, ср.

Беринг. д.	Медн. д.	Русск.
awa-дӑ!	*аба-й!*	«работай!»
су-лага-дӑ!	*ни-су-й!*	«не бери!»
саг'а-дӑ!	*саг'а-й!*	«спи!»

5. В общеалеутском языке на грамматический субъект действия всегда указывают личные суффиксы в самой форме глагола, поэтому соответствующие личные местоимения при них обычно не употребляются. В медновском диалекте, заимствовавшем русские глагольные флексии, при глаголах прошедшего времени на *-л*, форме общей для всех лиц, возникла необходимость употреблять личные местоимения. В этом случае

наряду с русскими глагольными окончаниями заимствовались и русские местоимения; ср.:

Беринг. д.	Медн. д.	Русск.
саг'а-на-к'	*я саг'а-л*	«я спал»
саг'а-на-х'т	*ты саг'а-л*	«ты спал»
саг'а-на-х'	*он саг'а-л*	«он спал» и т. д.

В предложении на медновском диалекте *Я улан чинухталагал, ты ниулаг'ил* «Я дом-твой посетил, (но) ты дома-не был» употребление русских личных местоимений при алеутских глаголах прошедшего времени выражается особенно наглядно. Между тем при передаче зависимого действия (в деепричастных оборотах) полностью сохраняется алеутская модель глагольного слова и сочетающегося с ним личного местоимения; ср.: *тин' агйахчагу-н'*... «если я пойду ...» (буквально «я пойдя-если-я»), *тин агйахчагу-н*... «если ты пойдешь...» (буквально «ты пойдя-если-ты»); здесь алеутские личные местоимения *тин'* «я» и *тин* «ты» согласуются с личными формами деепричастия, выражающего условное действие, которое на русский язык может быть передано только аналитическим сочетанием.

Из нижеследующих фразовых примеров видно, что элементы русского грамматического строя проникли только в глагольные формы языка медновских алеутов, тогда как все другие аспекты выражения грамматических отношений сохранили чисто алеутскую основу; ср.: беринг. д. *Анг'аг'инас улам ĥадан акус*, медн. д. *Анг'аг'инан улам нага к'ануют* «Люди в дом входят»; беринг. д. *Тин' улан' илаган итикук'*, медн. д. *Улан' илага ĥичаю* «Выхожу из своего дома», беринг. д. *К'ах' чаг'ил сунак'*, медн. д. *Я ках' чаг'ил сул* «Я рыбу рукою взял»; беринг. д. *К'уганах' анусанах'т*, медн. д. *Ты к'уганах' анусал* «Ты бросил камень» и т. д.

6. Для выражения сослагательности алеутская частица *кума* («бы») в медновском диалекте заменилась русской частицей *бы*, ср.: беринг. д. *Тин' айгахтикук' кума*, медн. д. *Я бы тин' айгахчал* «Я бы сам пошел». Характерно, что местоимение «я» в значении «сам» здесь передано алеутским словом *тин'*, а в значении «я» — русским, что также свидетельствует об использовании русских грамматических форм глагола и заимствованных слов в их прямом, а не косвенном грамматическом значении.

Ни один медновский алеут из числа моих информаторов, которыми были представители самого старшего поколения, не признавал, что алеутский глагол имеет русскую грамматическую форму. Языковое чутье подсказывало им, что слова типа *саг'аим*, *абаит*, *суит* ничего общего не имеют по звучанию с русскими «спим», «работает», «берет». И в то же время они отличали свой язык от языка беринговских алеутов именно по модели глагола. Присутствие в языке медновских алеутов элементов русского грамматического строя объясняется сложным, прерывистым и непропорциональным смешением большинства медновских алеутов с русским меньшинством. В целях наилучшего взаимопонимания носители двух разносистемных языков как бы пошли на взаимные уступки: русское меньшинство почти целиком заимствовало лексическую и фонетическую стороны алеутского языка, но оказало влияние на изменение грамматической структуры глагола. Эти изменения происходили в течение более чем столетнего периода. Заимствованные из русского перечисленные выше грамматические формы вытеснили соответствующие им по значению алеутские грамматические компоненты, стабилизировались и стали непременной принадлежностью языка всего говорящего коллектива изолированной этнографической группы медновских алеутов.

В условиях двуязычия, когда русское население на Командорских островах стало преобладающим (примерно с 30-х годов XX в.), русский язык стал основным средством коммуникации. Алеуты переходят на русский язык, воспринимая его во всей полноте, отчего их родной язык, на котором продолжает говорить часть островитян старшего поколения, уступая место русскому, не становится каким-то жаргоном, а продолжает существовать как самостоятельный. Жаргон, как известно, является промежуточным и в известной мере искусственным языком, возникающим для взаимного общения между двумя иноязычными группами контактирующего населения. Между тем язык, в который проникли отдельные элементы грамматического строя другого языка, как средство общения используется преимущественно в данной, одноязычной среде. Таким именно языком является язык медновских алеутов, в котором исторически обусловленные изменения в грамматических формах глагола объясняются сложным взаимодействием двух контактирующих языковых систем, в результате которого русские грамматические элементы, одержав лишь частичную победу, переосмыслились в языке медновских алеутов как элементы их родного языка. Несомненно, что явление проницаемости грамматического строя не является типичным для контактирующих языков и осуществляется не по общим и установившимся для всех языков закономерностям, а в результате совокупности целого ряда сложных взаимосвязей двух сталкивающихся языков, причем развитие в каждом конкретном случае проницаемости грамматического строя происходит самостоятельно и неповторимо. В этом смысле общественная сущность каждого языка как средства общения остается незыблемой и при условиях, когда язык в результате внешних влияний претерпевает известную перестройку. Возникает вопрос: если лексические заимствования и проникновение фонетических элементов из языка в язык лингвисты не считают некоей испорченностью или аномалией, то почему же проникновение элементов грамматики должно относиться к явлениям такой испорченности или аномалии? Такое одностороннее толкование фактов проникновения элементов грамматического строя из языка в язык не отвечает объективным законам исторического развития того или иного языка в конкретных условиях его окружения.

Что же касается русских лексических заимствований в алеутском языке, то русские слова в нем преобразовывались по структурной модели слов алеутского языка. В части своей фонетической системы алеутский язык проявил сильнейшую степень непроницаемости. Его звуковой состав и модель слова значительно отличаются от русских; так, например, в беринговском и медновском диалектах отсутствуют согласные *р*, *ж*, *д*, *ц*, *щ*, *ф* (в беринговском —кроме того, еще и *п*, *б*) и имеется только три гласных — *а*, *у*, *и*, поэтому все новые звуки в заимствуемых словах заменяются близкими по образованию звуками алеутского языка, ср. старые заимствования (XIX в.): русск. *здорóво* ~ алеут. *тулýма* (*зд* ~ *т*, *о* ~ *у*, *р* ~ *л*, *в* ~ *м*); русск. *ухожá* ~ алеут. *ухýдах'* (конечным компонентом *-х'* оформляются все имена существительные алеутского языка); русск. *песец* ~ алеут. *писичах'*; русск. *уключина* ~ алеут. *уклучинах'*; русск. *окошко* — алеут. *укусках'*; русск. *болван* («статуя») ~ алеут. *мулманах'* и т. д.

На примере алеутского языка видно, что до тех пор, пока побеждающий (заимствуемый) иносистемный язык не становится в полной мере вторым языком для данного коллектива говорящих, слова из него заимствуются по звуковым закономерностям заимствующего языка. Даже с полным переходом на язык, новый для данного коллектива говорящих,

звуковые особенности побежденного или совсем исчезнувшего языка продолжают долго еще действовать. Так, например, в русском языке молодых алеутов, не говорящих на родном языке, наблюдаются частые «ошибки» на гласные *е*, *о*, а также на ряд отсутствовавших в алеутском согласных, что затрудняет успешное овладение русской литературной речью. Овладев русским языком, единственным для них в настоящее время средством межнационального общения, молодые алеуты в то же время внесли в него наиболее устойчивые элементы звуковой системы алеутского языка (для островной области распространения местного русского языка это является своеобразным алеутским субстратом). Таким образом, отдельные элементы побежденного языка продолжают свое существование в рамках его бывшего распространения.

Итак, под влиянием русского языка язык медновских алеутов постепенно приобрел новый морфологический прием в построении грамматических форм глагола, что привело к утрате старых форм в глагольной парадигме. Заимствованные из русского словоизменительные формы стали восприниматься говорящими как неотъемлемая норма их языкового мышления. Известно, что говорящий сам никогда не ощущает и не анализирует используемых им в потоке речи грамматических форм слов. Точно так же для говорящего на родном языке незаметно постепенное проникновение в его речь иноязычных элементов в процессе длительных контактов двух иноязычных коллективов. Такое проникновение обнаруживает лингвист. При частичном проникновении иноязычных элементов родной язык в сознании говорящих продолжает сохранять свою целостность. Исчезновение языка малочисленного и рассредоточенного в иноязычной среде народа происходит чаще всего при двуязычии, при этом побеждающий язык воспринимается не частями, а полностью. Что же касается проницаемости частей системы одного языка для элементов другого, то она не связана с полным поглощением подвергающегося изменениям языка, а осуществляется в результате сложных, локально и социально обусловленных взаимодействий двух контактирующих языков. При этих условиях проницаемость грамматического строя также возможна и правомерна, как проницаемость языка на уровнях лексики и звукового состава.

В результате длительных контактов и скрещений языков различных систем происходили и происходят постоянные изменения не только в области лексики и фонетики, но при особых условиях взаимодействия также и в области морфологии. Последнее многим языковедам представлялось невозможным. Тератологический подход к вопросам установления различных аспектов взаимодействия иносистемных языков, особенно — к вопросам проникновения из языка в язык элементов грамматики, не способствовал и не способствует установлению и объяснению путей и закономерностей межъязыковых контактов. Между тем постановка и решение этих сложных вопросов имеет исключительно актуальное значение как для теоретического языкознания, так и для практических целей дальнейшего развития контактирующих иносистемных языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1964

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РАБОТА А. А. ШАХМАТОВА ПО РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ И АКЦЕНТОЛОГИИ

Статья А. А. Шахматова «Дифтонги *u͡o* и *i͡e* в великорусских говорах» имела необычную судьбу. Предназначенная к печатанию в кн. 4 «Известий ОРЯС» за 1912 г., она не увидела света по причинам, хорошо изложенным Л. Л. Васильевым[1]: А. А. Шахматов решил подождать с печатанием своей статьи до появления в свет работы Л. Л. Васильева. Внимательное отношение А. А. Шахматова к Л. Л. Васильеву хорошо известно[2], но задержка с печатанием книги Л. Л. Васильева отодвигала на неопределенный срок и публикацию статьи А. А. Шахматова. Время шло, постепенно накапливались все новые материалы, но А. А. Шахматов держал данное слово даже после продуктивной поездки в д. Лека Рязанской губ.[3]

Об этой поездке Ф. Е. Корш писал А. А. Шахматову 14 января 1913 г.: «Что касается научных результатов Вашей экскурсии, то они, вместе с данными, добытыми, кажется, впервые Броком, и с исследованиями Л. Васильева, побуждают к пересмотру той хронологии фонетических явлений, которую можно считать общепринятой в истории русского языка... Дифтонгическое или закрытое *о* свидетельствует, по-видимому, о том, что разница между нисходящим и восходящим ударениями жила у нас дольше, чем можно было думать еще недавно. Не найдутся ли ее следы также в малор. и в белор.? По крайней мере мне они неизвестны[4]. Какие обширные и увлекательные поприща чуть не ежедневно открываются для исследования даже в тех научных областях, которые еще вчера казались законченными!» Тем не менее и в сводном труде «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (Пгр., 1915) А. А. Шахматов по-прежнему ничего не говорит о своих выводах, и только в 95 т. Сб. ОРЯС (стр. 1—75), предваряя материал И. С. Гришкина и В. И. Тростянского, он кратко передает общий результат своего исследования, который несколько распространяет в отзыве на книгу Л. Васильева, напечатанном в 1929 г.[5] Последующие трудные годы помешали публикации работы, и она осталась ненапечатанной[6].

Существенное отличие разработки темы А. А. Шахматовым от исследования Л. Л. Васильева заключается в том, что это — свойственная А. А. Шахматову во все периоды его научной деятельности попытка представить истоки фонетического изменения на основе с р а в н е н и я данных современных славянских говоров; в отличие от этого Л. Л. Васильев пользовался сравнительно-историческим методом,

---

[1] Л. В а с и л ь е в, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI — XVII веков, Л., 1929, стр. 15 и сл.

[2] Среди многих документов, подтверждающих это, характерны письма Л. Л. Васильева к А. А. Шахматову (Архив АН СССР в Ленинграде, фонд 134, оп. 3, № 238), особенно письмо от 7 XI 1916, написанное безнадежно больным Л. Л. Васильевым; ср. замечание самого А. А. Шахматова в черновике письма к неизвестному лицу (фонд 134, оп. 1, № 410) о научных интересах, связывающих его с Л. Л. Васильевым.

[3] В статье «Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии» [ИОРЯС, XVIII (1913), 4, 1914, стр. 180] А. А. Шахматов, не вдаваясь в теоретические объяснения, ограничился замечанием, что выяснение причин дифференциации *ô* : *o* относится к компетенции с р а в н и т е л ь н о й грамматики славянских языков.

[4] Сводные материалы с литературой по белорусским и северноукраинским говорам см.: T. L e h r - S p ł a w i ń s k i, Ślady dawnych różnic intonacyjnych w językach ruskich, «Studia i szkice wybrane», Warszawa, 1957, стр. 305 и сл.

[5] См.: Л. В а с и л ь е в, указ. соч., стр. III—X.

[6] Со ссылкой на А. А. Шахматова сообщение об *ô* делали Д. В. Бубрих [ИОРЯС, XVIII (1913), 4, 1914, стр. 314], Н. Ван-Вейк (AfSlPh, XXXVI, 3—4, 1916, стр. 324), В. Мансикка [ИОРЯС, XIX (1914), 4, 1915, стр. 205].

историческим не только по цели, но и по материалу. Отсюда все расхождения в результатах и некоторые частные противоречия в толковании отдельных примеров.

Линия Л. Л. Васильева продолжалась в последующих исследованиях. Н. Н. Дурново указал на новые рукописи с различением *ô* : *о* [7]; аналогичные факты предлагают начальные части Троицкой летописи XV в. (ГИМ, Синод. 645) [8] и состоящий из житий русских святых большой Пролог конца XV в. (ГПБ, Соф. 1424).

Постепенно выяснялось, что разница между *ô* и *о* в древних рукописях могла передаваться не только знаком каморы. Высказаны предположения, что в Смоленской грамоте 1229 г. противопоставление фонем /ô/ : /о/ передается буквами ъ : *о* [9], а в Карамзинском списке IV Новгородской летописи конца XV в. (ГПБ, F. IV. 603) — буквами ω : *о* [10]. В Сборнике 1496 г. (ГПБ, Q. XVIII. 88) со списком Хожения игумена Даниила такое противопоставление, возможно, передается буквами *ô* : *о*. Таким образом, закреплению графических средств для передачи фонемы /ô/ предшествовали длительные поиски, предпринятые представителями разных графических школ древней Руси. Эти поиски завершились к началу XVI в. выбором знака каморы, потому что все остальные графические средства (знак акута, ω, ъ) на письме одновременно исполняли и другую функцию (обозначение ударения или границы слова). Этот закономерный выбор — только один пример того, что многие факты второго южнославянского влияния явились лишь оформлением собственно русских языковых изменений.

Линия А. А. Шахматова продолжалась в постепенном накоплении материала по говорам, в предварительном его объяснении. Особенно много нового дала обработка материалов по атласу русских народных говоров. Появляются попытки теоретической интерпретации этих данных в сравнительном плане [11].

В связи с попытками пересмотреть положения А. А. Шахматова, в связи с необходимостью объяснения новых данных по истории русского языка публикуемая статья А. А. Шахматова имеет немаловажное значение. Она даст возможность ознакомиться не только с тем результатом, к которому пришел А. А. Шахматов, но и с последовательным развитием его мысли, с его высказываниями по затрагиваемым вопросам, с толкованием отдельных фактов. Читатель легко заметит основные достоинства работы, в которой история *ô* рассматривается в связи с историей *ě* (*ѣ*), четко различаются укр. *ô* и др.-русск. *ô* из *ó* под восходящим ударением. Постоянная полемика А. А. Шахматова с некоторыми положениями О. Брока и Л. Л. Васильева и его расхождения с этими исследователями приводит к необходимости подробнее остановиться по крайней мере на трех основных проблемах, затронутых в работе.

1. По вопросу о происхождении *ô* А. А. Шахматов высказывается полнее всего, поскольку реконструкция исходных этапов в развитии *ô* — основная тема его работы. Дав классическое определение условий изменения *ó* в *ô* (только исконное *о* под восходящим ударением), А. А. Шахматов точнее определяет время этого изменения. Опираясь на свое объяснение разницы между восходящим (в основе экспираторным) и нисходящим (в основе музыкальным) ударениями, А. А. Шахматов приходит к выводу, что переход *ó* > *ô* мог начаться еще в рамках старой системы гласных (до падения слабых глухих) и свидетельствовать об определенном этапе в разрушении интонационных и количественных различий в восточнославянских диалектах. Это заключение важно и, очевидно, верно (именно в этом смысле развивает свои положения Л. Оссовский), в частности потому, что древнерусские акцентированные рукописи дают множество примеров типа *кôнь* (с закономерным *ô*) и *кóня*, *кóню* и т. д. (с «незакономерным» *ô* с точки зрения теории, рассматривающей изменение *ó* > *ô* как следствие падения глухих и изменения интонационных различий в различия гласных по качеству). А. Вайан, основываясь на данных лекинского говора, говорит об обобщении в им. падеже корневого *о* косвенных падежей [12]: в нашем случае, наоборот, обобщился гласный им. падежа *ô*, а это было возможно лишь в эпоху, когда еще не завершилось окончательное формирование новых, чисто экспираторных ударений.

[7] См.: N. Durnovo, Manuscrits russes distinguant l'ancien *o* «acuté» et l'*o* d'une autre origine, «Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Ser. B, XXVII, 1932.

[8] Изучивший рукопись в 1957 г. В. Р. Кипарский ничего не говорит об этой ее особенности; см.: V. Kiparsky, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962, стр. 11 и сл.

[9] М. И. Корнеева-Петрулан, К истории отдельных фонетических особенностей белорусского языка, «Даследавані па беларускай і рускай мовах», Мінск, 1958, стр. 120 и сл.

[10] В. В. Колесов, *ô* (*о* закрытое) в древненовгородском говоре, сб. «Исследования по грамматике русского языка», III, Л., 1962.

[11] См.: L. Ossowski, O zwężonym lub dyftongicznym *o* w pewnych gwarach i zabytkach rosyjskich (Ze studiów nad akcentem rosyjskim), «Biul. Polskiego tow-wa językoznawczego», X, 1950.

[12] См.: A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I, Lyon — Paris, [1950], стр. 276.

2. По вопросу о механизме изменения *ŏ* в *ô* А. А. Шахматов также делает ценные замечания; ценность их прежде всего в том, что учитываются все исходные условия изменения *ŏ* в *ô*, которое рассматривается в рамках общей функциональной системы древнерусского языка. Изменение *ô* > *ŏ* А. А. Шахматов ставит в связь не только с исконной интонацией гласного, но и с характером предыдущего согласного; появление *вôсмь* из *ôсмь* (через этап *u̯осмь* с *u̯o* на месте *o* под восходящим ударением) [13] внешним образом как будто противоречит допущениям А. А. Шахматова, но только потому, что в исследованиях по исторической фонетике не обращают внимания на реализацию фонем в составе словосочетания; принимая во внимание все факты, о которых подробно говорит А. А. Шахматов, трудно допустить, что одна лишь интонация во всех случаях объясняет новую протезу [14].

Важные дополнения были сделаны позже Н. С. Трубецким: в древнерусском одновременно с утратой редуцированных наступала дифтонгизация *o*, *e* перед слогом с утраченным ъ, ь, причем акутир. *ō* = *o̯ŏ*, циркумфл. *ô* = *ŏo* (*o* — узкое *o*): *bo̯ŏbъ* ~ *bŏokъ*. Развитие *ô* заключалось в том, что в обоих дифтонгах краткая часть ассимилировалась долгой: акутир. *o̯ŏ* > *ō*, а циркумфл. *ŏo* > *ô*; после утраты интонационных различий данное противопоставление привело к оппозиции *ô* : *o* [15]. Наоборот, А. М. Селищев предполагал не первоначальные дифтонги, а напряженные *ê* и *ô* [16]. В последнее время установлено [17], что, кроме закрытости, подударные гласные характеризуются в говорах с *ô* : *o* еще напряженностью, и поэтому наряду с *y͡o* на месте *ô* в говорах появляется *o͡y* на месте *o*. Это как будто согласуется с положениями А. А. Шахматова и Н. С. Трубецкого, хотя спроецировать данные современных говоров с их специфическими особенностями развития непосредственно в древнерусскую эпоху, разумеется, было бы трудно.

3. Менее всего разработан у А. А. Шахматова вопрос о позднейшем развитии *ô* в русских говорах. Это определяется целями статьи и ограниченностью материала. Впрочем по всей работе разбросаны отдельные замечания, свидетельствующие о том, что и здесь А. А. Шахматов верно оценивал значение диалектных данных, и только принципиальная ориентация на реконструкцию исходного состояния мешала ему определить их во всей полноте.

Тонкое замечание О. Брока о начавшемся в тотемском говоре разрушении *ô* : *o* в зависимости от характера слога (*o* > *ô* в закрытом слоге, *ô* > *o* в открытом, особенно в конечном открытом слоге) А. А. Шахматов отводит, хотя оно может объяснить многие факты современных говоров, различающих еще *ô* : *o* (ср. рассуждение А. А. Шахматова о форме *крôт* вместо *крот* в тотемском говоре и под.). На основе материалов А. С. Машкина (частично и Н. Н. Виноградова) А. А. Шахматов сделал интересное наблюдение (обобщение *o* вместо *ô* в начальном слоге и, наоборот, распространение *ô* вместо *o* в слогах неначальных) — и не воспользовался им, хотя оно важно в определении направления дальнейшего изменения *ô* : *o* специально в южновеликорусских говорах. Если в северновеликорусских окающих говорах совпадение *ô* с *o* происходит в зависимости от типа слога и окружающих согласных (переинтеграция системы фонем в результате изменения комбинаторных оттенков, образующих параллельные чередования гласных — основная тенденция в развитии северновеликорусского вокализма вообще), то в акающих говорах это совпадение зависит от положения в слове (переинтеграция системы фонем в результате изменения позиционных оттенков, образующих перекрещивающиеся чередования гласных — основная тенденция в развитии южновеликорусского вокализма вообще). Именно: поскольку исконное *o* (и *o* из ъ) может быть только в начальном слоге слова (это соответствует *o* под нисходящим ударением, возможным лишь в первом слоге слова), постепенно и *ô* из *o* под восходящим ударением (в основном в односложных словах) изменяется в этом положении в *o*; наоборот, поскольку в срединном и конечном слоге слова исконный *ô* всегда под восходящим ударением, все редкие примеры с *o* из ъ в этом положении обобщили *ô*.

Уже краткий перечень проблем, затронутых в публикуемой работе А. А. Шахматова и затем в позднейших исследованиях, в конечном счете к ней восходящих, показывает не только собственно историческое, а и непосредственно научное значение этой

---

[13] См.: M. Dolobko, Der sekundäre *v*-Vorschlag im Russischen, ZfSlPh, III, 1/2, 1926, особенно стр. 137—139; М. Долобко считает *ô* и его рефлексы не дифтонгом, а полифтонгом (стр. 94—95).

[14] См.: B. Calleman, Zu den Haupttendenzen der urslavischen und altrussischen Lautentwicklung, Uppsala, 1950, стр. 13. Позитивные положения самого Каллемана (влияние эмфатических конструкций на появление дифтонга) также вряд ли приемлемы.

[15] N. S. Trubetzkoy, Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinrussischen Spracheinheit, ZfSlPh, I, 3—4, 1925, стр. 302—303.

[16] А. М. Селищев, Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов, «Slavia», VII, 1, 1928, стр. 42.

[17] См.: С. С. Высотский, О говоре д. Лека, «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М.— Л., 1949.

работы. Через пятьдесят два года, когда языковедческая общественность отмечает столетие со дня рождения ее автора, она входит в самый центр наших сегодняшних размышлений по существу затронутых в ней вопросов.

Текст статьи А. А. Шахматова публикуется без каких-либо изменений, за исключением гл. II, где изложение диалектного материала, почерпнутого из печатных источников и хорошо знакомого специалистам, подверглось некоторым сокращениям, оговариваемым в квадратных скобках.

В. В. Колесов

А. А. ШАХМАТОВ

ДИФТОНГИ *уо* И *іе* В ВЕЛИКОРУССКИХ ГОВОРАХ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОЛАФУ БРОКУ

Глава I. Постановка вопроса

Летом 1902 г. профессор норвежского университета в Христиании О. Брок познакомился на месте с говорами юго-западной части Тотемского уезда Вологодской губернии (деревни Паньково и отстоящая от нее верстах в 50 Ихалица). В Отчете о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1902 г. О. Брок сообщил предварительный отчет о своей поездке, а в Сборнике Отделения т. 83 (1907 г.) поместил свое известное всем занимающимся научной разработкой русского языка «Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда». В числе особенностей Паньковского и Ихалицкого говоров Брок отметил произношение *о* закрытого (напряженного) [1], встречающегося «иногда на месте обыкновенного *о* образованного русского языка». Впрочем, обычным произношением такого *ô*, в особенности в открытом конце слова, является, по наблюдению Брока, *ôo̯* (в слоговой части дифтонга «напряженное *ô*, к которому присоединяется неслоговая гласная», определяемая автором как открытое *о*): *čovôo̯*, *gn'ozdôo̯* (чего, гнездо);также внутри слова: *kôo̯t*, *porôo̯m*, *kôo̯l'oš*. Вместо дифтонга *ôo̯* (иногда произносящегося и как монофтонг *ô*: *prôs' it*, *godôf*) преимущественно, однако, внутри слова является дифтонг *u̯o*: *bolu̯ólo*, *ku̯ôl*, *gu̯ôn'iš*.

Брок не ограничился установлением указанного соответствия обычному *о* звуков *ô*, *ôo̯*, *u̯o* в тотемских говорах; он признал уместным дать «обзор той рамки, внутри которой существует *ô* и по которой судим об исторической основе гласной». Не во всех частях своих может нас удовлетворить этот обзор. Его недостатки, как мне кажется, зависели от того естественного, по мнению Брока, предположения, из которого он исходил при группировке найденных им случаев с *ô*, предположения, что надо «искать основания для развития *ô* в известных условиях», вызвавших в малорусском мену *о* : *ō* (откуда *u̯o* и затем в отдельных диалектах *u*, *ū*, *i* и т. д.). Такое предположение побудило Брока противопоставить открытые слоги закрытым и в ряде случаев объяснять отсутствие *ô* в закрытом слоге влиянием открытого (*sxôdy* под влиянием *sxôl*) и напротив наличность *ô* в открытом слоге влиянием на него закрытого (*rok* вместо *rôk* под влиянием *roga*). Понятно, что такая скользкая почва привела Брока к тому, что он стал говорить о случайном характере всего явления: «зависит, по-видимому, от „прихоти", стоит ли форма с *ô* или с *ô*» (стр. 33); «по-видимому, таким образом, распределение *о* и *ô* зависело не от каких других правил, как „прихоти", т. е. от той силы, с которою случайное пользование в речи позволяло тому или другому оттенку выступать в сознании говорящих» (стр. 37). Впрочем, случайность он допускал, очевидно, только в тех случаях, где происходило чередование, в пределах грамматических форм одного слова, открытых и закрытых слогов; ибо им отмечен, во-первых, ряд случаев с *ô* «под такими звуковыми условиями, что объяснение его происхождения из положения в „закрытом" слоге нужно считать исключенным» (напр. *vôl'a*, *nôs'iš*, *s'er'ebrô*), во-вторых, им отмечено систематическое противоположение полногласных форм *óro*, *óło*, где н и к о г д а не бывает *ô* (*bôrodu*, *gółot*, *stôroš*), полногласным формам *ordò*, *ołò*, где ударяемое *о* звучит в с е г д а как *ô* (*vorôna*, *gorôx*).

Но Броку вообще удалось ограничить появление *ô* вместо *о* несколькими определенными условиями, исключающими возможность говорить о случайности в разви-

[1] Знак *ô*.

тии *ô* на месте *o*. По его заключению, *ô* заменяет только исконное *o* под ударением; *o* из ъ вообще никогда не является в виде *ô* (о слове *l'ubôf* см. ниже, где указаны и другие исключения); равным образом нет вообще случаев *ô* на месте *o* из *e*, следовательно, нет случаев с *ô* после палатальной согласной (*ô* в единичных случаях как *fs'ôm* местн. ед., *moi̯ôi̯* местн. ж. р. объясняется Броком, стр. 34, влиянием грамматической аналогии). Наконец, закономерность наблюдаемого явления сказалась и в том, что вообще, исключая немногочисленные случаи (о них подробнее ниже), мы находим теперь «одну из двух гласных, или *ô*, или *ō*, проведенной без альтернации во всех формах тех примеров, в которых мы могли бы, по этимологическим и звуковым соображениям, ждать мены одной с другой» (стр. 33; т. е. например, не только *od'in potkôv*, но и *dva potkôva*, не только *roga*, но и *rok*).

Последнее обстоятельство (отсутствие чередования между *ô* и *o*), а также указанное Броком отсутствие *ô* после палатальных согласных, равным образом упорная последовательность в употреблении *ô* в открытых, в том числе и в конечных открытых слогах, делает, как мне кажется, несомненным, что замечательное явление, открытое тонкою наблюдательностью Брока в тотемских говорах, ничего общего с малорусским явлением *o* : *ō* не имеет. В заключительном слове (стр. 45) он продолжает говорить о несомненных параллельных чертах между тотемским *ô* и *ō* малорусского и других славянских языков — этих параллельных черт я не вижу; но в том же месте, упомянув об *ô* и *ō* в полногласных формах, Брок предвидит возможность получить путем исследования относящихся сюда явлений «не бесценные заключения о старшем славянском вокализме и ударении». Обращаюсь к исследованию и попытаюсь оправдать ожидания уважаемого ученого, которому я вообще много обязан в научном моем развитии.

Скажу сначала о задаче и плане исследования. Ограничиваю свою задачу сначала только ударяемым *o*; приведу известные мне данные относительно замены ударяемого *o* звуками *ô*, *u̯o*, *u*; подобную замену в слогах неударяемых оставляю в стороне ввиду того, что, в особенности в южновеликорусских говорах, она может иметь другое значение, другое происхождение, чем в слогах ударяемых; об *ô* в неударяемых слогах, аналогичном *ô* в слогах ударяемых, я скажу там, где даю объяснение развитию *ô*, *u̯o* из *o*. В настоящей первой главе наметилась задача исследования. Во второй главе представляю имеющийся в моем распоряжении материал. В третьей главе предлагаю объяснение явления, зародившегося в общеславянскую эпоху, но получившего свое развитие уже в эпоху общерусского праязыка. В четвертой главе даю указания на развитие явления в отдельных русских говорах. В пятой предлагаю дополнительный экскурс о дифтонге *i̯e* в великорусских говорах. Умышленно ограничиваю свое исследование великорусскою областью; для меня совершенно ясно, что аналогичные явления имеются и в белорусском языке; но исследование белорусских дифтонгов осложняется тем, что в нем известны и другие дифтонги, возникавшие собственно на малорусской почве и ничего общего с исследуемыми нами теперь дифтонгами не имеющие [2].

Глава II. Обзор данных

Из предыдущего следует, что появление *ô* и дифтонга *u̯o* на месте *ô* не зависело от положения в закрытом слоге (или в слоге, за которым следовал слог, утративший полукраткие ъ, ь, *i*). Ввиду этого располагаю материал не по рубрикам, определяемым положением *o* в закрытом или открытом слоге, а по другому началу, оправдание которому будет дано в главе III, а именно я привожу из доступных мне сообщений случаи с *ô*, *u̯o* на месте исконного *o* под ударением в положении после исконно твердой согласной отдельно в слогах начальных (А) и в слогах конечных и срединных (Б). Затем привожу из тех же сообщений случаи сохранения *o*: а) исконного (В), б) происшедшего из ъ, в) происшедшего из *y* (ы) в дифтонге *oi̯*, г) происшедшего из *e* (Г). Далее указываю на нарушение ожидаемых на основании приведенных данных отношений, отличая случаи, где *o* находим на месте обычного *ô* (Д), а также случаи, где *ô* является на месте *o* исконного, а также *o* из ъ и из *e* (Е).

[Ниже в ряде случаев опускается изложение конкретного материала; указываются только источники, которыми воспользовался А. А. Шахматов. При этом приводятся все замечания, которые он делает, излагая материал.]

Северновеликорусские говоры. 1) М. А. Колосов, Заметки о языке и народной поэзии в области северновеликорусского наречия, «Зап. Имп. Акад. наук, XXX, 3, 1877 (Приложение), 2) Н. Белоруссов, Об особенностях в языке жителей Вологодской губернии, РФВ, 1887; 3) Шайтанов, Особенности говора Кадниковского уезда Вологодской губернии, «Живая старина», III—IV, 1895; 4) В. К. Лебедев, Ответ на Программу по Грязовецкому у. Вологодской губ. 1897 г. (ИОРЯС, III, 1, Приложение); 5) О. Брок, Описание одного говора из юго-западной части Тотемского

[2] Отсылаю к труду Е. Ф. Карского, Белорусы, II, стр. 222—227.

уезда, Сб. ОРЯС, 83, 1907; на стр. 7—8 рукописи А. А. Шахматова объясняются примеры группы Д:

«Случаи, где находим *o* вместо обычного *ô*. Сюда относятся: а) те случаи, где при форме с *o* существует параллельная форма с *ô*, б) остальные случаи, где *o* стоит не в начальном слоге: а) *kos* р. мн. от *koza* (Ихал.) при *kôs* (Паньково); *por* р. мн.(Ихал.) при *pôr* (Паньково), *na sxód'e* (Ихал.) при *sxôdy* (Паньково), *bôbr'ik* (144,36) при *bôbr'ik* (36), *pôsl'e* при *pôsl'e* (144), *kôleš* (137) при *kôl'öš* (42), *zôbl'öš* (139); ср. *kôl'öš*, *glôžoš* — *d'ev'anôstoi̯* (130, 42) при *d'ev'anôsto*, *zobôta* (143) при *zabôta*, *robôta* (Ихал.) при *robôta* (Паньково), *mołôu̯*, *mołôła* (137) при *mołôła* (43), *poróla* при *porôła* (43), *dorôg'i* (44) при *dorôga*, *rozgovôr* (73) при *rozgovôry*, *davnô* (Паньково, 114), при *davnô*, *rožostvô* при обычном *ô* в словах ср. рода. Большинство таких случаев оговорено Броком и объяснено как результат влияния других говоров, частью и общерусских наречий центральных городов. „У тех, которые бывали в Петербурге, *ô* исчезает скоро" (стр. 114). Сюда же относятся случаи, где *o* в словах явно заимствованных: *s-ykónoi̯* (110), *jogór'ei̯* (65), *ovdôt'ia* (144), *kałôša* (143), *pal'itô*, *kartôf'el'*; быть может также *polnomôšnoi̯* (63).

б) От приведенных под а) случаев отличаем те, где замена *ô* через *o* произошла, по-видимому, на почве самих местных говоров, под влиянием грамматической аналогии. Так, мне кажется, например, несомненным, что *ô* в суффиксе *-ôk-* (из первоначального *-ок-*) вытеснено через *o* под влиянием суффикса *-ok-* (из первоначального *-ък-*): *i̯ezdôk*, *s'ödôk*, *xodôk* *jodôk* под влиянием *mołotôk*, *domôk*, *pupôk*. Далее находим *o* вм. *ô* в *osnôvano* (138), *ogłôdano* (139), *otôbran* (135) под влиянием * *kôvano*, * *lômano*, * *kôpano*, где *o* в начальном слоге, ср. здесь *sôvano* (138) [3]. Окончание *-ôi̯o* в *kakôi̯o*, *złôi̯o*, *-ôva* в *kakôva*, *xudôva* (73, 144) явилось, вероятно, под влиянием *kakôi̯* в им. ед., ср *-ôi̯o* (*parnôi̯ö mołokô*), *-ôva* (*głuxôva*, *złôva*); быть может *o* вм. *ô* проникло также в местн. ед.: *na s'ömôm* (124), *v-odnôm-to mist'e* (22). Позволяю себе думать, что окончание твор. ед. *-oi̯*: *ženôi̯*, *gorôi̯*, *sovôi̯*, *nogôi̯* (117), *mnoi̯*, *tobôi̯*, *sobôi̯* заменило *-ôi̯* под влиянием окончания *-oi̯* в род. ед. ж. р. прилагательных, где *-oi̯* из *-yi̯* (*yĭ*) [4]; ср. в одном из вытегорских и в одном из петрозаводских говоров *вôдой*, *со мнôй* под влиянием *злôй*, *роднôй* в р. ед. ж. р. (где *-ôй* из *-ый*); правда, находим здесь в местоимениях и прилагательных обычно *ôi̯*: *tôi̯*, *złôi̯*, *drugôi̯* р., д., м. и тв.; вытеснение *toi̯* из *tyi̯* в р. ед. через *tôi̯* д. м. вполне естественно, но раньше, очевидно, господствовало *toi̯*, *drugoi̯*. Неясны: *volós'ia* (44), *povôd'i̯a*. Неясно *surôvoi̯* (37) при *surovôi̯* (128) [5], неясно *probôu̯* (133) вм. ожидаемого *probôu̯*. Р. мн. *os* явилось под влиянием *ôsy* (мы ожидали бы *ôs* ср. *kôs*).

Е. Случаи, где *ô* является на месте *o*. Различаем *ô* а) на месте исконного *o*, б) на месте исконного ъ, в) на месте исконного *e*. а) *ô* на месте *o* может, согласно предыдущему, встретиться только в начальном слоге. Очевидно, здесь сказывается то или иное влияние аналогии. Так, находим *rôi̯* (Паньково) ср. *roi̯* (Ихал.); б) *ô* на месте исконного ъ является в весьма редких случаях, очевидно, также под влиянием аналогии: *krôt* вм. *krot* под влиянием *kôt* — *kotá* и т. п. Обычное *l'ubôf* — *l'ubôv'i* несомненно заимствовано из книжного языка; в народной речи возможна в р. только форма *l'ubvi*. В Ихал., как отмечает Брок (35), являются и *morkôf*, *sv'okrôf*, ср. *morkôf*, *sv'okrôf* в Панькове; формы на *ôf*, конечно, также искусственные, заносные (народные формы *morkofka*, *sv'okrofka*, *sv'okruxa*); в) *ô* на месте исконного *e* обязано своим появлением грамматической аналогии со стороны *ô* после исконно твердой согласной. Так объясняет эти формы и Брок (34): *ʃs'ôm*, *ʃs'ôi̯*, *moi̯ôi̯*, *bol'šôi̯*, тв. ед. *svoi̯ôi̯*, *i̯ôm*, *i̯ôi̯* под влиянием *tôi̯*, *tôm*, *drugôi̯*, *odnôm*. Формы *gožô*, *d'üžô*, *xorošô* (128) под влиянием *b'ötô*, *šyrokô*.

---

[3] [Ударение страдательного причастия прошедшего времени зависело, судя по древнерусским акцентованным рукописям, от ударения инфинитивной основы; ср. в Симеоновской летописи XVI в.: *поруга́на* 256 об., *положе́нъ* 265, *в избра́нньмъ мѣсте* 291, *удержа́нъ* 240 об., *конча́на* 190 и др., но *поста́вленъ* 282 об., *просла́вленъ* 286 и т. п. Из последней литературы см.: G. Y. Shevelov, Die Wechselwirkung von zwei Akzentuirungstypen der Partizipien Präteriti Passivi von Verben der 3. Klasse mit Infinitiv auf *-ât'* in den slavischen Sprachen, «Die Welt der Slaven», VII, 4, 1962.— *В. К.*].

[4] [Т. е. также неисконно; влияние ударения прилагательного на ударение несогласованной синтаксически и морфологически формы существительного вообще сомнительно. Относительно интонации во флексии *-ою* в рукописях, различающих *ô* : *o*, см.: Л. Васильев, О значении каморы..., стр. 38; *o* вместо *ô* в этих рукописях очень часто, иногда последовательно. Ср. также: Д. В. Бубрих, Северно-кашубская система ударения, ИОРЯС, XXVII (1922), 1924, стр. 149 и сл.—*В. К.*].

[5] [Древнерусские акцентованные рукописи показывают в этом слове иное ударение, ср. *ереси мнѣга и соу́рова* — Пролог конца XV в., ГПБ, Соф. 1424, 78 об. (рукопись с различием *ô* : *o*) и т. п.— *В. К.*].

Неясно *b'er'ežôk* (39): быть может, это указывает на упорное чередование *-ок-* с теперь вообще исчезнувшим *-ôk-* (ср. выше *xodôk* вм. *xodôk*). В род. мн. *vorob'iôf* (Ихал.) под вл. *ôf* после тв. согласной».

6) В. Мансикка, Говор Грязовецкого уезда Вологодской губ., РФВ, 4, 1912; 7) В. Мансикка, Заметки о говоре Никольского уезда, ИОРЯС, 4, 1914 [А. А. Шахматов пользовался рукописью В. Мансикки]; 8) Олонецкой губернии Петрозаводский уезд: «В 1884 г. мне пришлось исследовать говоры Петрозаводского уезда, именно его северной части, между прочим и так называемого Заонежья. В ряде слов я отметил закрытое *о* (которое изображал через o^u); вместо *ô* весьма часто слышал прямо *у*. Эти звуки отмечены мною и в предударном слоге, но реже (*скýръ'а*, *пустêль*, *курмáн*, *хôрбшёнько*, *клôповник*); кроме того они являются в начальном слоге при переносе (свойственном местным говорам и вызванном карельским влиянием) ударения на него с конечного слога (*ôтца*, *пôýтора*, *пýýтора*, *гôвно*, *прôшли*, *спрôсить*, *ôна*, *кôʼ(ды* и т. д.)[6]. Приведу из своих записей только те случаи, где указанная замена произошла под исконным ударением.

А. Начальный слог. а) *пуп*, *в груб*, *нôчь*, *не муг*, *хуть бы*; б) *вýлю*, *кýни*, *пýжня*, *пôжня*, *гуру*, *к нучи*, *к нôчи*, *гурки*, *гôрку*, *лôдку*, *дôму*, *кôмата* „*коммата*", *на кýлья*, *мýшно* „*можно*", *лôвка*, *трýжды* (ср. *трожды*). Глагол: *рýдитця*, *кýсят*, *смýтрит*, *рýщеп*, *ссôритьця*. Б. Слог неначальный. б) конечный закрытый: *салýп*, *парохýд*, *нарôд*, *домýй*, в) серединный: *Тимýха*, *готýвитца*, *докýсят*, *тупонýсая не фасýнистая*, *побýремся*, *обнувку*, *скорôмна шырôка*, *нездорôва*, *помôры*. Е. Случаи, где *ô* заменяет обычное *о*. а) *о* на месте *ъ*: *двухъ сут*, *в рут*, *золôвка*, *золôвкин*, *у окôшка*, *лесôк*, *сôцький*; в) *о* на месте *е*: *крюсла* (при *крёсла*), *вютхая*, *пошýў*[7]. 9) Олонецкой губернии Повенецкий и Пудожский уезды. В 1886 г. я отметил в говорах этих уездов лишь небольшое количество слов с *ô*. В Повенецком уезде (Пергуба, Тайгеницы, Лойская деревня); А: *нôць*, *к нôци*. Б: *хорошô*, *нарôд*, *хорôшый*, *морôзить*. В Пудожском уезде (Канза-наволок): а. *кôжа*».

10) Рукопись 1847 года Архива Русского Географического Об-ва с записями из Орловского и Котельнического уу. Вятской губ.; см. Д. К. Зеленин, Материалы для описания Вятской губ., хранящиеся в Архиве ИРГО (Вятка, 1912, стр. 40—41); 11) Н. Кибардин, Сообщение по Слободскому у. Вятской губ., хранится в Рукописном отделе БАН СССР, Срезн. № 45; см. также «Вятские губ. ведом.» 1848, № 10; 12) В. И. Даль, О наречиях русского языка (1852 г.), материал по Вятской губ.; 13) Н. М. Васнецов, Материалы для объяснительного областного словаря Вятского говора, 1892; 14) С. К. Булич, Ответ на Программу по Яранскому у. Вятской губ., ИОРЯС, 2, 1896; 15) Е. Ф. Будде, Краткий отчет о командировке в Вятскую губ. на летние месяцы 1896 года, «Уч. зап. Казанского ун-та»; 16) Д. К. Зеленин, Отчет о поездке в Яранский уезд, Юрьев, 1902, стр. 10—11; его же, Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губ., Сб. ОРЯС, 1903, 76; 17) М. Разумовская, Ответ на Программу по Нолинскому у. Вятской губ., Сб. ОРЯС, 73, 1903; 18) К. Егоров, Ответ на Программу по Белоозерскому у. Новгородской губ. № 191, прилож. 2; 19) Н. Сперанский, Межа, «Костромск. губ. ведомости», 1862, № 1; 20) Н. Н. Виноградов, О народном говоре Шунгенской волости Костромского у., Сб. ОРЯС, 77, 1904; 21) «Д. Е. Зеленин передал мне устное сообщение В. Я. Нифонтова, что в с. Жарки по соседству с Шунгенской волостью говорят: *хорошýô* (Ба) *пýôп* (Аа)»; 22) Ответ на программу по Кологривскому у. Костромской губ., Сб. ОРЯС, 73, 1903; № 61; 23) О. Яковлев, Сообщение о говоре Меленковского у. Владимирской губ., по рукописи БАН Обл. сл. 21[8]. 24) Н. Дубенский, Крестьянское и господское хозяйство в Опольщине Владимирской губ., Современная летопись, прибавление к «Московским ведомостям» № 4, 1871; 25) А. Разумова, Ответ на Программу по Даниловскому у. Ярославской губ. № 227.

Южновеликорусские говоры. 26) Е. Ф. Будде, К истории вели-

[6] [Очевидно, по условиям появления это разнородные факты (*ô*, *у* после губных, заднеязычных и *р*, *л* в безударной позиции свойственно в настоящее время и говорам, не имеющим *ô* из *о* под восходящим ударением). Аналогичное совмещение этих двух явлений находим и в Карамзинском списке Новгородской летописи конца XV в. А. А. Шахматов не акцентирует внимание на том, что *ô*, *у* возникают лишь после тех согласных, которые в праславянском языке были твердыми, а следовательно лабиализованными, хотя это и является аргументом в пользу развиваемой им гипотезы о механизме изменения *ô* в *ô*.— *В. К.*]

[7] [В примерах группы Е (как и в *груб*, *нôчь* из группы Аа и во многих других случаях, приведенных Шахматовым) новое *ô* представлено на месте *о* в закрытом слоге, что является характерным для севернорусских говоров. Ср.: А. С. Ерёмин, Описание Уломского и Ваучского говоров Череповецкого уезда Новгородской губернии, Сб. ОРЯС, 99, 1923.— *В. К.*].

[8] [В списке источников Ф. П. Филина в книге «Проект „Словаря русских народных говоров"», М.— Л., 1961, стр. 98 показано по Архиву АН СССР, фонд 216, оп. 4, № 20.— *В. К.*]

корусских говоров, Казань 1896 (Касимовский у. Рязанской губ.); 27) Сообщение по Скопинскому у. Рязанской губ., ТМДК, вып. 1, 1908, стр. 113; 28) С. Орлин, Ответ на Программу № 133 по Егорьевскому у. Рязанской губ., РФВ, 3—4, 1911; 29) Ф. М. Тоньшин, Ответ на Программу по Рязанскому у., РФВ, 3, 1912, стр. 9—12 (это сообщение А. А. Шахматов воспроизводит целиком «ввиду его важности»); 30) Ответ на Программу по Княгининскому у. Нижегородской губ., ТМДК, вып. 2, стр. 142; 31) Сообщение о языке жителей села Еланское Колено, Новохоперского уезда приводится Д. К. Зелениным в «Материалах для описания Воронежской губернии, хранящихся в Архиве ИРГО», Воронеж, 1912, стр. 44; 32) Сообщение по Землянскому у. Воронежской губ. приведено Д. К. Зелениным там же, стр. 37; 33) М. Дикарев, Очерк воронежского мещанского говора сравнительно с украйно-русским наречием «Памятная книжка Воронежской губ.» на 1892 год, стр. 21; 34) К. Филатов, Очерк народных говоров Воронежской губернии, РФВ, 3—4, 1897, стр. 263; 35) Сообщение Ф. И. Поликарпова в «Памятной книжке Воронежской губ.» за 1856 год; 36) Ответ на Программу по Коротоякскому у. Воронежской губ., РФВ, I, 1908, стр. 103; 37) Рукопись В. И. Тростянского по Землянскому и Задонскому уу. Воронежской губ. (позднее издана в Сб. ОРЯС, 95, 1916).

По поводу этих записей А. А. Шахматов на стр. 8 рукописи делает следующее замечание о характере яканья в описываемом говоре: «В тесной связи с заменой *о* через *уо* в говоре, представленном записями В. Тростянского, стоит следующее обстоятельство. В слоге предударном после мягких согласных являются на месте исконных *е*, *ѣ*, *а* два разных звука: с одной стороны редуцированное *е* (В. Тростянский изображает его буквами *е*, *и*), с другой *а* (пишется *я*); первый звук является тогда, когда под ударением стоят звуки: *а*, *е* исконное, *о* из *ъ*, *о* после мягких согласных, *о* из *ы*; второй звук, когда под ударением стоят звуки *у*, *ы*, *и*, *е* из *ѣ*, *ўо* [9]. Ниже, рассматривая данные, представляемые записями Машкина, я несколько подробнее остановлюсь на подобном же явлении в обоянском говоре; здесь ограничиваюсь выводом, что указанное обстоятельство доказывает, что звук *о* исконный (не в начальном слоге) под ударением перешел в звук закрытый (отсюда *уо*), ибо в предударном слоге *а* является только тогда, когда под ударением находится закрытый звук; между тем звук *о* неисконный (из *ъ*, *ы*, *е*) был звуком открытым, ибо в предударном слоге является редуцированное *е* только тогда, когда под ударением находится открытый звук [приводятся примеры]».

38) Сообщение по Тульской губ. в рукописи Архива РГО, XLII. 2; 39) Е. Ф. Будде, О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской губерниях, ИОРЯС, 3, 1898; его же, О народных говорах в Тульской губернии, ИОРЯС, 4, 1898; его же, О говорах Тульской и Орловской губерний, Сб. ОРЯС, 76; 40) Сообщение Л. В. Жирицкого в ответе на Программу № 252 по Епифановскому у. Тульской губ. «Весьма любопытно наблюдение автора, по которому „дифтонг бывает только тогда, когда звуку *о* предшествует звук гортанный или губной"». Употребление *уо* по Л. В. Жирицкому ограничивается а) положением в односложных словах в закрытом слоге, б) положением в конечном закрытом слоге, если в предыдущем находятся звуки *а* или *у*, в) положением во втором от конца слоге в редких, впрочем, случаях. В третьем от конца слоге *уо* никогда не бывает. Располагаю по рубрикам все встречающиеся в записях Жирицкого случаи с *уо* и отмечаю *о* открытое в нарочито им отмеченных словах женского говора: Аа, *муой*, *вуот*, *буог*, *гуод*, *сеуой*, *куонь*, *пуод*, *хуоть* (иногда *хуть*), *муост*; Аб *куосу*, *ня буойся*; Бб *табуой*, *рукуой*, *дамуой*, *с другуой*, *марузз*, *пад ябланькой такуой*; Бв. *рабуота*, *рабуотать*, *даруожке*, *старуонка*; Ва. *мной*, *но*, *он*; Вб, *сокал*, *пошту*; Га. *дочь*, *гадок*, *палатном*; Да. *слышится и ходя*, *мой*, *вот* (*бог*, *год*), *свой*, *хоть*, *конь*, *поп*, *дарога*, *травою*, *тот*; Еб. *раскруойся*, *маладец такуой*, *какуой бравый маладец*; Еа. *платьуом*» (стр. 20 рукописи); 41) Сведения о прихожанах села Доброго, Лихвинского у. Калужской губ. 1850 г., рукопись РГО ХУ. 45; 42) А. А. Шахматов, Звуковые особенности Ельнинских и Масальских говоров, РФВ, 36, 1896 и 38, 1897, стр. 60—61; 43) Е. Ф. Будде, О некоторых народных говорах в Тульской и Калужской губерниях (материал по Калужской губ.); 44) Л. Л. Васильев, Гласные в слоге под ударением в момент возникновения аканья в обоянском говоре, ИОРЯС, IX. 1.

«Л. Л. Васильев заметил, что в предударном слоге после мягких согласных здесь на месте древних *е*, *ѣ*, *а* является то *а* (пишется *я*), то *и*; первый звук *а* всегда перед

[9] Могу указать лишь очень немного исключений: *а* вместо ожидаемого *е*, *и* — *бядá*, *сядáя*, *падняла́*, *шшалкáла*, *жанá*, *ня знáю*, *наняла́*, *ва слязáх* [...]. Исключений из случаев, где в предударном слоге *а* являлось при ударяемом *е* исконном или при *о* из *е*, нет; неясно только *за рашóткаю* с неожид. твердым *р*. Равным образом нет исключений из правила, что в предударном слоге при ударяемых *у*, *ы*, *и*, *е* из *ъ* должно стоять *а* [...].

следующим слогом с ударяемыми *ý*, *ы́*, *и́*, *ê* (из *ѣ*), *ô* (исконным) второй звук *и* всегда перед следующим слогом с ударяемыми *á*, *ê* (исконным), *ô* (из *ъ*), *ô* (из *ы*), *ô* (из *е*). Следовательно, как правильно заключил Л. Л. Васильев, *а* появился в предударном слоге, когда под ударением закрытый звук, *и* — когда под ударением звук открытый. Осторожный исследователь не решился, однако, заключить, что эти отношения сохранялись в то время, когда составлялись записи А. С. Машкина (на основании которых — они относились к пятидесятым годам XIX в.— провел свое исследование Л. Л. Васильев.— *В. К.*), т. е. что *е* из *ѣ* отличалось тогда от *е* исконного, или *о* исконное отличалось от *о* неисконного (из *ѣ*, *ы*, *е*); он предположил, что определенные им отношения возникли в момент появления аканья и сохранились, несмотря на последующие изменения в характере гласных ударяемых [10]. Наблюдение Л. Л. Васильева и его выводы показались мне настолько важными для истории русского языка, что я решил проверить извлеченные Л. Л. Васильевым данные из печатного издания с подлинными рукописями А. С. Машкина, хранящимися в Библиотеке Академии наук и в Архиве Геогр. общества, тем более, что не все эти рукописи вошли в упомянутое издание [11]. Моя работа подтвердила наблюдения Л. Л. Васильева во всей их полноте. Извлеченными из рукописей Машкина данными могут теперь воспользоваться для доказательства, что *о* исконное звучало в обоянском говоре в пятидесятых годах прошлого столетия закрыто в ударяемом неначальном слоге, между тем как *о* неисконное (из *ъ*, *ы*, *е*) звучало здесь открыто. Не решаюсь предположить, чтобы исконные отношения, намеченные Л. Л. Васильевым, стерлись в отношении к характеру ударяемого *о* в говоре А. С. Машкина; думаю, что это повело бы к нарушению старых отношений и в слоге предударном, между тем отношения здесь сохранены. Записи В. И. Тростянского из Землянского и Задонского уездов представляют, как мы видели, в предударном слоге те же отношения, что записи А. С. Машкина; но по отношению к ударяемому исконному *о* оказывается, что оно до сих пор и звучит как *уо*; не имея указания на дифтонгическое произношение *о* в говоре А. С. Машкина, мы все-таки должны признать, что исконное *о* у него звучало иначе, чем неисконное, следовательно, всего вероятнее, как *ô* (ср. *ô* в калужских говорах)» [Затем А. А. Шахматов приводит многочисленные примеры, особо выделяя позицию начального слога в слове]: «Сопоставляя такие случаи как *бис бога* и *бяз бога*, *ни ходить* и *ня ходють*, заключаем, что в начальном слоге произошло смешение звуков *о* и *ô* в говоре А. С. Машкина. Возможно, однако, что *о* различалось от *ô* в начальных слогах; но, попадая в слог неначальный (после предлога), *о* переходило в *ô*; следовательно, *бох*, *бога* с *о* открытым, но *бяз бôга* с *ô*. Во всяком случае никаких данных для различения *о* и *ô* в начальных слогах записи А. С. Машкина не дают [...] Во всяком случае оставляем в стороне в дальнейшем исследовании вопрос о произношении *о* и *ô* в начальных слогах в говоре А. С. Машкина» (стр. 21—25 рукописи).

45) Сообщение по Старооскольскому у. Курской губ., ТМДК, вып. 1, 1908, стр. 81.

Глава III. Общие соображения и выводы

Из приведенных 45 сообщений далеко не все заслуживают одинакового внимания и доверия; многие из них затрагивают вопрос о дифтонге *уо* и о звуке *ô* только попутно и случайно. Не имея основания заподозрить точность того или другого сообщения, считаю себя вправе дать предпочтение тем исследователям, которые или обратили нарочитое внимание на употребление указанных только что звуков или дали обширные записи, обнаруживающие эти звуки. На данных этих исследователей я нахожу возможным основать и дальнейшие соображения. Имею в виду 5-е сообщение Брока по Тотемскому уезду, 6-е сообщение Мансикка по Грязовецкому уезду, 7-е сообщение его же по Никольскому уезду, 20-е сообщение Виноградова по Костромскому уезду, 29-е сообщение Тоньшина по Рязанскому уезду, 37-е сообщение Тростянского по Задонскому и Землянскому уездам, 44-е сообщение Машкина по Обоянскому уезду. Что касается 40-го сообщения Жирицкого по Епифанскому уезду, то оно представляется недостаточно определенным; сам автор признает, что делал наблюдения наспех.

---

[10] Так на стр. 12 отд. отт. Л. Л. Васильев на основании того, что отрицание *не*, предлоги (*через*, *перед*, *без*) и приставка *пере* имеют звук *а* в слоге перед ударяемым исконным *е* (*бяществя*, *чиряс пень*, *пирямелитца*), заключил, что «во время записи того различия между ударенными *ê* и *е* перед мягким согласным, которое обусловило разницу в характере аканья предударного слога в обоянском говоре, уже не было». Сходное заключение сообщил Л. Л. Васильев на полях подаренного им мне оттиска относительно звуков *о* исконного и *о* из *ъ*, ибо *ни* является вместо *не* и перед ударяемым исконным *о*, а *ня* встретилось перед удар. *о* из *ъ*, *ы*, например *ня долга*, *ня лошкаю*, *ня кормють*, *ня портя*, *ня рой*.

[11] [Частично изданы В. И. Резановым в «Курском сборнике», III — 1902 и IV — 1903 («Материалы по этнографии Курской губернии»); в настоящее время хранятся в Архиве АН СССР, фонд. 216, оп. 4, №№ 90, 91, 92, 93, 94.— *В. К.*]

Мои сообщения 42-е по Калужскому и Жиздринскому уездам, 8-е по Петрозаводскому и 9-е по Повенецкому и Пудожскому уезду весьма поверхностны и малосодержательны, ввиду того, что я не произвел систематического наблюдения над условиями замены *о* через *ô*, предполагая здесь возможность случайности и произвола. 39-е сообщение Будде по Тульской губернии представляет несколько случайных данных, 26-е сообщение Будде по Касимовскому уезду скудно в сильной степени и не дает прочных оснований для каких бы то ни было заключений. Остальные все сообщения дают всего по нескольку примеров для употребления дифтонга *ŷô* и имеют поэтому второстепенное значение. Тем не менее я вернусь ниже ко всем тем сообщениям, которые не могу положить в основание ближайшего исследования, для того чтобы показать, что в них согласуется и что нет с добытыми данными. Отмеченные выше семь сообщений я буду называть по фамилиям авторов.

Общими положениями, извлекаемыми из них, являются следующие. Во-первых, *ô*, *ŷô* заменяет *о* только под ударением, притом не только в южновеликорусских говорах (Тростянский, Тоньшин), но также и в северновеликорусских. Правда, находим *ŷô* в предударном слоге у Виноградова (напр. *стŷôйт*, *кŷôлёса*), правда, закрытость *о*, точнее бóльшая его закрытость наблюдалась и Броком в предударном слоге слов, как *polôц*, *polúla*, *kolôц*, *porôц*, *borôn'ät*, *kolôt'*, *porôt'*, *vorôna*, *vorôny*, *na-bokú*, *f-polkú* (см. стр. 107 его исследования); правда, наконец, мы найдем *ô* и *у* вм. *о* в предударном слоге в ряде северновеликорусских говоров [12]. Тем не менее нахожу необходимым отделять одно от другого оба явления — *ŷô*, *ô* в слогах ударяемых и *ô*, *у* в слогах предударных. Основываюсь на следующих соображениях. Появление *ŷô* вместо *о* ударяемого — явление, общее южновеликорусским и северновеликорусским говорам; мы находим его и в белорусском; оставляя в стороне вопрос о времени его возникновения, мы вправе утверждать, на основании южновеликорусского и белорусского языка, что появление *ŷô* в ударяемом слоге не сопровождалось появлением *ŷô* в неударяемом слоге; *ŷô* явилось до редукции неударяемых слогов, как это видно из данных Машкина и Тростянского (ибо у них перед *ŷô* является после мягкой согласной в предударном слоге *а*, между тем как перед *ô* является *е-и*); что в неударяемых слогах не было *ŷô* на месте *о*, видно из того, что неударяемое *о* редуцировалось, между тем *ŷô* или *ô* не подлежали бы редукции, как вообще не редуцировались закрытые звуки (*у*, *ы*, *и*) в противоположность открытым (*а*, *о*, *е*). Если, следовательно, появление *ŷô* вместо *о* в южновеликорусском и белорусском языке в слоге ударяемом не сопровождалось появлением *ŷô* вместо *о* в слогах неударяемых, то с полным основанием признаем, что и в северновеликорусском *ŷô* под ударением не предполагает *ŷô* (*ô*, *у*) в неударяемых слогах. Едва ли можно сомневаться, что появление *ŷô* (*ô*, *у*) в неударяемых слогах в северновеликорусских говорах однородно с появлением *ŷô* вм. *о* под ударением, но внутренней связи между обоими явлениями нет.

Во-вторых, согласные показания почти всех исследователей позволяют утверждать, что переходу в *ŷô* подлежало только исконное *о*, а не *о* из *ъ* и не *о* из *ы*. Мы находим *ŷô* на месте *о* из *ъ* лишь в немногих словах; часть их удовлетворительно объясняется тем, что это слова книжные, вошедшие в русский язык уже с *о*, возникшим из *ъ* на церковно-славянской почве (ср. *о* в слове *оуповати*, *оупование* в русских памятниках XI—XII в., еще не знающих замены *ъ* через *о*). Сюда относятся *l'ubôf* — *l'ubôv'i* (Брок), *любŷбеь*, *любŷбеи* (Тростянский), *царковнай*, следовательно, *царкôвнай* (Машкин), *бяздонная*, следовательно, *бяздôнная* (Машкин), *ваздŷбхами*, т. е. *вздохами* (Тростянский). Далее некоторые слова с *ŷô* на месте *о* из *ъ* можно признать заимствованными из других говоров: при этом *о* заменено через *ŷô* по аналогии случаев, где звуку *о* других говоров соответствовало *ŷô*; сюда отношу *morkôf*, *sv'okrôf* (в одном из обоих исследованных Броком говоров), *муолвить*, *муолвила* (Мансикка в Никол. у.), *крŷбшички* (Тростянский), *krôt* (Брок), *нутрôм* (Мансикка в Грязов. у.). Только у Виноградова находим *ŷô* в словах как *вŷôлк*, *мŷôрде*, *золŷôука*, *моркŷôука*, *Буорŷôк*. О новом *ŷô*, а таковым его надо признать в этих случаях, скажу ниже.

На месте *о* из *ы* точно так же не является *ŷô*. В *ру°комбйник* (Мансикка, Грязов.) имеем, вероятно, с заимствованием из городских говоров. Приходится, однако, допустить возможность вытеснения *-ой* в им. ед. через *-ôй* под влиянием *-ôво*, *-ôму*, *-ôм* в других падежах; ср. *оржанôй* (Мансикка, Грязов.), *чарной*, *вадяной*, *пратяной*, *шымятной*, *мижавой*, т. е. *чарнôй* и т. д. (Машкин). У Виноградова и здесь найдем новое *ŷо*: *Промŷойна*.

В-третьих, показания Брока доказывают, что первоначально *ŷо* заменяло *о* только после твердых согласных, следовательно, не являлось на месте *о* из *е*. Это

[12] Приведу здесь несколько примеров: Петрозав. *курмáн*, *скурдá*, *пустéля* (Шахм.), *булóто* Пуд. (Шахм.), *скурия* Повен. (Шахм.), *кумáр*, *будлйвая корова*, *Пулáшенька*, *скуряе*, *скурее* Белоз. (Б. и Ю. Соколовы, ТМДК, 2), *пôспеём* Весьег. (те же), *наборвáла*, *ôбрэгá*, *пôложыл* Казанск. губ. (Е. Будде), *на двуре*, *поскуряе* Яранск. (Зеленин), *сулома*, *стухан* Вятск. г. (Зеленин).—Также в южновеликорусских: *гуспоть* Обоян. (Машкин, АГО, XIX, 3).

подтверждается и другими, но у них мы в единичных случаях находим *уо* (*ô*) и после мягких согласных. Так у Тростянского: *тюбплам гнядцс, слюбс*, у Мансикка (Грязов.): *тѣтка, тѣмно, тѣплой*, у Мансикка (Никольск.): *тюоплова, тюомну ноць*. Думаю, что *уо* здесь нового происхождения и заменило оно *о* по аналогии: *добрô* (*дабрô*) — *дуôброй* вызвало при *тѣплô, тѣмнô, лѣхкô* (*тяплô, тямнô, ляхкô*) — *тюоплой, тюомной, люохкой*; *каса* — *куос* вызывало при *слеза* — *слюос* и т. п. Совершенно особо стоят случаи, где *уо* проникло на место *о* после мягкой согласной под влиянием грамматической аналогии. Так, *уо* в им. вин. ср. р. и в наречиях вызывало *уо* и в положении после мягких согласных на месте *о* (из *е*): *gožô, d'ižô, xorošô* (Брок), *дюжô* (Мансикка, Грязов.), *хорошуо* (Мансикка, Никольск.), *лицўô, крыльцўô, усюô, слязьюô, харашўô, бальшўôя*, также *дитюô* (Тростянский), *видяньё, лидяньё, затрятьё*, следовательно, *видяньё* и т. д. (Машкин). Так же перенесено *уо* в р. мн.: *vorob'i̯ôf* (Брок), *сухаріуоф* (Мансикка, Никольск.), *зятьёв, князьёв, видмядёв* (Машкин). Так же переносится *уо* в тв. ж. р. сущ.: *варюбю, душўôй, слязьюôй* (Тростянский), *зямлёю, мяжою, кляшнёю* (Машкин). Так же переносится *уо* в род., дат., местн., твор. местоимений и прилагательных: *fs'ôi̯, toi̯ôi̯, i̯ôi̯, svoi̯ôi̯, bol'šôi̯* (Брок), *моюой* (Мансикка, Никольск.), *твоюôй, своюôй, всюôй* (Виноградов). Так же переносится *уо* в местн. ед. м. и ср. местоимений и прилагательных: *fs'ôm, i̯ôm* (Брок), *сюом* (Мансикка, Никольск.), *втроюôм* (Виноградов), *ап чўôм, маюôм, сваюôм* (Тростянский). Под влиянием аналогии объясняется и *чужуова, чужуому* (Мансикка, Никольск.); далее суфф. *уово*, в *Ежуовая* и др. (Виноградов), *уок* в *b'er'ežôk* (Брок); последнее, впрочем, как мы видели, неясно.

В-четвертых, заслуживает особого внимания то обстоятельство, что *уо* в форме род. падежа местоимений имеет при себе *о*, как согласно указывают Мансикка и Тростянский. Из того, что замена *о* через *уо* не имела места первоначально после мягкой согласной, видно, что она стоит в связи с положением после твердой согласной; между тем в форме род. падежа местоимений при *тоуô* издревле существовало *тоô*, ср. формы на *-оо* в северновеликор. говорах (Кирилл., Белоз. и др.). Поэтому вероятно, что *тоуо* перешло в *тоу̯ио*, между тем как *тоо* сохранило свое конечное *о* без изменения; отсюда позже при *тоу̯ио, тоу̯ио* формы *тоуô, тоô*.

Брок, поставив вопрос об отношении *и̯о* к *ô*, высказал предположение, что *и̯о* представляется дальнейшим развитием произношения *ô*, результатом его распадения. Не вижу для этого достаточно оснований и думаю, что напротив *ôр* (Брока) и *ô* (Брока, Мансикка, Машкина, Тоньшина) произошло из *и̯о*; утрата неслогового звука *и̯* вела к растяжению и сужению следующего *о*. Утверждает меня в таком предположении параллельное развитие *іе* — *ê* в тех говорах, где известны *иô* — *ô*; едва ли подлежит сомнению, что *іе* (из древнего *ѣ*) древнее *ê* (на месте *ѣ*).

Вот тот ряд оснований, который приводит меня к следующему положению. В весьма древнюю эпоху жизни русского языка имело место диалектическое явление, по которому исконное *о* в положении под ударением за согласною переходило в дифтонг *иô*. Явление это вызвано природой не звука *о*, а предшествующего ему согласного; это видно из того, что *о* из ъ не подлежало переходу в *и̯о*; у нас нет оснований думать, чтобы *о* из ъ звучало иначе, чем исконное *о*, мы не можем также допустить, чтобы диалектическая дифтонгизация *о* произошла тогда, когда ъ еще не перешел в *о*, ибо это вело бы нас в слишком глубокую древность, чуть ли не в эпоху общерусского праязыка [13]. Но мы имеем основание предполагать, что согласные перед ъ имели другую природу, чем перед *о*, в общерусском праязыке.

Для обоснования этого положения и объяснения интересующего нас явления я выставляю следующую гипотезу, которую докажу в отдельных ее частях. В общеслав. праязыке согласные перед гласными заднего ряда были получены лабиализованными или полулабиализованными; такая природа их была следствием их уподобления гласным; ср. палатализацию или полупалатализацию согласных в общеславпраязыке перед гласными переднего ряда. Гласные заднего ряда были некогда в общеславянском праязыке все лабиализованы; сюда относятся a^o (отсюда далее *о*), $\bar{a}^o$ (отсюда далее $\bar{a}$), $\breve{u}(o)$ (сюда позже гласная среднего ряда *ў*, редуцировавшаяся в ъ,) $\bar{u}$ (отсюда далее гласная среднего ряда $\bar{y}$). Несмотря на потерю некоторыми из этих гласных лабиализации ($\bar{a}$) и на переход некоторых из них в гласные среднего ряда

[13] [В настоящее время вслед за Л. Л. Васильевым большинство ученых считает, что *о* под восходящим ударением изменилось в *ô* до изменения ъ в *о* или, скорее, одновременно с ним; ср.: Р. И. Аванесов, Проблемы образования языка русской (великорусской) народности, ВЯ, 1955, 5, стр. 27, и другие его работы. При таком подходе остается без внимания механизм самого изменения.— *В. К.*].

нелабиализованные ($\bar{y}$, ъ) лабиализация согласных продолжала сохраняться перед ними. В общерусском праязыке сохранялись общеславянские отношения; но ъ под влиянием предшествующей лабиализованной согласной, терявшей при этом свою лабиализацию, переносившей лабиализацию на следующую гласную, становился лабиализованною гласною, откуда затем с течением времени явилось *o*. Таким образом отдельные русские языки получили рядом с сочетанием $t^u o$ (из общерусского и общеслав. $t^u o$) сочетание *to* (из общерусского *tъ* с лабиал. ъ, общеславянского *tъ* с ъ нелабиал.). В отдельных русских говорах полулабиализация согласных по крайней мере перед лабиализованными гласными заменилась полностью лабиализацией; ср. переход полупалатальных согласных в палатальные перед гласными переднего ряда во всем составе общерусского праязыка. В ударяемых слогах, но притом, как увидим, не при всяком характере ударения, сочетания лабиализованная согласная + + *o* переходили в сочетания согласная + $\underset{\frown}{u}o$ ($t^u o$ изменялось в $t\underset{\frown}{u}o$). Общеслав. $n^u \bar{o} \check{s} a$, $nar^u \bar{o} da$, $v\bar{i}n^u o$ изменились в диалектах русского языка в $n\underset{\frown}{u}\bar{o}\check{s}a$, $nar\underset{\frown}{u}\bar{o}da$, $vin\underset{\frown}{u}\bar{o}$.

Приведу теперь доказательства отдельных частей выставленной гипотезы. Во первых, приспособление согласных к следующим гласным заднего ряда в общеславпраязыке доказывается между прочим появлением *l* веляризованного (*ł*) вместо *l* перед всеми гласными заднего ряда; лабиализованный характер согласных перед всеми гласными заднего ряда в общерусском праязыке доказывается между прочим переходом *e* в *ō* (откуда позже *o*) перед этими согласными (*n'ōsu* вместо *nesǫ* доказывает лабиализованность *s*). Во-вторых, в частности лабиализованность согласных перед общеслав. $\bar{y}$ доказывается изменением сочетаний *ky*, *gy*, *xy* в некоторых славянских языках в *k'i*, *g'i*, *x'i*; эти новые сочетания явились в результате уподобления заднеёбных *k*, *g*, *x* следующей гласной среднего ряда *y*; если такое уподобление не наступало уже в древнейшую эпоху, в частности в общеслав. праязыке, то это зависело от того, что *k*, *g*, *x* произносились тогда с лабиализацией ($k^u y$, $g^u y$, $x^u y$); только после утраты лабиализации наступало уподобление *k*, *g*, *x* следующему *y*. В-третьих, едва ли может быть сомнение в том, что ъ в общеслав. праязыке был гласной нелабиализованною; для доказательства достаточно сослаться на изменение ъ в польское, чешское и нижнелужицкое *e* или в сербское *ā*, откуда в большей части диалектов *a*; но рядом с подобным изменением находим переход ъ в *o* в русском и некоторых других славянских языках (древнеболгарских говорах, в верхнелужицком, диалектах нижнелужицкого языка); это свидетельствует о позднейшей лабиализации ъ; лабиализация должна была быть вызвана определенною причиною; такую причину можно видеть в природе предшествовавшей звуку ъ согласной, т. е. в лабиализованном ее характере. Польский и лужицкий языки представляют изменение *kė*, *gė* из *kъ*, *gъ* в *k'e*, *g'e* (напр. польск *rogiem*, *rokiem*, нижнелуж. *kjabl* «кребий, участок» из *kъblъ*); ясно, что *k'e*, *g'e* заменили *kė*, *gė* в результате уподобления *k*, *g* следующему *ė*, уподоблению, некогда задерживавшемуся лабиализованным характером *k*, *g*; следовательно *k'e*, *g'e* из *kė*, *gė*, а эти из $k^u \dot{e}$, $g^u \dot{e}$, что указывает на $k^u ъ$, $g^u ъ$. Лабиализацию ъ под влиянием предшествующей лабиализованной согласной (отсюда *o*) я решаюсь сравнить с лабиализацией *y* (которое переходило при этом в *u*, *ō*) в белорусских [14] и угрорусских говорах; равным образом великорусский переход *y* в *o* в сочетании *yi* зависел от предшествующей лабиализованной согласной (ср. белорусский и диалектический великорусский переход *yi* в *ėi*) [15].

В пользу всей выставленной гипотезы можно привести еще следующее обстоятельство. Аналогичное явление — переход *o* в $\underset{\frown}{u}o$ имеется в западнославянских языках. Совпадение западнорусского и восточнорусского явлений доказывает, что основания для них были заложены еще в общеслав. эпоху, а такими основаниями, как указано, признаем лабиализованность общеслав. согласных перед *o*. Приведу некоторые данные из западнославянских языков, напомнив, что в некоторых из них, как и в общерусском праязыке, полумягкие согласные перешли в мягкие, что аналогично переходу полулабиализованных согласных в лабиализованные.

---

[14] Ср.: Е. Ф. Карский, Звук *y* вм. ы в некоторых белорусских говорах, РФВ, 1905, 1; он указывает, что такой переход имеет место только после губных (местами после *ł*) и думает, что «единственной причиной такого странного перехода является слишком лабиальное (как при *o* — *y*) произношение губных в названных говорах».

[15] [По-видимому, изложенные соображения Шахматова навеяны материалом О. Брока. Во всяком случае именно из него исходят не знакомые с издаваемой работой А. А. Шахматова позднейшие исследователи, развивающие мысли, сходные с мыслями А. А. Шахматова; ср., в частности: В. П. Петрусь, Славянские фонемы *l* (среднее) и *ł* (твердое), «Уч. зап. [Кировск. пед. ин-та]», Ист.-филол. фак-т, II, 1957 и G. Gerovský, Zur Herkunft der Konsonantenerweichung vor *e*- und *i*-Lauten im Russischen, «Wiener slavistisches Jahrbuch», VII, 1959.— *В. К.*].

Так, в древнечешском были говоры, изменявшие в *ůо* всякое краткое *о* (замена *ō* через *uo* свойственна всему чешско-словацкому языку и нас в настоящее время не касается). Гебауер в Hist. mluvn. I, 245 приводит из памятников XIV в.: *buoha, dyetatkyo, raduostywyc, prokuop, czrnehuo ptáka, tuoho, suobyc, duobu, puokuorne*, из XV в.: *wuolal, klopuocze, duokudz*.

В современном польском языке переход обычного литературного (и вместе с тем общеславянского) *о* в *ůо* характеризует ряд говоров в различных областях польской территории. Во многих из них *ůо* является только после губных и задненёбных: *kůość, robůota* (при *noga, sok*), но есть говоры, имеющие *ůо* также и после зубных: *sůotić, nůoga, m'anůo, důostać*. Редко выступает *ůо* после мягких согласных (*s'ůostra, čůotka*), и это доказывает, что переход *о* в *ůо* вызывается прежде всего природой предшествующей согласной. Вместо *ůо* находим в некоторых говорах даже *uo kuosc, puole*; в других *ůо* заменяется *ô*, что напоминает и русское диалектическое явление: *uokô, ůoknô, krôva*. Дифтонг *ůо* во многих говорах изменился в *ůō*, откуда далее *oē* с одной стороны (ср. тотемское *ōō* вм. *ůо*), *ūe, iē*, с другой (в одних говорах *koēza, noēs, broēda, poēle*, в других *niēga, kriēva*).

Подобное же явление известно в кашубских говорах, где первоначальное *о* переходит после губных и задненёбных в *ö* (диалект. *ue*). В нижнелужицком на месте *о* является дифтонг *uo* (пишется *ó*) в ударяемом слоге после губных и задненёбных, когда за ним не следует другой губной или задненёбной согласной: *bósy, wóla, gódy, kóza, góra, chódota* (E. Mucke, Hist. und vergl. Gramm., стр. 99).

Предложенное нами выше определение великорусского диалектического перехода *о* в *ůо* оказывается неточным, если мы обратимся к фактам. Рядом с *стуол, дęўор, пўоп, мўой, кўошка, мнўого, нўоша, вуоля, колесўо, строўон, корўова, вотўовы* находим *дом, говор, нос, бох, воск, дóрого, зóрод, стóрону, сковороду, слово, лошать, дома, пояс, позван, голосам, сокал* и т. д. Следовательно, далеко не всякое *о* подвергается под ударением дифтонгизации. Очевидно, при предложенном определении *о* переходе *о* в *ůо* под ударением необходима какая-то оговорка, дополнительное указание, разъясняющее, почему ударяемое *о* в некоторых случаях остается без изменения. Ближайшее рассмотрение случаев, где *о* под ударением сохраняется без изменения, показывает, что все они имеют место только в односложных словах и в начальном слоге слова. Напротив, в слогах неначальных *ůо*, *ô* составляет общее правило вместо *о*.

Брок привел несколько случаев, где *о* ударяемое оказывается в неначальном слоге; но все эти случаи специально им оговорены; все они признаны им вторгшимися из других диалектов, из городской речи; так форму *d'ev'anôstoi* при *d'ev'anôsto* он оговаривает как не принадлежащую местному говору, также *rožostvô* и другие явно заимствованные слова; оговорены также *dorôg'i* при обычном *dorôga, motôta, porôta* при *motôta, porôta, davnô* при *davnô*. Виноградов дает с *о* слова *угодник* и *камод*: первое заимствовано из церковной речи, второе слово иностранное. Тростянский дает *о* в окончании род. падежа местоимений (*у нево́, твоёво́*): но здесь *о* правильно, ибо ему не предшествовало согласной; далее находим у него *о* в иностранных словах: *кантóри, палуштóх*; неясны формы *маладóй* р. ед., *раднóй* д. ед.; *младóй* д. ед.; но возможно, что *-ой* идет из формы род. ед., где оно восходит к-*ый* (*маладóй* из *маладый*, *маладые*). Засим остаются: *нихто* и *порóдила* с непонятными *о* (*порóдила* б. м. под влиянием **рóдил, рóдила*). У Машкина *Фидора* мы объяснили выше как книжное заимствование; твор. ед. *пилиною* б. м. надо читать как *пилинóю*, а *и* (не *я*) в предшествующем слоге объяснять тем, что слово *пилина* книжное заимствование. Непонятными у Машкина исключениями являются только *сибрóвшина* (при *сябровшина*) и *пирхóта*. Окончание *о* в род. *ěго, у ниво* и т. д. правильное.

Итак, *о* на месте исконного *ó* не в начальном слоге является в совершенно единичных случаях в наших основных источниках. Мы вправе заключить, что в неначальном слоге *ó* заменяется через *ůо*, *ô* в исследуемых говорах систематически.

Между тем в начальном слоге и в словах односложных находим колебание: в одних случаях видим *о*, в других *ůо*, *ô* (см. выше). Появление *ůо*, *ô* вместо *о* стоит в связи с ударяемостью *о*; это обстоятельство ведет к естественному предположению, не стоит ли появление *ůо*, *ô*, с одной стороны, сохранение *о*, с другой, в зависимости от древнего различия падавших на *о* ударений. Если обратимся к ударениям общеславянского праязыка, восстанавливаемым в их природе путем сравнительного изучения сербско-хорватского и словенского языков, то убедимся, что в середине слова ударение на звуке *о* (как вообще на всех гласных звуках) имело во всех случаях один общий характер, приводивший в словенском языке к восходящему ударению на удлинившемся *о*; в конце слова ударение было однородно с ударением середины слова, что видно из перехода в слов. языке резкого ударения в конце слова в восх. ударение, как только ударение оказывается не в конечном слоге (случаи как *dohȍd — dohȍda, pȍtȍk — potȍka, sęnokȍs — sęnokȍsa* и т. д.). Следовательно, можно допустить, что в общеслав. праязыке ударение на *о* (как и на *е*) в конце слова и в середине имело восходящий характер. В начальном

слоге слова, как это ясно из того же словенского языка, ударение на *o* могло быть в общеславянском не только с восходящим характером (ср. восх. ударение ′ или ` в словенских словах: *bòb*, *dvòr*, *pòd*, *pòp*, *nôsiš*, *glóješ*, *pôḷeš*, *nǫ́ša*, *vǫ́ḷa*, *kǫ̂ža*, *môj*), но и с нисходящим характером (ср. нисх. ударение на односложных словах в словенском с удлинившимся *o*; *bǫ̑g*, *dǫ̑m*, *pǫ̑t*, *rǫ̑g*, *nǫ̑s*, *nǫ̑ht*; в словах неодносложных ударение нисходящее переносилось в словенском на следующий слог: *bogâ*, *vodǫ̑*, *povẹ̑st* и т. д.). Обращаясь к великорусским говорам, представляющим на месте *o* звук *u̯o* или *ô*, видим, что *u̯o*, *ô* заменяет *o* вообще только тогда, когда в словенском на *o* стоит ударение восходящее ′ или `, напр. *s'ōnokôs*, (Брок), *pôp*, *dvôr*, *głôžōš*, *pôl'ōš*, *vôl'a* (Брок), *кôжа*, *мôй* (Мансикка), *нуоша* (Мансикка), *нуо́ся* (Тростянский), *пôт в печке* (Тоньшин); если же словенский язык представляет теперь или представлял раньше звук *o* под нисходящим ударением, такому *o* соответствует в наших говорах *o*, а не *ô* или *u̯o*. Ср. *box*, *nos*, *dom*, *rok* (Брок), *пот* (Тоньшин), *ноготь* (Мансикка, Никольск. у.).

Итак, звук *o* под одним ударением изменялся в великорусских говорах в *u̯o*, *ô*, под другим сохранялся; первое из этих ударений мы определили как восходящее, второе как нисходящее. Как я укажу ниже, различие между обоими ударениями в общеславянском праязыке было еще более значительное: восходящее ударение было по своей природе экспираторным и представляло усиление ударяемого звука, между тем как нисходящее ударение было по своей природе музыкальным, представляя повышение ударяемого звука. В современном русском языке ударение вообще экспираторно; но в ту отдаленную эпоху, когда происходило интересующее нас явление — дифтонгизация *o*, русский язык, очевидно, еще сохранял при экспираторных ударениях ударения музыкальные; различие между обоими видами ударения сказалось в том, что под экспираторным ударением *o* подлежало дифтонгизации, а под музыкальным *o* не дифтонгизировалось.

Выставленные здесь положения нуждаются в более подробных и тщательных доказательствах. Во всей полноте такие доказательства могли бы быть представлены только при всестороннем освещении системы общеславянских ударений. Мы не можем заняться этим здесь, в настоящей работе. Ввиду этого ограничиваем свою задачу: остановимся только на различных видах ударения, свойственных в общеслав. праязыке исконно кратким гласным *o* и *e*. Рассмотрение их даст нам возможность объяснить различие ударений на звуке *o* в современном словенском, а частью и в сербском языке; определение же, в каких именно случаях и словах общеслав. праязык представлял экспираторное (восходящее) ударение и в каких музыкальное (нисходящее) на исконно кратких гласных *o* и *e*, даст нам возможность убедиться в том, точно ли дифтонгизация *o* в великорусских говорах являлась только под экспираторным ударением.

(*Окончание в следующем номере*)

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ТЮРКСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В БОЛГАРИИ

Касаясь проблем тюркского языкознания в Болгарии[1], мы сосредоточим свое внимание на двух аспектах его разработки: во-первых, на изучении северно-тюркских элементов в болгарском языке и прежде всего — этимологии булгарских элементов в этом языке; во-вторых, на изучении османотурецкого и современного турецкого и его диалектов на Балканах, их контакта с болгарским языком и его диалектами, а также судьбы турецких заимствований в болгарском.

Эта вторая область, естественно, имеет более старую традицию: первая языковедческая работа в этой области появилась в 1851 г. в Белграде — это «Краткий турско-българский рѣчникъ и разговорникъ» Пенчо Радова. В этом пособии турецкие слова передаются церковнославянскими буквами; представляя собой ценный источник для исторической фонетики османотурецкого языка, пособие содержит также и первые, хотя скудные и территориально неопределенные, данные о балканотурецких диалектах. Источником для истории турецких диалектов на Балканах служат и все рукописи и печатные материалы, написанные на турецком языке кириллицей; в числе этих материалов следует назвать и турецкие пословицы, изданные позднее Ст. Младеновым (латиницей) и Ст. Чилингировым[2].

Во второй половине XIX в., до национального освобождения Болгарии, был издан ряд учебных пособий по османо-турецкому языку[3]. Интерес к этому языку не пропал и после освобождения, когда были опубликованы как грамматика, так и некоторые небольшие словари[4].

В 1906 г. в Софийском университете при историко-филологическом факультете был открыт лекторий по изучению

---

[1] Тюркологические проблемы истории, текстологической и переводческой работы освещались в нижеследующих обзорах: P. Mijatev, Die Türkologie in Bulgarien, «Jahrbuch der Deutsch-bulgarischen Gesellschaft», 14, 1943; Б. Недков, Ориенталистиката в Софийската народна библиотека, «Годишник на Българския библиографски институт», I (1945—1946), София, 1948, стр. 226—239; Хр. Гандев, Б. Недков, Востоковедение в Болгарии, «Советское востоковедение», 4, 1958, стр. 137—145.

[2] St. Mladenov, Ein Beitrag zum türkischen Sprichwörterschatz, ZDMG, LXVIII, 3, 1914, стр. 687—694; Ст. Чилингиров, Турски пословици, поговорки и характерни изрази, «Изв. на Народ. Етногр. Музей в София» (далее «Изв. НЕМ»), год. II, кн. III и IV, 1922, стр. 157—171; год. III, кн. I и II, 1923, стр. 59—65.

[3] См.: Ст. Вълков, Турски буквар за български юноши, Цариград, 1856, 64 стр.; «Разговори български, гречески-турски-французки-англо-италиански», Цариград, 1858, 39 стр.; «Буквар или първа книга за децата за да учет да четат», Русе, 1865; Ив. П. Чорапчиев, Турско-български буквар, Русчук, 1864, 72 стр.; его же, Буквар на турский язик със забавни прочити, Русчук, 1866, 72 стр. (2-е изд.— 1867; 3-е изд.— 1875); «Турско-български писмовник», сост. С. Д. Поповым, Ив. П. Чорапчиевым, Русчук, 1868 (2-е изд. под заглавием: «Нов турско-български писмовник», Русе, 1873); Т. Хрулев, Самоучител за турский язик, Виена, 1861, 32 стр.; Й. Груев, Начална книга за османски език, Цариград, 1864, 64 стр. (2-е изд. перераб. и доп.— 1867; 3-е изд.— 1879); его же, Османска граматика, Цариград, 1864, 244 стр. (сост. по «Каваиди османие» Фуада паши и Джевдет ефенди; 2-е изд.— 1867); «Граматика за турский език», ч. I и II, Русчюк, 1871, 122 стр. (2-е перераб. изд., Цариград, 1874); И. Цвятков, Примери за краснописание на българский язик, турски, френский, гръцкий, Цариград, 1870, 16 стр.; см. также: Г. Папучев, Турский язик в нашите училища, «Източно време», II, 20, 28 юни, 1875, Ст. П. Илиев, Д. В. Хранов, Словар французко-българско-турски, Русчюк, 1868, 287 стр.

[4] Ст. Тилков, Турски писмовник, 1895; его же, Малък турско-български речник, Солун, 1896, 614 стр.;

османотурецкого языка. Лекции читали сначала Ст. Тилков, а позднее Д. Гаджанов. Гаджанов явился первым исследователем турецких диалектов в северо-восточной и юго-западной Болгарии и в Македонии [5]; он дал также общие сведения о языке гагаузов около Варны, Провадии и Шумена (совр. Коларовград). Преемником Д. Гаджанова в Университете был Г. Гылыбов, которому принадлежит заслуга организации там нового курса по специальности «Турецкая филология»; Г. Гылыбов преподает в университете османотурецкий и современный турецкий; им созданы современные пособия для изучения турецкого языка [6]. В 1952 г. в Софийском гос. университете было создано отделение турецкой филологии, преобразованное в 1959 г. в отделение ориенталистики.

Основы турецкой филологии (как науки) в Болгарии были заложены советскими тюркологами М. Ширалиевым и Х. Мирзазаде в 1953—1954 гг., когда М. Ширалиев читал лекции по введению в языкознание, по фонетике и морфологии турецкого языка и вел спецкурс по турецкой диалектологии, а Х. Мирзазаде прочел курс по турецкой лексикологии. Впоследствии традиции, заложенные советскими тюркологами, были продолжены в Софийском университете их учениками, которые основное внимание сосредоточили на изучении местных турецких диалектов [7].

Немалая заслуга в разработке и укреплении турецкой филологии в Софийском университете принадлежит известному венгерскому тюркологу Ю. Немету, который в 1956 г. в течение месяца читал лекции по истории турецкого и чувашского языков. В 1957—1959 гг. курсы по введению в тюркологию и по истории турецкого языка вел Г. Хазаи (Будапешт). В настоящее время турецкая филология в Софийском университете успешно развивается: отделение ориенталистики подготовляет ежегодно по 25—30 специалистов, которые занимаются как исследованием многочисленных турецких исторических документов и эпиграфических памятников, собранных в библиотеках и музеях всей страны, так и изучением живых тюркских говоров — турецких, гагаузских, татарских.

За последние годы были выпущены в свет пособия по турецкому языку (в основном принадлежащие перу Г. Гылыбова, см. выше), а также 4 словаря [8].

До настоящего времени изучением турецких элементов в болгарском языке занимались слависты. В этом отношении прежде всего следует отметить большой словарь Н. Герова и дополнения к нему

Ем. Ляпчев, Учебник по турски език за втори клас, Солун, 1911, 144 стр.; П. Сарафов, Османска граматика, София, 1906, 352 стр.; его же, Учебник по турски език, II — Синтаксис (в свръзка с чисто турската част от османската граматика), София, 1907, 358 стр.; его же, Ръководство за изучаване турски език с новата турска азбука (пълна граматика с турско-български речник), София, 1933; Ив. Касъров, Турско-български речник, Пловдив, 1929, 272 стр. (до буквы *з*); его же, Турско-болгарски разговорник, Пловдив, 1927, 120 стр.; неизвестного автора: «Türkče-bulgarča muhtasar lügat», Filibe, 1326 h. (1913), 24 стр.

[5] См.: D. G. Gadžanov, Vorläufiger Bericht über eine in Auftrag der Balkan-Kommission an d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Wien durch Nordost-Bulgarien unternommene Reise zum Zwecke der Türkischen Dialektstudien, «Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften». Philosoph.-hist. Kl., Wien, XLVIII, V, 1911, Balkan-Kommission d. k. Ak. d. W. in Wien , 15 стр.; его же, Zweiter vorlaüfigen Bericht über die ergänzende Untersuchung der türkischen Elemente im nordöstlichen Bulgarien in sprachlicher, kultureller und ethnographisher Beziehung, там же, Jg. XLIX, III, 1912, 8 стр.; его же, Мюсюлманското население в новоосвободените земи (рукопись, хранящаяся в Центральной библиотеке БАН, сигнатура: 1/289); его же, Изучаване на Македония в етнографско и диалектоложко (турски диалекти) отношение. Ограничено издание на Географския ин-т за Официална България през 1916.

[6] Г. Д. Гълъбов, Турска граматика, София, 1949, 399 стр. (2-е изд.— «Граматика на турски език», София, 1957); его же, Помагало за изучаване на турски език по арабската азбука, София, 1952, 48 стр. (2-е изд.—1954).

[7] См., например: M. Mollova, Les *ga*-dialectes turcs dans les Balkans et leur rapport avec les autres langues turques, «Linguistique Balkanique», IV, Sofia, 1962, стр. 107—130; ее же, Le futur dans un parler turc de Bulgarie, там же, V, 2, 1962, стр. 87—97; ее же Contribution aux études de tabous linguistiques, RO, XXIV, 1, 1960, стр. 27—41 и др.

[8] «Турско-български речник», съставили Н. Ванчев, Г. Гълъбов, Г. Класов, Т. Попов и В. Шанов под ръководството на акад. Ст. Романски, София, 1952, 656 стр. (2-е изд.— 1962); «Българско-турски речник», под ред. на Ст. Романски, Ст. Илчев, Т. Делиорман, София, 1961, 1248 стр.; «Българо-турски учебен речник», под ред. на Г. Д. Гълъбов и Т. Делиорман, София, 1957, 592 стр.; «Военен турско-български фразеологичен речник», под ред. на Ст. Кънев, София, 1960, 292 стр.

Т. Панчева [9], где собраны турцизмы в болгарском языке и его диалектах, не только исторически отжившие и уже не употребляющиеся в болгарском языке турецкие слова, но и архаизмы из турецкого языка и турецких диалектов, носители которых живут на Балканах.

Другой словарь, который также следует отметить,— это «Етимологически и правописен речник...» Ст. Младенова [10]. Здесь составитель-славист отмечает арабское или персидское происхождение слов, попавших в болгарский язык через турецкий. Эта система была принята впоследствии и другими академическими словарями, а также словарями иноязычных заимствований в болгарском языке [11].

Многочисленны отдельные этюды по этимологии турцизмов в болгарском языке [12], италианизмов и различных романских слов, проникнувших в болгарский язык через турецкий [13].

Семантической классификацией турцизмов, как и кальками с турецкого на болгарский язык занимался Б. Цонев [14]; на фразеологические кальки с турецкого на болгарский обращал внимание еще в

---

[9] Н. Геров, Речник на българскый език с тлъкуване речи-те на българске и на руски, I—V, Пловдив, 1895—1904; Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, Пловдив, 1908.

[10] Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език, София, 1941.

[11] См.: Ст. Младенов, Речник на чуждите думи в българският език, София, 1932 (2-е изд.— 1943; 3-е изд.— 1947); А. Милев, Й. Братков, Б. Николов, Речник на чуждите думи в българския език, София, 1958, 743 стр.

[12] Ст. Младенов, Забележки върху етимологията на някои турски и гръцки думи в един дамаскин, «Годишник на Софийския ун-т», Ист.-филол. фак-т, XXII, 7, 1926; его же, Еснафдаш. Бележка към българския речник и словопроизводство, «Списание на Българската Академия на науките». Клон историко-филол. и философско-обществен (СпБАН), XX, 11, 1921, стр. 183—186; его же, Езиковни бележки, «Учителски вестник», XVIII, 1925, стр. 183—185; его же, Деребей, не «Дери-бей», «Родна реч», II, 3, 1929, стр. 156—157; его же, Каричева краска, «Учителски вестник», XIII, 7, 1915, стр. 111—113; его же, Тарикат, тарикатин, тарикатски, «Родна реч», XIII, 1, 1939, стр. 49; его же, «Карякон», караконджол,— развалено он «дракон»!, «Родна реч», VIII, 2, 1934, стр. 76—78; его же, Значение на Родопската област от гледище на българската езикова история, «Родопски преглед», III, 3, 1932, стр. 81—84; его же, Първите книжки от «Руския етимологически речник» на проф. М. Фасмер, БЕ, II, 3—4, 1952, стр. 291—293; St. Mladenov, Die bulgarische Sprachwissenschaft 1914—1924, ZfslPh, II, 1925, стр. 512—514; его же, Etymologisches aus einer kurzgefassten Geschichte der bulgarischen Sprache, СпБАН, XLIII, 21, 1930, стр. 93—122; его же, Ein persisches Lehnwort durch türkische Vermittlung im Slavischen, AfslPh, XXXVII, 1920, стр. 286—287; Ст. Младенов, Бележки върху новонайдения надгробенъ надписъ на Видинската болярка Станислава, СпБАН, XLVIII, 23, 1934, стр. 246—249; Хр. Кодов, Още няколко забележки върху етимологията на някои турски, гръцки и др. думи в един български дамаскин, «Slavia», IX, 2, 1930, стр. 257—268; П. Д. Скорчев, Бележки върху етимологията на някои народни земеделски термини, БЕ, VI, 3, 1956, стр. 279—280; его же, Чуждата дума в нашата кухня, БЕ, VI, 2, 1956, стр. 158—169; его же, Боклуджа дере и Шумен, БЕ, V, 3, 1955, стр. 253; М. Москов, Към въпроса за персийско-турските думи в българския език, БЕ, X, 4, 1960, стр. 357—359; его же, Българската дума *«хаван»*, «Езиковедско-етнографски изследования в памет на акад. Ст. Романски», София, 1960, стр. 404; А. Арнаудов, За думата «тлаканá», там же, стр. 407—408; Вл. Георгиев, Из историята на нашите думи — *рога*, *гюл* и *трандафил*, БЕ, I, 3—4, 1951, стр. 217—219; Ст. Илчев, *Кибрит*, БЕ, III, 4, 1953, стр. 369—371 его же, *Ски*, там же, стр. 371—372; его же, Лексикален ситнеж, БЕ, XI, 4, 1961, стр. 336—337; П. Минтев, «Пазвантоолу» и за произхода на думата «пазвант», «Родна реч», XII, 5, 1938. стр. 227—228; Ив. Гълъбов, Етимологически бележки. 1. *Герест*, диал. *гердзе се*, *гердзиш се* «гиздя се», БЕ, IX, 1, 1959, стр. 67—68; К. Младенов, Произход на името *каракачанин* в нашия език, БЕ, X, 2—3, 1960, стр. 248—250.

[13] Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български (1762—1866), «Годишник на Софийския ун-т». Филол. фак-т, LII, 2 (1956—1957), 1959, стр. 201—312; его же, Исторически бележки за няколко романски думи в български, там же, стр. 119—125; А. Спасова, Италиански заемки в български език минали през турски, «Известия на Института за български език», II, София, 1952, стр. 226—227.

[14] Б. Цонев, Турски думи в български език, «Годишник на Софийския ун-т». Ист.-филол. фак-т, XXV, 4, 1929, 16 стр.

XIX в. болгарский писатель и просветитель П. Р. Славейков[15].

Ст. Младенов при помощи оригинального метода, который основывается на принципах аллитерации, открыл первичность некоторых турецких поговорок по отношению к соответствующим болгарским[16].

В области ономастики остаются пока неисследованными с лингвистической точки зрения материалы по топонимике Болгарии периода XV—XVIII вв., выбранные Р. Стойковым из различных османотурецких памятников[17], а также извлеченные П. Миятевым фамильные имена турецкого происхождения с указанием турецких соответствий[18]. В то же время почти во всех статьях и монографиях по болгарской ономастике, изданных в Болгарии, отводится место и тюрцизмам[19]. Фонетическими изменениями болгарских местных названий при освоении их в турецком языке занимался Ат. Т. Илиев[20]. Вл. Георгиев и Й. Заимов останавливались на вопросе о проникновении в болгарский язык некоторых словообразовательных турецких морфем[21]. О влиянии турецкой глагольной системы на систему болгарского глагола писал Л. Андрейчин[22], а о фонетическом влиянии турецкого языка на болгарский говор села Триград упоминал М. Младенов[23].

Болгаристы занимались и судьбой турцизмов в болгарском языке, главным образом, с точки зрения очищения болгарского языка от турцизмов[24].

---

[15] П. Р. Славейков, Български притчи или пословици и характерни думи. I — Пловдив, 1889; II — София, 1897.

[16] Ст. Младенов, Бележки за алитерацията (засловно съзвучие) в българската народна съсловност с особен оглед към пословиците и поговорки от турско потекло, «Годишник на Софийския ун-т». Филол. фак-т, XXXV, 1939, 78 стр.; его же, Турско-български успоредици в областта на гатанките, «Изв. НЕМ», VII, кн. I—IV, София, 1927, стр. 115—120.

[17] Р. Стойков, Селищни имена в западната половина на България през XVI век, «Езиковедско-етнографски изследвания...», стр. 429—457; его же, Наименования на български селища в турски документи на Ориенталския отдел на Народна библиотека «В. Коларов» от XV, XVI, XVII и XVIII век, «Известия [на Народна библиотека «В. Коларов» и на Библиотеката при СДУ] за 1959 год», I (VII), София, 1961, стр. 363—488; его же, Нови сведения за миналото на български селища през XV и XVI век, «Исторически преглед», XV, 6, 1959, стр. 77—88.

[18] П. Миятев, Български прякорни имена от турски произход, «Родна реч», X, 1933—1937, стр. 143—151; XI, 1937—1938, стр. 20—23, 101—110; его же, Още български прякорни имена от турски произход, «Родна реч», X, 1936—1937, стр. 202—207.

[19] См., например: Вл. Георгиев, Българска етимология и ономастика, София, 1960, стр. 36, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 62, 63, 64, 132; его же, Речни имена: *Гюрля*, *Ерма*, *Резовска река*, *Царацар*, *Ширин*, БЕ, IX, 4—5, 1959, стр. 353—356; Ив. Дуриданов, Местните названия от Ломско, София, 1952, стр. 167—168; Й. Заимов, Местните имена в Пирдопско, София, 1959, стр. 86—90, 93—94; Н. П. Ковачев, Местните названия от Севлиевско, София, 1961, стр. 36—38, 81—86, 101—102, 110—111; К. Т. Бозвелиев, По въпроса за имената на Неофит Бозвели, «Родна реч», III, 1929—1930, стр. 122—126; Ст. Илчев, Произход и форма на някои собствени имена, БЕ, IX, 4—5, 1959, стр. 419—420; В. Михов, Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места, София, 1943, стр. 92—96.

[20] Ат. Т. Илиев, Турски изговор на български местни имена, СпБАН, XVI, 8, 1917, стр. 103—128.

[21] Вл. Георгиев, Заемане на морфологични елементи, «Сборник в чест на Акад. Ал. Т. Балан», София, 1956, стр. 199—201; Й. Заимов, Етимологични бележки, БЕ, III, 2, 1953, стр. 171—172; см. также: Ст. Стефанов, Към въпроса за значението на наставката *-джия*, БЕ, XII, 4, 1962, стр. 326—329.

[22] Л. Андрейчин, Въпросът за националната самобитност на езика, «Известия на Института за български език», II, София, 1952, стр. 39—45.

[23] М. Сл. Младенов, Съгласна Ч в говора на село Триград, Девинско, БЕ, XI, 5—6, 1961, стр. 458—463.

[24] «Речник на думи турски и гръцки в языка български», сост. М. Павлевым, Букурещ, 1855, XII+62 стр., Т. Т. Хрулев, Краткий речник на чужестранните речи, които ся нахождат в българский език, Браила, 1863, 26 стр.; Ц в. Македонска, Отношението на Петко Славейков към турцизмите в българския книжовен език, «Известия на Института за български език», II, стр. 223—225; К. Ничева, Към историята на лексиката на българския книжовен език (Маргиналии бележки в ръкописните творби на Софроний Врачански), «Славистичен сборник», София, 1963, стр. 183—191; М. Москов, Борбата против чуждите думи в българския книжовен език, София, 1958, стр. 7—16; Ст. Младенов «Елпезе» — «евентайл» — ветрило, «Българска реч», I, 5—6, 1921, стр. 87—89 его же, Не «карпуз» и «пъпеш», а любеница и диня, «Родна реч», VI, 3—4,

Изучение севернотюркских языковых элементов началось с расшифровки булгарских каменных надписей в Болгарии. Первыми чтецами и толкователями этих надписей были преимущественно эпиграфисты-византологи, например Ив. Венедиков[25] и особенно В. Бешевлиев, который в известном последнем своем труде о протобулгарских надписах суммирует все исследования по булгарским эпиграфическим памятникам, открытым до сих пор в Болгарии, и опираясь на новейшие болгарские и зарубежные исследования в области булгаристики, поновому трактует многие явления булгарской фонетики и лексики[26].

В болгарском языкознании Ив. Шишманов первым утвердил филологическоязыковедческое отношение к булгаризмам в современном болгарском языке[27]. Ив. Манолов выдвинул гипотезу об урало-алтайском происхождении булгаризмов[28]. Серьезный обзор и анализ булгаризмов в болгарском языке был прове-

1933, стр. 157—159; е г о ж е, Санким, чунким, хелбете, там же, IV, 5, 1931, стр. 231; е г о ж е, По-добре обзалагам со, а не «хва щам се на бас», там же, IX, 5, 1936, стр. 230; е г о ж е, Не «кафез», а клекта!, там же, XII, 1, 1938, стр. 30; е г о ж е, Пестник, а не «юмрук», там же, XIII, 4, 1940, стр. 198—199; е г о ж е, Съществително «далгà» («дългà») като заместник на вълна? там же, XVI, 3—4, 1943, стр. 156—157; е г о ж е, Мек тютюн, меки цигари, а не «яваш», там же, V, 3—4, 1932, стр. 148; К. М и р ч е в, Съпротивата на българския език срещу насилствената турска асимилация, БЕ, III, 3, 1953, стр. 209—215; е г о ж е, За съдбата на турцизмите в български език, «Известия на Института за български език», II, стр. 117—127; Ц в. В р а н с к а, Турските наименования на отвлечени понятия в езика на българския фолклор, там же, стр. 220—222; Л. С т о я н о в, За турцизмите и диалектизмите в българския литературен език, там же, стр. 218—219.

[25] См.: И в. В е н е д и к о в, Новооткритият в Преслав първобългарски надпис, «Известия на Българския археологически ин-т», XV, 9, 1946, стр. 146—160; I. V e n e d i k o v, Trois inscriptions protobulgares, «Разкопки и проучвания», IV, София, 1950, стр. 167—177.

[26] «Die protobulgarischen Inschriften», hrsg. von V. Beševliev, Berlin, 1963.

[27] И в. Д. Ш и ш м а н о в, Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимологиите на името «българин», СбНУ, XVI—XVII, 1900, стр. 666—675.

[28] И в. М а н о л е в, Урало-алтайският произход на българите, «Общ подем», XVIII, 1917; е г о ж е, Аспаруховско-български следи в езика ни, София, 1923, 29 стр.

ден Ст. Младеновым[29], который исследовал также этимологию некоторых куманских собственных имен[30]. В последнее время севернотюркскими элементами в болгарском языке занимаются Ив. Венедиков, Ив. Дуйчев, Р. Севтерски и особенно Вл. Георгиев и Ив. Дуриданов[31].

[29] См.: С т. М л а д е н о в, Вероятни и мними остатъци от езика на Аспаруховите българи в ново-българската реч, «Годишник на Софийския ун-т». Истор.-филол. фак-т, XVII, 1921, стр. 201—288; е г о ж е, Към етимологическато обяснение на думата болярин, «Университетски сборник в чест на С. Бобчев», София, 1921, стр. 109—116; е г о ж е, Името българин, «Българска мисъл», II, 3, 1927, стр. 161—168; е г о ж е, Der Name des Flusses Camčija in Nordostbulgarien, «Zeitschr. fur Ortsnamenforschungen», VI, 1930, стр. 70—75; е г о ж е, рец. на: «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. II, 1/2, 1925, в «Известия на Българския археологически ин-т», IV (1926—1927), 1927, стр. 360—365; е г о ж е, История на българският език, София, 1935, стр. 20—24; е г о ж е, Надписът на старобългарските съкровища от Nagy-Szent-Miklós (Банатско), «Годишник на Нар. Музей за 1922—1925», София, 1926, стр. 362—378; е г о ж е, Томсеновият опит за превод на найдългия надпис на старобългарското съкровище от Nagy-Szent-Miklós, СпБАН, XXXV, 19, 1926, стр. 61—79.

[30] С т. М л а д е н о в, Към етимологичното обяснение на някои кумански собствени имена, «Известия на Българския археологически ин-т», III, 1925, стр. 241—247; е г о ж е, Oldamur és Eltimir, «Magyar Nyelv», XXI, 1—4, 1925, стр. 31—39.

[31] И в. В е н е д и к о в, Две семантични обяснения, «Известия на Института за български език», 3, 1954, стр. 285—295; И в. Д у й ч е в, Върху някои български имена и думи у византийските автори, «Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов», София, 1957, стр. 157—162; е г о ж е, Имя Аспарух в новооткрытых надписях Грузии, «Archiv orientální», XXI, 2—3, 1953, стр. 353—356; Р. С е в т е р с к и, Принос към етимологията на думите сокай или «сукай», БЕ, VII, 1957, стр. 69—71; В л. Г е о р г и е в, Опит за периодизация на историята на българския език, «Известия на Института за български език», II, 1952, стр. 85—90; е г о ж е, Въпроси на българската етимология, София, 1958, стр. 48; И в. Д у р и д а н о в, Стари тюркски заемки в българския език, «Изследвания в чест на М. С. Дринов», София, 1960, стр. 429—443; е г о ж е, Стара тюркска заемка в южнославянската топонимия, БЕ, XII, 3, 1962, стр. 187—193.

Результаты этих отдельных исследований отражены также в новом этимологическом словаре болгарского языка [32].

Ст. Младенов занимался также вопросами генеалогии тюркских языков. На основе общих черт, которые он выделил в тюрских (алтайских) и индоевропейских языках, Младенов построил, вслед за Г. Суитом, свою ариоалтайскую гипотезу [33], которая была использована им больше всего в его «Етимологически и правописен речник».

Актуальными задачами болгарского тюркского языкознания являются: 1) изучение старых османотурецких рукописей, печатных и эпиграфических памятников; 2) изучение турецких языковых памятников, написанных кириллицей; 3) изучение живых тюркских говоров в стране (и эвентуально — составление малого атласа турецких диалектов в Болгарии); 4) изучение турецко-болгарских языковых отношений (билингвизм, взаимные влияния). Последняя проблема представляет собой часть балканского языкознания, разработке которой в последнее время уделяется большое внимание, о чем свидетельствует создание сектора «Балканского языкознания» в Институте болгарского языка Болгарской Академии наук и специального периодического издания — сборника «Балканско езикознание».

[32] Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, Български етимологичен речник, Свезка I — София, 1962, свезка II — София, 1963.

[33] Ст. Младенов, Морфологическа и генеалогическа класификация на езиците с оглед към индоевропейските и уралоалтайски езици, «Въпроси на езикознанието...», София, 1951, стр. 139—155; St. Mladenov, Eléments et traits communs aux langues indo-européennes, turques et mongoles (sur l'hypothèse nostratique de M. H. Pedersen et l'hypothèse ario-altaïque de H. Sweet), «IV Congrès international de linguistes. Copenhague, 1936. Résumés des communications», København, 1936, стр. 70—72; его же, Gemeinsame Eigentümlichkeiten und Elemente der indogermanischen, türkischen und mongolischen Sprachen, Сп БАН, LV, 27, 1937, стр. 149—196.

М. Моллова (София)

Перевела с болгарского *Т. В. Попова*

РЕЦЕНЗИИ

G. Hüttl-Worth. **Foreign words in Russian.** A historical sketch, 1550—1800.— Berkeley — Los Angeles, University of California press, 1963. 312 стр. («University of California, publications in linguistics», XXVIII).

Лексикология в целом и лексикология русского литературного языка в частности представляет собой одну из еще недостаточно разработанных областей языкознания. Результаты имеющихся исследований по лексике русского языка недостаточно используются в лексикографической практике. Сочетание принципа нормативности с принципом историзма, безусловно, представляет большие трудности. С этим постоянно приходится сталкиваться в практике составления словарей. К сожалению, однако, имеющиеся данные подчас используются недостаточно полно, даже если отсылка к ним и не противоречит избранному составителями словаря принципу подачи сведений по истории слова. Так, например, в «Словаре современного русского литературного языка» слово *наука* приводится с указанием: Поликарпов, Лекс. 1704, хотя оно зафиксировано еще в словаре Берынды 1627 г.; там же находим *искусство*, *педагог*, *педагогия*, *практика* и др., где в ссылках отмечены более поздние словари. Неясным остается смысл таких ссылок без учета разных значений слов. Так, например, у существительного *наука* отмечено шесть значений, но нельзя считать, что приводимое в отсылке слово *наукъ* из словаря Срезневского уже имело все эти значения. Первое из приведенных значений развилось в русском языке только в XVIII в.; еще в «Лексике» Поликарпова — Орлова 1704 г. приводится только: *наука всякая*, μάθησις, ἐπιστήμη, μάθημα, δίδαγμα, διδασκαλία, *ars*, *doctrina*, *studium*, *disciplina*, *documentum*, *scientia*; *наука свободная*, ἐγκυκλοπαιδία, εγκύκλιος, παιδία, *encyclopaedia*, *ars liberalis* [1].

[1] Подробнее об этом см.: ZfS, VIII, 4, 1963.

Создание словаря русского литературного языка, в котором систематическое описание словарного состава сочетается с выяснением исторических закономерностей его развития — дело будущего. Поэтому следует приветствовать появление исследований, где представлены результаты тщательного просмотра различных текстов с целью установить период возникновения отдельных слов и групп слов и проследить развитие их значений. Таким был труд Г. Хютль-Уорт о неологизмах и семантических изменениях, связанных с воздействием других европейских языков, в лексике русского литературного языка XVIII в.[2].

Новая книга Г. Хютль-Уорт об иностранных словах в словарном составе русского литературного языка 1550—1800 гг. заслуживает не меньшего внимания. В лингвистической литературе в последнее время трактуются вопросы классификации заимствованной лексики и особенно проблема так называемых интернационализмов. Результаты рецензируемой книги подтверждают тезис П. Я. Черныха о том, что одним из «застоявшихся» мнений «можно считать мнение, будто русский язык XVI—XVII вв. отличался от русского языка более позднего времени... и в том отношении, что иностранные, западноевропейские слова тогда совсем или почти совсем не употреблялись, что они хлынули в наш язык только с началом петровских реформ»[3]. В теоретической части книги на основе значительного по объему языкового материала рассматриваются важнейшие вопросы внедрения иностранных слов в русский язык. Автору приходится затрагивать и более ранние периоды истории русского языка, но в основном его внимание сосредоточивается на западноевропейских заимствованиях[4] 1550—1800 гг. Г. Хютль-Уорт ставит своей первой задачей определение того, каким путем иностранные слова проникли в русский язык. Вторая задача — определение точной даты вхождения этих слов в литературный язык. Определение пути и даты внедрения слова осложняется тем, что, во-первых, многие из заимствованных слов встречаются в разных языках, которые оказывали непосредственное и опосредствованное влияние на русский язык; во-вторых, написание, суффиксация, а также род и ударение слова могли меняться под влиянием языка-посредника. Особое внимание уделяется роли польского, белорусского и украинского языков в процессе заимствования (заимствования через посредство родственного языка легче ассимилируются). Теоретическая часть книги заключается главами, трактующими о распределении и адаптации иностранных слов.

Вторую часть составляет словарь иностранных слов. Жаль, что, видимо, запланированный объем книги не позволил зарегистрировать все фактически имеющиеся в русском языке этого периода иностранные слова (приблизительно половина словаря Фасмера — иностранные слова). Словарь (стр. 55—123) охватывает лишь часть найденного автором материала. Преимущественное внимание уделяется: 1) иностранным словам, которые не приводятся в словаре Фасмера; 2) иностранным словам, которые приводятся у Фасмера без даты; 3) иностранным словам, для которых найдена более ранняя фиксация; 4) уточнению путей внедрения отдельных слов; 5) дериватам и вариантам, отсутствующим у Фасмера. Приводятся замечания культурно-исторического характера (см. стр. 6, 7). Как правило, устаревшие для современного русского литературного языка слова приводятся только в случае их наличия у Фасмера, если автору удалось найти более точные сведения[5]. Таким образом, этимологический словарь Фасмера является в общем отправной точкой рецензируемого исследования.

Из текстов XVI и XVII вв. к исследованию привлечены: сборник Тихонравова «Русские драматические произведения 1672—1725», I—II, СПб., 1874; Иван Вишенский, Сочинения (до 1620), М.—Л., 1955; разные статейные списки (Микулина, Потемкина, Воронцова и др.); «Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466—1472 гг.»; сочинение Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666—1667); Сочинения Пересветова, и др. Использованы также материалы словарей: Лаврентий Зизаний, Лексис сиречь речения..., Вильна, 1596 (на стр. 131 встречается опечатка: 1956 вместо 1596); A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, и др. Можно было бы показать, что не представлен ряд важнейших произведений XVI—XVII вв., но в основном эта не вина автора. Число изданий древнерусских памятников литературы, стоящих на уровне современных научных требований, весьма ограничено[6]. Не-

[2] G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956.

[3] П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии, М., 1956, стр. 235.

[4] Германские, скандинавские, финские и другие иноязычные слова затрагиваются автором лишь попутно, поскольку соответствующий материал приводится в обширных монографиях.

[5] Строго говоря, полонизмы типа *валка*, *лист* «письмо», *радити* и др., которые часто встречаются в русских источниках XVI—XVII вв., нужно считать иностранными словами этого периода.

[6] В числе труднодоступных источников назовем хотя бы произведения Елагина

редко «для облегчения работы над документами» тексты даны в переработанном виде, что, конечно, препятствует точному определению появления слова. Правда, за пределами внимания автора остались произведения, изданные в сравнительно хорошем виде (например, Послания Ивана Грозного, М.— Л., 1951). Несколько дополнений такого рода будет сделано ниже.

Из 860 приведенных в словаре иностранных слов свыше 230 отсутствует в списках Фасмера. Сюда относится ряд интернационализмов, например: *аллегория*, *атом*, *декорация*, *деповит*, *дифтонг*, *коллекция*, *комментарий*, *метаморфоз*, *нектар*, *организация*, *субъект* и др.; ряд имен, например: *Альбион*, *Америка*, *готтентот*, *Марс*, *Медуза*, *Нептун* и др.; несколько титулов, например: *виконт*, *дон*, *донья*, *леди*, *лорд*, *пэр* и др. Вносятся значительные коррективы в приводимые Фасмером данные. Более чем для 320 иностранных слов, приведенных Фасмером без даты, даются указания на источники или первоупотребление в словарях. Сюда относятся, например: *алебарда* (1567), *граф* (1567), *дервиш* (1570), *клиент* (1673), *пеликан* (1596), *провинция* (1674), *текст* (1644) и др. Свыше 100 иностранных слов, определяемых в словаре Фасмера как заимствования XVIII в., возводятся к более раннему времени, например: *адмирал* (1567), *аптекарь* (1582), *гимназия* (1670), *инструмент* (до 1620), *кандидат* (1673), *миллион* (1596), *театр* (1685) и др., а около 20 иностранных слов, которые по Фасмеру возникли только в XIX в., встречаются уже в произведениях XVIII в., например: *имам* (Кантемир вместо Толстого), *пунш* (Карамзин вместо Пушкина), *роман* (Новиков вместо Пушкина) и др. Ряд иностранных слов, цитированных Фасмером как новообразования, приводится уже в «Материалах» Срезневского, например: *доктор*, *геометрийскый*, *колос*, *материя*, *прокуратор* и др. При этом возникает сомнение, правомерно ли считать некоторые слова иностранными. По моему мнению, нет необходимости видеть разные слова в формах *поручьникъ* (Срезневский, II, 1220—1221) и *поручик* из польск. *poruczník*; это слово встречается в русских источниках, ср., например, в «Повести о Тимофее Владимирском» (около 1500): *Ох, увы, первие бе чиститель и говеин священник и предстатель престолу божию и поручник грешных душ* («Труды отдела древнерусской литературы», VIII, М.— Л., 1951, стр. 301); в Судебнике 1550 г.: *кто за ними стрянчие и поручники* («Судебники XV—XVII веков», М.— Л., 1952, стр. 144); это слово представлено в словаре Берынды 1627 г. («Лексикон словенороський» Памви Беринди, Київ, 1961, стр. 123). Ведь «lieutenant» только специализированное значение. Что касается слова *квасцы*, то видимо, нет оснований отделять его от русск. *квас*.

В словарной статье *пан* Г. Хютль-Уорт приводит дату моложе имеющегося у нее примера: Вишенский (до 1620); Алексей, божий человек (1673), но на стр. 66 книги цитируется Пересветов (1549): *был у нас гетман пан Андрей*. В библиографии (стр. 127—131) приводится и первое издание словаря Берынды 1627 г., ссылки же, однако, в большинстве случаев даются на второе издание 1653 г. Таким образом, большое число примеров можно датировать уже 1627 годом, например: *практика* (стр. 145)[7], *панцырь* (стр. 12), *таблица* (стр. 34, 115), *полиция* (стр. 38), *фигура* (стр. 174), *апелляция* (стр. 70), *мандат* (стр. 84), *педагог* (стр. 104), *конфекты* (стр. 115) и мн. др. Там же находим слова *мунштукъ* (стр. 149; Фасм.: 1666—1667), *декрет* (стр. 141; Фасм.: 1635), *будка* (стр. 55; Фасм.: 1666—1667), *арест* (стр. 122; Фасм.: 1705), *конституция*, *перла*, *грунт* и др., не представленные в словарных статьях Г. Хютль-Уорт.

Как сказано выше, привлечение других источников, без сомнения, может увеличить число иностранных слов или внести коррективы в датировки Г. Хютль-Уорт и соответственно в данные Фасмера. Приведем некоторые дополнения: *титул*, *титло* употребляется в «Беседе Сергия и Германа валаамских» (около 1550): *и для того цареви в титлахъ пишутся самодержцы* (Фасм.: XVII в.; Х.-У.: 1582); в «Посланиях Ивана Грозного» встречаются, например, *серт* «сэр» (стр. 142)[8] 1570: *а владели всем делом твои гости — серт Ульян Гарит да серт; Ульян Честер* (Фасм.: нет; Х.-У.: нет); *вице-* (стр. 203) 1577: *а что пишешься вицерентом* (Фасм.: Петр; Х.-У.: нет); *кумендери* «командир» (стр. 204) 1577: *где кумендери* (Фасм.: Прокопович; Х.: У.: нет); *администратор* (стр. 206) 1577: *а ты писался администратором* (Фасм.: Петр; Х.-У.: нет); *стул* (стр. 33) 1564: *Князь Иван Васильевич Шуйской седит на лавке, локтем опершись об отца нашего постелю, ногу положа на стул* (Фасм.: по Срезн. 1578 вместо 1573); дальше находим там же: *мистр*, *маистр*, *ротмистр*, *пан*, *персона*, *гетман*, *догмат* и др. В «Кратком отвещании Курбского» встречаются производные *диалектический*, *риторский*, *грамматический*: *идеже некоторые человецы обретаются, не токмо в граматических и риторских, но и в*

(ср. рец. Ю. С. Сорокина на кн. Г. Хютль-Уорт «Die Bereicherung...» в ВЯ, 1958, 5, стр. 112).

[7] В скобках указываются страницы «Лексикона» Памвы Берынды (1627) по изданию 1961 г.

[8] Нумерация страниц по изданию 1951 г.

диалектических и философских учениях (Гудзий, Хрест., стр. 300).

В целом и второй труд Г. Хютль-Уорт следует оценить положительно. Как показывает ее доклад на V международном съезде славистов в Софии «Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений» [9], Г. Хютль-Уорт в настоящее время занимается вопросами различных видов калькирования. Она исходит из верного положения, что значительная часть вторичной лексики возникла не путем словообразования на почве отдельных славянских языков, а формировалась при воздействии внешних влияний. Видимо, производные слова следует отнести к калькам в широком смысле слова, например: *наука — научный, научность* и т. д.; именно здесь особенно ярко проявляются связи и взаимодействия между европейскими народами. Решение этих вопросов, как правильно отмечает Г. Хютль-Уорт, требует исследований на широкой сравнительной основе.

К. Габка

[9] «American contributions to the V international congress of Slavists», I, The Hague, 1963.

«Исследования по чешскому языку. Вопросы словообразования и грамматики». — М., 1963. 190 стр.

Тематическое ядро рецензируемого сборника составляют четыре статьи, посвященные некоторым важным вопросам изучения глагола в современном чешском языке. Остальные четыре статьи касаются отдельных вопросов изучения других частей речи.

В статье А. В. Бондарко «Многочисленные видовые корреляции при имперфективации приставочных глаголов в современном чешском языке» (стр. 3—31) на обширном материале, извлеченном главным образом из Академического словаря чешского языка («Příruční slovník jazyka českého» — PS), рассматриваются дублетные формы членов видовых пар, т. е. дублетные формы несовершенного вида (НСВ), соотнесенные с единой формой совершенного (СВ), например, *nadělit* : *nadělet/nadělovat* «раздать : раздавать», и наоборот, дублетные формы СВ, соотнесенные с единой формой НСВ, например, *dohnat/dohonit* : *dohánět* «догнать : догонять». Глаголы распределены по классам; в рамках классов выделяются подклассы на основе формальных соответствий. Преимущественное внимание уделяется анализу семантических отношений между членами таких видовых пар. Помимо полного семантического тождества всех членов, выявляется тождество лишь части значений, что доказывается на дистрибуции дублетных форм. Анализируются также корреляции более сложные, т. е. такие, в которых существуют как варианты СВ, так и НСВ, например, *očichnout/očichat*: *očichávat/očichovat* «обнюхать : обнюхивать», и анализируются тенденции развития таких пар.

Для более полного представления о современном состоянии формальных средств, на которых основана категория вида в чешском языке, следовало бы обратить внимание и на такие видовые пары, в рамках которых дублетные формы не встречаются (см., например, *opsat* : *opisovat* «переписать : переписывать», *vydělat*: : *vydělávat* «заработать : зарабатывать», *vypustit* : *vypouštět* «запустить : запускать» и др.). Несмотря на то, что в чешском языке унифицирующие тенденции выступают менее четко в сравнении, например, с современным русским или болгарским языками, где все вторичные глаголы НСВ, за небольшими исключениями, входят в один класс, тем не менее их можно наблюдать. Продуктивными суффиксами НСВ в современном чешском языке, видимо, можно считать только *-ova-/ -áva-*, вытесняющие остальные средства. Эта основная линия развития теряется у А. В. Бондарко во множестве примеров.

В некоторых уточнениях нуждается анализ дублетных глаголов СВ и корреляций более сложного типа. Здесь следует отличать случаи с полной от случаев с частичной синонимией, например, *odhodit/odházet* : *odhazovat* «отбросить / отбросать : отбрасывать», где *odhodit* имеет значение действия однократного, *odházet* — дистрибутивного, т. е. налицо две самостоятельные видовые пары — *odhodit* : *odhazovat* / *odházet* : *odhazovat* с синкретизмом в плане выражения у *odhazovat*; ср. еще *namáznout* / *namazat* «намазать / намазывать» и др. Последовательное различение глаголов СВ со значением непрерывного целостного действия и итеративных в большинстве случаев снимает вопрос о сложных многочленных корреляциях, которые таким образом распадаются на двучленные с возможными дублетными формами НСВ (ср. у А. В. Бондарко: *odsekat/odseknout*: :*odsekat/odsekávat* «отрубить : отрубать». В основном это касается всей группы *-a-/ -nou-* : *-áva-/-ova-*, ср. *napíchat/napíchnout*: :*napíchávat/napíchovat* «наколоть : нака-

лывать», *odhrabat/odhrábnout* : *odhrabovat/odhrabávat* «отгрести : отгребать» и др. Дублетными парами можно считать глаголы типа *doletět/dolétnout* «долетать», *vystoupit/vystoupnout* «подняться» и некоторые другие. Более осторожно нужно интерпретировать дублетные формы НСВ *-a-/-áva-*; так, *odkvětávat* «отцветать» в сравнении с *odkvětat* может восприниматься как многократный глагол.

Вообще говоря, многочисленность видовых пар с дублетными формами НСВ ставит под сомнение ту точку зрения, согласно которой формы СВ и НСВ являются словоформами одной и той же лексемы. По сравнению с другими морфологическими категориями вариативность здесь, несомненно, гораздо выше, она сближает вид с категориями словообразовательного типа. Отнесение вида к грамматическим (морфологическим), а не словообразовательным категориям базируется в первую очередь на внутреннем единстве видовых значений и синтаксического функционирования видовых форм.

Л. И. Ройзензон в статье «Глаголы с вторичной приставкой *po-* в современном чешском языке» (стр. 32—60) рассматривает глаголы с удвоенными приставками с точки зрения продуктивности отдельных словообразовательных типов и определяет их семантику. Источником служит PS, а также картотека Института чешского языка ЧСАН; приводятся некоторые данные из художественной литературы. Выделяются непродуктивные типы *popřed-*, *popod-*, *popro-*, *popři-*, *pov-*, *ponad-*, малопродуктивные *podo-*, *poob-*, *popře-*, *povz-* и продуктивные *pona-*, *poo-*, *pood-*, *popo-*, *poz-*, *pos-*, *povy-*, *poza-*, *pou-*, *poroz-*. Заметим, что хотя, по наблюдениям Ройзензона, за последние 150 лет в чешском языке не образовано ни одного слова, например, с приставкой *ponad-*, это не является еще доказательством непродуктивности данного словообразовательного типа. Продуктивность представляет собой явление потенциальное; те модели, которые считаются в статье непродуктивными, могут дать окказиональные образования. Ср. приводимые в словаре *ponadhodit*, *ponadzdvihnout* и *ponadzdvihovat*, наряду с которыми в случае необходимости можно образовать еще формы *ponadnést*: :*ponadnášet* «приподнести : приподнимать», *ponadskočit* : *ponadskakovat* «немножко подскочить : подскакивать» и др. Такие формы потенциально существуют, хотя и не фиксируются в текстах художественной литературы и затем в словарях.

В статье выявляется два основных значения бипрефиксальных глаголов с *po-* (на стр. 55 различаются «бипрефиксальные» и «двуприставочные» глаголы — разница между ними не совсем ясна): *po-* со значением частичности и *po-* дистрибутивное. Устанавливается, что *po-* со значением частичности встречается чаще, чем *po-* со значением дистрибутивным (так как оно чаще засвидетельствовано в PS). Однако данные PS, как нам кажется, недостаточно точно отражают степень продуктивности обоих значений. В свое время нами было отмечено, что PS часто не указывает дистрибутивное значение там, где в языковом сознании глагол с *po-* выступает как дистрибутивный[1] (на это обратил внимание также Ф. Копечный[2]). Новый «Slovník spisovného jazyka českého» (SSJČ) представляет уже несколько иную картину; ср., например, *poodlétat* — СВ дистрибутивный наряду с НСВ со значением частичности, *povylézat* с теми же двумя значениями и другие глаголы (в PS у них отмечено лишь значение НСВ), причем для приставок *poz-*, *poza-*, *povy-*, *paroz-*, *pou-* в SSJČ отмечается неограниченная возможность новообразований и примеры приводятся выборочно. Этот пример показывает, что при установлении продуктивности какого-либо средства или словообразовательного типа нельзя опираться на одни только данные словаря, каким бы большим он ни был; нужна еще тотальная выборка значительного количества современных текстов и живое языковое чутье. Для выявления степени продуктивности *po-* со значением частичности и *po-* дистрибутивного было бы целесообразно проверить географическое распространение дистрибутивных глаголов, так как для чеха моравского происхождения они более привычны, чем для чеха из Чехии. По-видимому, Моравия представляет собой промежуточное звено между состоянием в словацком языке с характерными для него дистрибутивами и состоянием в чешской (не считая Моравии) языковой области.

К сожалению, в статье недостаточно учитывается синхронная разложимость глагола на приставку и производящую основу. Отчасти проблематика разложимости затрагивается во второй части статьи, но материал первой части, приведенный без комментариев, представляет двуприставочные глаголы не всегда в верном виде (например, в качестве производных от *dát* приводятся *pona-* и *poz-* — имеется в виду *ponadáti se/ponadíti se* «ожидать» и *pozdáti* «присниться» в PS).

Желательно было бы показать роль перфективации и имперфективации в процессе образования видов, особенно в интерпретации Ю. С. Маслова и А. В. Иса-

[1] См.: H. Křížková, Několik poznámek k distributivnostiv ruštině a v češtině, «Ruský jazyk», VIII, 9, 1958.

[2] См.: F. Kopečný, Slovesný vid v češtině, Praha, 1962, стр. 107 и сл.

ченко. Точнее следовало бы употреблять термин «способы глагольного действия» и определять их типы; например, к дистрибутивным глаголам в статье отнесены не только *povylamovat*, *pozabíjet* и т. п., но также *poponášet* «немножко относить дальше», *pookřívat* «воспрянуть чуточку духом — НСВ», *popocházet* «продвигаться чуточку дальше» и др., т. е. глаголы НСВ со значением частичности. Таким образом, «дистрибутивный глагол» становится довольно расплывчатым, как видно из таблицы на стр. 57; *porozkvětat* считается дистрибутивом НСВ со значением «медленно», *porozsívat* дистрибутивом НСВ «то здесь, то там», *pouhašínat* дистрибутивом НСВ «постепенно», *pouklízet* дистрибутивом НСВ «то здесь, то там», *poumlkat* дистрибутивом НСВ «постепенно» и т. п.

При сопоставительном изучении способов действия в русском и чешском языках целесообразнее было бы, как нам кажется, исходить не из префикса *po-*, а из наличия или отсутствия значения данного способа действия и установления его положения в системе остальных способов. Русский и чешский языки образуют глаголы со значением частичности от глаголов СВ, посредством суффиксации производятся вторичные глаголы НСВ: *pootevřít* → *pootevírat*: :*приоткрыть* → *приоткрывать*; приставки могут не совпадать, но суть дела от этого не меняется. Дистрибутивные глаголы в современном чешском языке образуются, как правило, от глаголов НСВ; следовательно, дистрибутивное значение выделяется на фоне более общего значения результативности, в то время как в русском языке продуктивно также образование дистрибутивных глаголов от глаголов СВ, у которых *по-* результативное значение не вносит: *vynášet* → *povynášet* : *повынашивать*/*повынести*/ *повыносить*. В обоих языках дистрибутивные глаголы относятся к perfektiva tantum.

В статье А. Г. Широковой «О категории многократности в чешском языке» (стр. 61—85) анализируются фреквентативные глаголы. Исследуя возможность образования многократных глаголов в зависимости от семантики исходного глагола и его структурных особенностей, автор еще раз выступает против той точки зрения, согласно которой многократные глаголы в чешском языке являются членом особого видового противопоставления в рамках НСВ [3]. Многократные глаголы, маркированно выражающие повторяющееся действие, представляют собой один из способов глагольного действия в понимании А. Исаченко. Они образуются далеко не от всех семантических групп; в частности, их образование ограничено у глаголов, выражающих переход из одного состояния в другое (*blednout* «бледнеть», *šedivět* «седеть»), у глаголов со значением «быть кем-л. или заниматься чем-л.» (*učitelovat* «учительствовать», *včelařit* «заниматься пчеловодством»), со значением «вести себя так, как на это указывает производящая основа» (*lenošit* «лентяйничать», *papouškovat* «повторять как попугай»), со значением «снабжать предмет чем-л.» (*lemovat* «окаймлять», *solit* «солить») и у большинства глаголов со значением модальным.

Можно согласиться с мнением, что многократные глаголы в чешском языке представляют собой лишь категорию словообразовательного типа, т. е. один из способов глагольного действия. Тем не менее это — словообразовательный тип с неограниченной потенциальной продуктивностью. По-видимому, прав Ф. Копечный, принимающий в основном ограничения структурного характера (например, глаголы на *-nou-*) и лишь в виде исключения ограничения семантического характера. Об этом свидетельствует пробная проверка первичных глаголов, для которых отсутствие многократных образований А. Г. Широкова объясняет причинами семантическими. В первую очередь это глаголы на *-nou-*, не образующие многократных глаголов по причинам структурным; от вторичных глаголов НСВ с тем же значением многократные глаголы потенциально образуются, как правило, без каких-либо ограничений; ср., например, *hasnout* «гаснуть» : 0/*zhasínat* «угасать» : *zhasínávat*; *chabnout* «слабеть» : 0/*ochabovat* «ослабевать» : *ochabovávat* и т. п. Глаголы на *-ě-*, например *hubenět* «худеть», потенциально дают многократные образования, по крайней мере глаголы, бытующие в обиходно-разговорной речи. Ср. возможное *kornatět* «склеротизироваться» : *kornatívat*, *vodnatět* «водянеть» : *vodnatívat* и др. (так как повторять можно действие и нерасчлененное, и расчлененное, и процесс, и состояние: *tepny kornatívají obyčejně*... «артерии склеротизируются обыкновенно...»). Аналогично обстоит дело с глаголами типа *učitelovat*. Многократные глаголы встречаются по крайней мере в прошедшем времени: *dědečkově učitelovávali*, *včelařívali* и пр.; ср. также многократные глаголы от глаголов типа *lenošit*, *opičit se* : *o prázdninách lenošívá* «во время каникул он лентяйничает», *opičívá se po něm* «он обезьянничает». Нормальными можно считать образования от глаголов типа *lemovat* : *matka hodně solívá*, *mastívá*, *škrobívá košile* «мать очень много солит, поливает жиром, крахмалит рубашки» и т. п. Что касается частотности приведенных форм, в Моравии они более привычны, чем в Чехии, что отмечает Ф. Копечный.

Многократные глаголы нужно изучать

[3] См. также рецензию А. Г. Широковой на кн. Ф. Копечного (ВЯ, 1963, 4).

на фоне других форм с узуальным значением; в частности, они сосуществуют с презенсом СВ. Небезынтересно то, что в некоторых группах, для которых А. Г. Широкова причиной отсутствия многократных образований считает семантические особенности исходного глагола, возможно употребление презенса СВ со значением повторяющегося действия: *vždycky zkoprní* «всегда цепенеет», *jablka nám vždycky zčervivějí* «яблоки у нас всегда червивеют» и т. п. Особое внимание нужно обратить на разницу в употреблении прошедшего времени и презенса многократных глаголов. Если инвариантным значением презенса является узуальное действие, то в прошедшем времени это значение иногда отходит на задний план и форма приобретает значение действия давнопрошедшего; иногда она сигнализует предшествование действия в прошлом; ср. пример А. Г. Широковой: *Široká vrata domu, kde bydlívala Kama, byla dokořán otevřena*, форма же *bydlela* не исключает одновременность. Небезынтересно сравнить положение в чешском с серболужицким, где, по наблюдениям Фаски и Михалка, существует особая форма многократного прошедшего времени [4].

В статье Т. А. Ацаркиной «Возвратный глагольный компонент *si* в современном чешском языке» (стр. 86—104) компонент *si* рассматривается в плане грамматическом и стилистическом. Грамматическая функция *si* связывается с возвратным значением; различаются собственно возвратные глаголы и глаголы со значением взаимно-возвратным. На основе некоторых семантических особенностей выделяются четыре типа глаголов с грамматическим *si*; о стилистическом *si* автор считает возможным говорить в тех случаях, где *si* утрачивает связь с местоименным дополнением.

Классификация возвратных глаголов должна опираться на более точные критерии. В частности, нужно устранить формулировки вроде: «Значение компонента *si* как дополнения у этих глаголов очевидно, равно как очевидна и грамматическая целостность глагола и *si*» (стр. 94). Весьма плодотворно, например, использование возможных субституций и трансформаций, как это на материале болгарского глагола продемонстрировал Г. Вальтер [5]. Выделение групп или подгрупп на основе одной только семантики, не обоснованное формальными приемами, приводит к недостаточно четкому отграничению отдельных типов. Например, в рамках основной группы *mýt si* (*ruce*) выделяются три типа в зависимости от того, направлено ли действие на внешность деятеля, на предметы, отделенные от деятеля, или оно имеет своим объектом физическую личность субъекта. Разница между первым и третьим типом маловыразительна; см. *zlomit si ruku* «сломать себе руку» (1): *kazit si oči* «портить себе глаза» (3). С другой стороны, к одной и той же группе отнесены, например, *vzít si* «взять себе» и *škodit si* «вредить себе», т. е. глаголы с разными возможностями субституции, которая недостаточно используется и учитывается; ср. *vzít si pro sebe*: *škodit sobě*, *vzít si koláč* противопоставлено *vzít mu koláč* (для него)/*vzítmu koláč* (у него), т. е. его калач, в то время как *škodit si* лишено таких параллелей. Таким же образом можно обосновать выделение группы reflexiva tantum *myslet si*, *představit si* и т. п.

Термин «стилистическое *si*» для тех случаев, где утрачена связь *si* с предметом, считаем неудобным. Нужно различать *si* нейтральное в стилистическом отношении и *si* в стилистическом отношении маркированное.

В остальных статьях сборника исследуется проблематика других частей речи.

В статье Г. П. Нещименко «Закономерности словообразования, семантики и употребления существительных с суффиксами субъективной оценки в современном чешском языке» (стр. 105—158) оценочные существительные анализируются с точки зрения продуктивности отдельных словообразовательных типов и средств и возможных сематических модификаций отдельных слов или групп. Устанавливается экспрессивная окраска и стилистическая маркированность отдельных типов. Помимо понятий производящей словообразовательной основы и словообразовательного суффикса, автор пользуется также понятием словообразовательной формы слова, под которой подразумевается совокупность всех формальных (внешних) структурных признаков, отличающих производное слово от слова производящего (автор опирается на работы М. Докулила), и понятием словообразовательной модели, представляющей собой «обобщенное и типизированное отношение между группами однородных с точки зрения своей структуры и семантики парных образований — производящего и производного слов» (стр. 114).

Ограничимся несколькими замечаниями. В перечне фонетических модификаций производящей основы автор по недоразумению приводит чередование *o/ó:citron/citrónek* (по-видимому, под влиянием старого орфографического словаря); вряд ли можно говорить о чередовании *o/ou* в случае *strop/stroupek*

[4] См.: H. Fasske, S. Michałk, Zur Struktur des obersorbischen Tempussystems, ZfS, VIII, 2, 1963.

[5] См.: H. Walter, Die Struktur der reflexiven Verben in der modernen bulgarischen Literatursprache, ZfS, VIII, 5, 1963.

(если это не опечатка; стр. 120); в чешском языке палатальное *l'* не существует, поэтому нет и суффиксов *-ul'a*, *-ul'da* (стр. 127). Оценка отдельных слов опирается в преобладающем большинстве случаев лишь на данные словарей, в первую очередь PS и SSJČ. В отдельных случаях эти данные нуждаются в уточнении; ср., например, названия молодых существ *sýče, prince* (в SSJČ не приводится), *brouče* (SSJČ дает примету «редкое»), *tygře, jelenče* и др., которые приводятся в качестве нейтральной в стилистическом отношении лексики, в то время как *cikánče* имеет помету «редкое» (стр. 138). Этот материал следовало бы проверить дополнительно. Автор сравнивает использование оценочных существительных в русском и чешском языках. Сопоставляя перевод и оригинал «Матери» и «Повести о настоящем человеке», она приходит к заключению, что в чешском языке эти существительные употребляются чаще. Результаты наблюдений нуждаются в дополнительной проверке, так как Л. Брож на основе сравнения оригинала и перевода «Тихого Дона» приходит как раз к обратному выводу [6].

К. К. Трофимович в статье «Продуктивность моделей сложных существительных в чешском языке добелогорского периода» (стр. 172—180) исследует типы сложных существительных и устанавливает продуктивность отдельных моделей путем сравнения данных о частотности по периодам с XIII по XVII в.

Статья Т. И. Константиновой «О структурной и семантической соотносительности форм сравнительной и положительной степени наречий в современном чешском языке» (стр. 159—171) содержит перечень формальных средств для образования сравнительной степени и их семантический анализ. Особое внимание уделяется формам, утратившим в современном языке связь с исходной формой положительной степени.

Наконец, В. Н. Питинов в статье «Из наблюдений над местом деепричастных конструкций в предложении в современном чешском языке» (стр. 181—189) анализирует сложное предложение с точки зрения актуального членения; деепричастные конструкции могут представлять собой исходную синтагму в предложении, но они могут выполнять также функцию синтагмы дополнительной.

Рецензируемый сборник содержит ряд интересных, богатых материалом статей, результаты которых во многом полезны и для чехословацкой богемистики и русистики. Некоторые недостатки частного характера объясняются по большей части тем, что авторы обычно опираются лишь на данные словарей, нуждающиеся в дополнительной проверке.

Е. Кржижкова

[6] См.: L. Brož, Deminutivní a augmentativní substantivní přípony a jejich stylistické využití v Solochovově Tichém Donu, «Československá rusistika», 4, 1961.

В. Г. Адмони. **Исторический синтаксис немецкого языка.** — М., Гос. изд-во «Высшая школа», 1963. 334 стр.

Исторический синтаксис немецкого языка нельзя назвать малоисследованной областью. Усилиями немецких ученых, а также германистов других стран, в том числе советских лингвистов, созданы сотни работ обобщающего и частного характера. Тем не менее некоторые вопросы, в частности развитие структуры предложения и словосочетания, оказались мало освещенными, в результате чего не было показано развитие и становление грамматического строя немецкого языка как системы. Поэтому опубликование последней работы В. Г. Адмони «Исторический синтаксис немецкого языка» вызвало особый интерес среди германистов.

Чем данная работа отличается от предшествующих? Прежде всего тем, что автору удалось представить синтаксический строй как систему в движении. Перед нами оригинальная монография, в которой синтаксическая концепция В. Г. Адмони, знакомая зарубежному и советскому читателю по его многочисленным статьям и крупным работам[1], изложена наиболее систематически и цельно. Большой удачей автора явилось то, что он строго руководствовался принципом «избирательности». Из всего синтаксиса немецкого языка автор избрал процесс развития структурной организации предложения и словосочетания, восполнив тем самым пробел в изучении истории немецкого языка. Раскрыть особенности синтаксического строя автору удалось благодаря применению предложенного им «многоаспектно-доминантного метода исследования»[2] и своеобразного понимания точ-

[1] См., например: В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955; W. Admoni, Der deutsche Sprachbau. Theoretische Grammatik der deutschen Sprache, Leningrad, 1960.

[2] В. Г. Адмони, Партитурное строение речевой цепи и система грамма-

ности языкового исследования, заключающейся в том, что в отношении многих языковых явлений возможно не установление строго фиксированных закономерностей, а «установление ряда взаимодействующих тенденций с осторожным выявлением доминирующей тенденции» (стр. 17). Избраны лишь профилирующие линии развития. В их отборе и выявлении проявилась в полной мере творческая индивидуальность автора. История развития синтаксиса представлена не как масса слабо скрепленных друг с другом фактов, а как реализация определенных закономерностей. В этом плане работа В. Г. Адмони диаметрально противоположна историческим описаниям младограмматического типа, которые справедливо упрекают в «атомизме».

Кратко концепцию автора можно изложить следующим образом. Основной закономерностью, определившей весь ход языкового развития, явилась, в сущности, одна: движение от «спокойного, ненапряженного единства», характеризующего синтаксическую систему древних индоевропейских языков, к «напряженной, собранной структуре», где центральной организующей осью предложения становится уже не один спрягаемый глагол, а более сложное образование — глагольная группа. Эта закономерность определила все остальные линии развития, ибо она проявилась в отношении трех основных единиц языка: слова, словосочетания и предложения. Факты фонологии, морфологии, словообразования, синтаксиса «кооперируют» и движутся как бы в одном направлении, создавая индивидуальный языковой облик. В соответствии с пониманием языковых явлений как многомерных построений автор, оперируя синтаксическим уровнем, не игнорирует низшие уровни. Он сумел показать, что синтаксический уровень вбирает в себя все остальные аспекты, что фонология, морфология и словообразование определяют синтаксическую структуру в ее функционировании и в ее эволюции. Поэтому значительное место отводится характеристике этих сторон языкового строя на каждом этапе его развития. Так, большое внимание уделяется монофлексии в группе существительного, прослеживается судьба генитива. Возрастание роли монофлексии органически связано с широким развитием грамматически невыразительных показателей *-е*, *-еп* и нулевого показателя, а также с появлением «переменных» падежных форм прилагательного и существительного. Различные морфологические особенности глагола и имени способствовали в значительной мере процессу поляризации двух групп в составе предложения — группы глагола и группы имени существительного, явлению, отмеченному также и немецкими исследователями [3]. Доказано, что развитие аналитических форм содействовало увеличению емкости синтаксических образований (словосочетаний и предложений). Проблема объема и организации синтаксических единиц — одна из центральных в работе. При наличии элементов «автономно-собранной» структуры в немецком синтаксисе преобладает «напряженная» структура, которая проявляется в росте обязательной сочетаемости компонентов, обеспечивающих «структурную завершенность» [4] предложения, в увеличении и уточнении специальных служебных слов, в структурной функции порядка слов и рамочной конструкции.

В. Г. Адмони не преувеличивает роли тенденции к «унификации» общих принципов построения слова, предложения и словосочетания, к их структурному уподоблению. Этой тенденции противостоит стремление к взаимному дополнению разных категорий, которое ведет к образованию противоположных черт каждой из них (ср. стр. 9). Материал книги опровергает концепцию О. Есперсена об «экономии языковых средств» как единственно прогрессивном пути развития. В. Г. Адмони превосходно показал несравненно более сложный реальный процесс, в котором сочетаются полярные тенденции: экономия и богатство средств, унификация и разнообразие, укрепление рамочной конструкции и некоторое «разрыхление» строя предложения. В. Г. Адмони показывает диалектический характер в развитии закономерностей, которые осуществлялись не по восходящей прямой, а зигзагообразно, то слабея, то усиливаясь. Некоторые из них прерывались или задерживались в результате процесса регенерации. Регенерация проявилась, в частности, в том, что в XVI в. восстанавливаются склоняемые формы определительного прилагательного, к XVIII в. заканчивается восстановление редуцированного конечного *-е* существительных, побеждает двусоставная структура слова после того, как явно наметилась тенденция к утверждению в языке односоставного слова как основного морфологического типа, и т. д.

При исследовании емкости В. Г. Адмони использует количественный метод анализа, приводя цифровые данные об объеме основных синтаксических единиц в разные периоды развития языка. Впервые описана структура многозвенного предложения, проиллюстрированная при-

---

тических значений в предложении, ФН, 1961, 3.

[3] H. Brinkmann, Die deutsche Sprache, Düsseldorf, 1962.

[4] В. Г. Адмони, Завершенность конструкции как явление синтаксической формы, ВЯ, 1958, 1.

мером одного сложного предложения, состоящего из 45 «элементарных предложений».

Автор широко привлекает исследования по частным вопросам синтаксиса советских и зарубежных авторов, в частности материал многочисленных диссертаций, из которых многие принадлежат его ученикам.

Все указанные положения последовательно проводятся в рецензируемой книге. Она состоит из «Введения», в котором излагаются основные принципы исследования, и двух частей: часть 1 — «Основные этапы развития синтаксической системы немецкого языка», часть 2 — «Развитие структуры предложения и подчинительных словосочетаний».

Первая часть распадается на пять глав, соответствующих пяти периодам в развитии немецкого языка: древневерхненемецкий период, средневерхненемецкий период, первый этап ранненововерхненемецкого периода (конец XIII в. — конец XV в.), второй этап ранненововерхненемецкого периода (XVI—XVII вв.), нововерхненемецкий период (XVIII—XX вв.).

Главы построены однотипно. Описание производится в следующей последовательности: 1) общий характер языка и его памятников в данный период; 2) морфологическая структура слова и его грамматическая выразительность. Омонимия; 3) функционирование морфологических разрядов и форм слов. Синонимия; 4) емкость и основные структурные черты предложения и словосочетания; 5) структура сложного предложения.

Вторая часть содержит три главы: «Развитие структуры предложения»; «Развитие структуры синтаксических групп»; «Развитие системы порядка слов».

Разделение книги на две части не представляется оправданным. Вторая часть не содержит нового материала, кроме истории развития отрицания и числительных, описание которых могло бы найти место в первой части. В остальном вторая часть лишь повторяет основные положения первой части.

Из приведенной выше схемы изложения явствует, какое большое место занимают вопросы грамматической синонимии и омонимии. В историческом труде это сделано впервые. Показано нарастание омонимии в системе склонения имен, начиная с древневерхненемецкого периода [абстрактные существительные с основой на -i(n)], которое в дальнейшем приостанавливается в связи с процессом регенерации.

Синонимия рассматривается в сфере выражения падежных отношений, в частности при выражении общей соотнесенности (генитив, предлоги *ana* и *umbi*, предложные сочетания с указательным местоимением в инструментальном падеже в древневерхненемецком; генитив, относительное прилагательное, предложные конструкции с *von* в средневерхненемецком), а также на материале предлогов, модальных слов и различного рода конструкций.

При использовании синонимических средств важным оказывается стилистический момент, который последовательно учитывается при описании всех периодов.

Однако, несмотря на пристальное внимание к синонимии, сами принципы синонимии остаются нераскрытыми, что приводит к неразличению синонимов и двойных форм (вариантов или дублетов). Например, к синонимам причисляются варианты *in uuâre, zi uuâre, uuâr, giuuâro, in uuâri, giuuâre, uuârlicho* (стр. 52).

Новым для теории синтаксиса является уточнение некоторых основных грамматических понятий. Автор вводит два новых грамматических понятия и термина: «элементарное предложение» и «цельное предложение». Как известно из истории разработки теории сложноподчиненного предложения, большие терминологические разногласия вызывает то, что и сложноподчиненное предложение и его компоненты — главное и придаточное предложения — именуются предложениями. Вместе с тем, как подчеркивает В. Г. Адмони, и главное, и придаточное предложения обладают рядом признаков предложения, причем благодаря изучению их развития особенно ярко выступила органическая близость подчиненных предложений к остальным типам предложений.

Наличие общих главных и второстепенных членов предложения, средства их синтаксической связи, возможность появления различной модальности в главном и придаточном предложениях заставляет автора сохранить за ними, несмотря на ряд структурных и смысловых особенностей, термин «предложение», а именно «элементарное предложение». Элементарным предложением автор называет как самостоятельное предложение, так и главное и придаточное, а также компоненты сложносочиненного предложения. Последние, как известно, до сих пор вообще не имели своего наименования. Вторым термином «цельное предложение» В. Г. Адмони называет каждое предложение, представляющее собой самостоятельное высказывание. Таковым является и самостоятельное, и сложноподчиненное, и сложносочиненное предложения. Этим подчеркивается, что и сложное предложение представляет собой цельнооформленную единицу синтаксиса. Неясно, однако, почему В. Г. Адмони считает главное предложение законченной конструкцией (стр. 105).

К новым понятиям и терминам, созданным В. Г. Адмони, относятся также: «монофлексия» — термин, уже вошедший в

лингвистический обиход [5], «переменные» формы имен (способные менять свое грамматическое оформление в зависимости от общего характера той синтаксической группы, в которую они входят, например, ср.-в.-нем. *truhsaeze des küneges*, но *des künic Guntheres wīp*, совр. нем. *eine Art Fieber*), «регенерация», «автономно-собранная» структура, «напряженная» структура и др. Некоторые из них как «элементарное» и «цельное» предложение, а также «переменные» формы могут войти в практику преподавания языка.

Хочется отметить, что эти термины удачны благодаря своей образности. Образность вообще отличает стиль изложения В. Г. Адмони, поэтому его сложная по содержанию книга читается легко.

Как всякое крупное исследование, рецензируемая работа не лишена недостатков. Помимо вышеуказанных, в ней отсутствует история развития некоторых синтаксических структур (как исчезнувших из языка, так и появившихся в историческую эпоху). Так, не нашли места в описании синтаксиса древневерхненемецкого периода абсолютный дательный [6], формы склоняемого инфинитива *nemannes*, *zi nemanne*. Не прослеживается развитие инфинитивных оборотов с *zu*, *um — zu*, *ohne — zu*, *statt — zu*, конструкции *accusativus cum infinitivo* и др. Нельзя согласиться с трактовкой глаголов *kriegen*, *erhalten*, *bekommen* в сочетаниях типа *Er bekommt das Buch geschenkt* как вспомогательных глаголов пассива (стр. 227), так как здесь допустима трансформация в пассив: *Das Buch wird ihm geschenkt*, а глаголы обозначают действие, совершаемое в пользу субъекта. Умозрительными представляются рассуждения о том, что именные формы глагола, образующие односоставные предложения, возникли в результате опущения спрягаемого глагола. Широкое распространение подобного употребления в других индоевропейских языках допускает и иную трактовку [7].

В целом «Исторический синтаксис немецкого языка» В. Г. Адмони — яркий и оригинальный труд, содержащий законченную и последовательно изложенную концепцию автора, благодаря которой четко выявились самобытные черты немецкого синтаксиса в его динамике. Описание строится на основе лингвистических принципов, далеко выходящих за рамки исторического синтаксиса немецкого языка. В этом плане работа имеет большое общеязыковедческое значение и представляет интерес не только для германистов, но и для лингвистов других профилей.

Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс

[5] О. И. Москальская, История немецкого языка, Л., 1959, стр. 300; H. Brinkmann, указ. соч.

[6] Е. П. Молодцова, Обороты с причастием в древневерхненемецком языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1954.

[7] H. Brinkmann, указ. соч., стр. 278; A. Malblanc, Stylistique comparée du français et de l'allemand, Paris, 1961, стр. 182—183.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

1. В нынешнем году в «Zeitschrift für Assyriologie» (Neue Folge, 22, стр. 150—212) выходит в свет 1 часть («Seele») моего исследования «Die hethitischen Vorstellungen von Seele und Leib, Herz und Leibesinnerem, Kopf und Person»; несколько статей, посвященных остальным понятиям, названным в общем заголовке работы, будут подготовлены для следующих томов указанного журнала. Необходимость такого обширного исследования обусловлена спорностью вопросов, связанных с правовыми представлениями хеттов. Легко доказать, что гипотетическая форма SAG. DU-*zu u̯asta⟨s⟩* «голова согрешила (?)», представленная в позднем хеттском документе законодательного характера [1], не является специальным термином для обозначения деяния, совершенного в полном сознании, и не противопоставляется *keššar-šiš u̯ašta-* «его рука грешит», обозначающему непреднамеренное деяние. Дело в том, что у хеттов голова не считалась центром духовных переживаний, как правильно полагал еще К. К. Риминайдер [2]. Позднехеттское SAG. DU-*aš u̯aštul* «грехи головы», синонимичное с ŠAG. DU-*aš aggatar* «смерть головы», является скорее специальным термином для обозначения «capitalis crimen». Что же касается хеттского понятия души, то оно представлено только в *ištanza(n)*-(= ZÍ в шумерском письме, *NAPIŠTU* в аккадском письме) и обозначает только «душа»; разум; воля (старо-хетт.); желание» (последнее только во фразах типа «то, что принадлежит душе» = «желание» вместо более древнего «то, что принадлежит сердцу» и т. д. = «желание»). Хеттское понятие души нельзя сравнивать ни с аккадским, ни с греческим (гомеровским), ни с латинским. В предлагаемом исследовании разбирается много юридических текстов, а также исследуются юридические понятия (в частности, приводится новый материал для изучения смертной казни у хеттов); религиозная и юридическая терминология хеттов оказались тесно взаимосвязанными.

2. Для опубликования в «Handbuch der Orientalistik» (Abt. I, Bd. II, Lf. 3, Leiden) подготовлена моя работа «Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch» (последний назывался ранее иероглифическим хеттским), которая составит первую часть указанного выпуска. В противоположность планируемой мной «Vergleichende Grammatik des Hethitisch-Luwischen» в своей работе для «Handbuch» я значительно расширяю рамки анализа хетто-лувийского, являющегося представителем особой группы языков, отделившейся от индоевропейского праязыка: при этом критически рассматриваются важнейшие из существующих в настоящее время тезисов, относящихся к разбираемой проблеме. Мои выводы во многих отношениях отличаются от выдвигавшихся до сих пор концепций, ибо я впервые последовательно исходила из указанных древнейших языков хетто-лувийской группы, причем на основании данных всех этих языков мною был реконструирован прахеттолувийский и соотнесен с праиндоевропейским. В связи с тем, что оказалось возможным считать хетто-лувийские языки обычной индоевропейской языковой группой наряду с германскими языками, греческим, индоиранскими и т. д., при формулировке общих итогов исследования удалось получить ряд важных выводов. В частности, в плане ларингальной теории можно констатировать, что в хетто-лувийских языках наблюдается наличие именно тех ларингалов, которые существовали еще в праиндоевропейскую эпоху.

В своем исследовании я с благодарностью использую великие открытия пионеров хеттологии (в частности, первый научно обоснованный хеттский словарь И. Фридриха — 1952 г. и сл.); приходится признать, однако, что до сих пор не существует еще хеттологического пособия,

[1] См.: J. Friedrich, Die hethitischen Gesetze, Leiden, 1959, стр. 90, примеч. 3; E. v. Schuler, Hethitische Königs-erlässe als Quellen der Rechtsfindung und ihr Verhältnis zum kodifizierten Recht, «Festschrift J. Friedrich zum 65. Geburtstag», Heidelberg, 1959, стр. 455 и сл.

[2] «Bibliotheca orientalis», 18, 1961, стр. 28.

пользуясь схемой и материалом которого можно было бы (путем простого переписывания) создать сравнительную грамматику хетто-лувийских языков или «этимологию хеттского языка» (как это полагает возможным уже сейчас Г. Кронассер [3]). Без точного различения трех этапов развития хеттского языка — древнехеттский, раннехеттский и позднехеттский (примерно 1250—1200 гг. до н. э.), — которое И. Фридрих еще не мог провести в своем хеттском словаре, начатом в 1945 г., и, к сожалению, не учел во втором издании своей «Hethitisches Elementarbuch» (I, Heidelberg, 1960), нельзя продолжать работу в этой области.

В первой части моей работы «Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch» освещается современное состояние исследований в области засвидетельствованных в клинописи хеттского, палайского и лувийского языков (при этом использованы различные индоевропейские параллели; к лувийскому языку применена старая гипотеза Форрера), а также рассматриваются исследования хеттского иероглифического письма и лувийских иероглифов. Анализируя использование клинописи у хеттов, мы отмечаем отклонения более старого способа хеттского письма от более нового [1) идеограммы и детерминативы; 2) вокалическое письмо; 3) консонантное письмо и «правило Стертеванта»]. Необходимо считаться с тем фактом, что именно хетты при помощи аккадской клинописи оставили нам первую письменную фиксацию хеттского, палайского, лувийского и хаттского языков; при помощи созданной ими же пиктографии хетты сделали запись образцов иероглифического лувийского. Из этого следует, что при изучении истории письма необходимо учитывать все перечисленные языки (на материале имеющихся текстов) в их хронологической иерархии.

Во второй части работы обсуждаются проблемы родства хеттского, палайского и лувийского языков [до настоящего времени иероглифический лувийский изучался лишь в той мере, в какой он отклоняется от (клинописного) лувийского; эти отклонения особенно значительны в именных и местоименных флексиях]. Здесь дается введение в хеттскую грамматику (включая первый очерк древнехеттской грамматики, составленной на материале изданных до сих пор текстов) и исследуются особенности хеттского языка (структура языка — графические и звуковые особенности — искусственная графика); правила хеттского словообразования; имя — (древне)хеттские парадигмы, использование падежей; местоимение — словообразование и (древне)хеттские парадигмы; глагол — набор различных форм, словообразование и выразительные возможности хеттского глагола; древне- и раннехеттские парадигмы *-mi-* и *-ḫi-* спряжения и медиума.

После изложения методических оснований приводятся доказательства в пользу наличия группы близких друг другу хетто-лувийских языков (общие инновации, общие явления архаизации и потери языковых элементов) и доводы против концепции, согласно которой лувийский язык явился якобы субстратом греческого на территории Греции; при этом используется языковая типология. Делаются попытки вскрыть первоначальное соотношение различных языков в пределах хетто-лувийской группы, а также выявить специфическое развитие хеттского, палайского и лувийского языков в Анатолии (иноязычное влияние; последующие явления потери языковых элементов в отдельных языках хетто-лувийской группы; особые системные образования и изменения унаследованного языкового состояния, наиболее ярко проявившиеся в лувийских языках; тип хетто-лувийских языков в историческую эпоху).

Третья часть моей работы посвящена проблеме индоевропейского наследия в хетто-лувийских языках. На основе изучения хетто-лувийской именной, местоимен-

---

[3] См.: H. Kronasser, Etymologie der hethitischen Sprache, Lf. 1, Wiesbaden, 1962, Lf. 2—1963. Хотелось бы обратить внимание моих русских коллег на то, что предлагаемые Кронассером «резюме» чужих работ в высшей степени ненадежны. Ср., в частности: H. Kronasser, указ. соч., Lf. 1, стр. 81 и сл., особенно стр. 86, 87 и сл., и, с другой стороны, A. Kammenhuber, Studien zum hethitischen Infinitivsystem, «Mitteilungen des Instituts für Orientforschung», III, 3, 1955, стр. 363 и сл.; H. Kronasser, указ. соч., Lf. 2, стр. 127 и сл., и A. Kammenhuber, Protohattisch-Hethitisches, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 14, 1959, стр. 69 и сл.; H. Kronasser, указ. соч., Lf. 2, стр. 212, примеч. 1, и A. Kammenhuber, Zur hethitisch-luvischen Sprachgruppe, KZ, 76, 1/2, 1959, стр. 26 и др. Более объективное резюме Кронассер дает, например, на стр. 140 указ. соч. (Lf. 2), где сведения приводятся по работе: A. Kammenhuber, Protohattisch-Hethitisches, стр. 63 и сл. Оба добавления, которые Кронассер приводит в этом месте, являются его собственными и абсолютно неверны: хет. *antuḫša-*, *antuḫḫi/a-* «человек» не имеет ничего общего с (прото)хаттскими *antuḫ* и *anta/uḫḫil*, глагольными формами от хат. *tuḫ* «брать» и *taḫḫil/tāḫil* «насыпать», причем *ha-ta-ua-a-ḫa* не является хаттским заимствованием в хеттском, а хаттским призывом в одном хеттском ритуале!

ной и глагольной [4] флексий (при этом дается обзор особенностей развития и новых языковых тенденций в хеттском, палайском, клинописном и иероглифическом лувийском) выявляются прахеттолувийские окончания, которые сопоставляются с индоевропейскими. В результате устанавливается место хетто-лувийских языков в рамках праиндоевропейского. Согласно проведенному анализу, мне представляется, что если не засвидетельствованы хотя бы некоторые характерные глагольные формы, невозможно причислять к хетто-лувийской группе какой-либо анатолийский язык I тысячелетия, за исключением ликийского и, возможно, лидийского. Далее дается определение понятий «праиндоевропейский», «индоевропейский» и приводятся соображения по диалектологии праиндоевропейского (особенно на материале медиопассива на *-r*); а также уточняется ареально-диалектное положение хетто-лувийских языков в пределах индоевропейского.

Написанный мной очерк завершается образцами текстов на древнехеттском, раннехеттском и позднехеттском, палайском и (клинописном) лувийском языках. За моим очерком в «Handbuch» будут следовать очерки Г. Ноймана «Lykisch» и А. Хойбека «Lydisch». Если принять во внимание приведенный выше план описания хетто-лувийских языков, становится ясным, что по меньшей мере половина всех спорных вопросов диалектного членения (пра)индоевропейского получает таким образом свое объяснение.

3. Подготовлен к опубликованию в «Handbuch der Orientalistik» следующий, четвертый очерк «Hattisch» (ранее этот язык назывался протохаттским). До настоящего времени лишь очень немногие ученые занимались оригинальными текстами на этом весьма своеобразно построенном языке анатолийского населения северной части центральной Анатолии (III — начало II тысячелетия до н. э.). Различные тексты на хаттском языке, причем многие из них снабжены более или менее хорошими хеттскими переводами, оставили нам хетты: при отправлении религиозных культов хетты обращались к богам на родном языке представителей тех этнических групп, населявших государство хеттов, которые поклонялись этим богам. Накопленный до сих пор хаттский материал вместе с хаттско-хеттскими двуязычными текстами (билингвами) во многом деформирован в связи с позднейшей хеттской переписки, относящейся к XIII в. до н. э. (т. е. ко времени, когда хаттский язык вымер, по крайней мере в хеттском государстве), и явно недостаточен для того, чтобы определенно судить об этом языке, обладавшем весьма своеобразным строем. Языки, родственные хеттскому, не обнаружены (в том числе и на Кавказе). Хаттский является единственным языком, который случайно (благодаря «набожности» хеттов) сохранился от некогда многочисленной семьи вымерших языков и был зафиксирован в начале анатолийской письменной традиции.

Учитывая результаты оригинальных исследований хаттского языка, проведенных Форрером (1922 г.), Ларошем (1947 г. и сл.), Камменхубер (1955 г. и сл.) и И. М. Дунаевской (1959—1961 гг.), я составила очерк хаттского языка, который, очевидно, может лечь в основу исследований ближайших 10—20 лет. Выяснилось, что в языках, морфология которых нам во многом неизвестна, нельзя устанавливать достаточно твердые звуковые законы: большинство «звуковых законов» и фонем хаттского языка (чередования *l/n*, *t/l*, слабая артикуляция *ḫ* и т. д.) оказываются фиктивными при ближайшем рассмотрении языка. С другой стороны, при современном состоянии исследований знак PI + A и т. д. = $\underset{\frown}{u}a_a$, $\underset{\frown}{u}i_i$ и т. д. следует считать хеттским изобретением: он встречается прежде всего в хаттском и был записан уже в древнехеттскую эпоху, в конце XVII в. до н. э. (по средней хронологии), а после 1500—1400 гг. до н. э. — в хурритских текстах, записанных в хеттской столице Хаттуса (Богазкёй). Больше нигде этот знак не встречается. Этим знаком (он часто чередуется со знаком, содержащим *p*) хетты, видимо, хотели выразить отсутствующий в их языке спирант *f*.

При изучении хаттского глагола необходимо считаться с наличием одно- и двуслоговых основ; учитывая этот момент, можно внести несколько бо́льшую ясность в проблему хаттских глагольных префиксов (в пределах одной глагольной формы засвидетельствовано максимально четыре префикса). Всего в настоящее время обнаружено десять групп глагольных префиксов, значение которых известно нам лишь частично. Вполне оправдан вывод И. М. Дунаевской о том, что ни один хаттский глагольный префикс не выражает временных отношений, причем весьма неполно выражается ими лицо субъекта: может обозначаться (но не обязательно

[4] Здесь приводятся сведения о праиндоевропейской глагольной системе, а также исследуются настоящее время действительного залога *-mi*-спряжения, прошедшее время действительного залога в палайском, лувийском и иероглифическом лувийском — хеттское прошедшее время *-mi*-спряжения, повелительное наклонение действительного залога, засвидетельствованные во многих хетто-лувийских языках окончания медиума, возникновение хеттского *-ḫi*-спряжения (речь идет о более позднем явлении, характерном только для хеттского языка).

обозначается) только ед. или мн. число субъекта.

4. В настоящее время мной подготавливается работа: «Vergleichende Grammatik des Hethitisch-Luwischen», I—IV (выйдет в издательстве Винтера в Гейдельберге). Том I «Der Wortschatz» явится своего рода «этимологическим словарем», где, исходя из хеттского словарного состава и учитывая соответствующие или несколько различающиеся между собой термины родственных языков (палайского, лувийского и иероглифического лувийского), я пытаюсь преодолеть звуковую многозначность хеттской графики. Это достигается тем, что материал классифицируется по частям речи (глагол, существительное, прилагательное и т. д.); в пределах существительного выделяются предметные группы (части тела, термины родства, слова, обозначающие время, растения, животных и т. д.). Я различаю: a) среди индоевропейских лексических соответствий, во-первых, праиндоевропейский материал и, во-вторых, изоглоссы между рядом отдельных индоевропейских языков; кроме того, выделяются: b) индоевропейские соответствия корней; c) бесспорные заимствования; d) материал неизвестного происхождения.

Необходимо исследовать и остальные лексические единицы, не вошедшие в указанные выше словарные группы. Вполне понятна необходимость точного различения между хеттским, раннехеттским и позднехеттским материалом, между более ранней (вплоть до 1400 г. до н. э.) и более поздней графикой; важно также учитывать данные ларингальной теории. В конце словаря, составленного по предметным группам, будут приведены соответствующие индексы. Хеттские наименования богов, а также антропонимы и топонимы, которые в настоящее время являются весьма спорными, в сравнительной грамматике хетто-лувийских языков можно вполне опустить.

После того как в томе I будет дана по возможности полная классификация хеттской лексики по словарным группам (это *важно для дальнейших исследований*), причем будут специально отделены все поздние заимствованные и иноязычные слова, представленные только один или два раза (такие случаи совершенно напрасно приводятся Х. Кронассером в его «Этимологии хеттского языка», 1—3, в своем исследовании я исхожу из действительно представленных в текстах исконных слов), в томе II «Die Lautlehre» (он выйдет в свет, видимо, только после тома III) будут проверяться звуковые соответствия хеттской графики.

В томе III «Die Morphologie» на материале, приводимом в томе I, рассматриваются словообразование и словоизменение (флексии), в частности, после того как становится возможным на основе общих показаний отдельных хетто-лувийских языков восстановить прахеттолувийский, полностью проясняется картина индоевропейского именного словообразования. Ни один из суффиксов на *-l* (существование этих суффиксов в настоящее время является в высшей степени спорным) нельзя реконструировать для прахеттолувийского: почти ни один из этих суффиксов не встречается в древнехеттском и одновременно в каком-либо языке, родственном хеттскому. Именные суффиксы, содержащие аугмент *-l*, отсутствуют в индоевропейских языках; до настоящего времени существование этих суффиксов было обосновано только на материале хетто-лувийских языков

Том IV «Syntax» появится намного позднее: в настоящее время мы располагаем лишь отдельными наблюдениями в этой области, но не провели специальных исследований.

На отдельных небольших статьях, над которыми я сейчас работаю, я особо останавливаться не буду.

А. Камменхубер (Мюнхен)

*

Для «Handbuch der Orientalistik» (изд-во Брилль, Лейден) мною подготовлен раздел «Лидийский язык»; в этом разделе дается краткий обзор состояния исследования вопроса и очерк грамматики лидийского языка с указанием на его родственные отношения с другими языками. При этом частично повторяются выводы моей книги «Lydiaka. Untersuchungen zu Schrift, Sprache und Götternamen der Lyder» (Erlangen, 1959). Исчерпывающее обоснование некоторых частных положений, высказанных в этой моей части для «Handbuch», содержится в статье «Zum Plural des Lydischen», которая должна появиться в журнале «Orbis» (12,2, 1963).

Несколько кратких статей по греческому словообразованию и структуре имен собственных (особенно относящихся к микенской и гомеровской эпохе) уже появились или должны выйти в 1964 г. В частности, разбираются следующие слова: *as-ki-pa-ta* (IF, 68, 1963, стр. 13—21), *pi-ra-ki* («Kadmos», 2, 1963, стр. 74—75), Κιμμέριοι («Hermes», 91, 1963, стр. 490—492), *ti-nwa-si-jo* («Minos», 8), *ri-jo*: Ῥίον («Orbis», 13); имена на *-e-u/-e-ja*:-εύς/-εια, *di-wi-jo/di-u-jo*: Δίϝιον, *me-wi-jo/me-u-jo*: μείων («Die Sprache», 9), *qe-qi-no-me-no*: δινωτός. В дальнейшем я планирую написать работу по морфологии греко-микенских имен собственных.

Сообщение о появившейся в 1959—1963 гг. литературе по Гомеру и вопросам, связанным с изучением его творчества,

будет опубликовано в 1 выпуске журнала «Gymnasium» (71, 1964). Это сообщение продолжит ряд предыдущих публикаций («Gymnasium», 58, 1951, стр. 362—380; 62, 1955, стр. 112—133; 63, 1956, стр. 87—91; 66, 1959, стр. 380—408).

А. Хойбек (Нюрнберг)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7 апреля 1964 г. Бюро Отделения литературы и языка АН СССР обсудило деятельность редколлегии журнала «Вопросы языкознания». С докладом о работе редакционной коллегии за прошлые годы и задачах журнала выступил главный редактор «Вопросов языкознания» акад. В. В. Виноградов. В докладе были рассмотрены вопросы содержания журнала, его тематики, состава авторов и читателей, а также структура журнала. Докладчик отметил, что со дня своего основания журнал стремился стать органом научно-теоретической лингвистической мысли, освещающим не только проблемы общей лингвистики, но и основные вопросы русского и славянского, романо-германского, тюркского языкознания, вопросы развития языков СССР, прикладной и математической лингвистики, истории языкознания. За 13 лет своего существования «Вопросы языкознания» приобрели довольно широкий и постоянный круг советских и зарубежных читателей и объединили многочисленный коллектив авторов.

Журнал широко распространен за рубежом, и число зарубежных подписчиков постоянно растет. «Вопросы языкознания» ставили своей задачей организацию ряда дискуссий по актуальным лингвистическим проблемам — по проблемам метода и методик исследования и более частные дискуссии, опирающиеся на конкретный материал (по армянскому консонантизму, по русскому аканью, по образованию славянских литературных языков, в первую очередь русского, по общеславянскому лингвистическому атласу).

Вместе с тем были и недостатки в работе журнала: не все статьи отвечали самым высоким требованиям лингвистической науки и правильной методологии; были статьи, написанные малопонятным языком, с осложненной без особой нужды терминологией; не всегда «Вопросы языкознания» вовремя откликались на практические требования и задачи, стоящие перед нашими лингвистами — научными работниками на местах. Говоря о тенденциях и развиии науки и направлении журнала на будущее, В. В. Виноградов огласил ряд писем членов редколлегии, в которых были высказаны мнения о перспективах дальнейшей работы журнала.

Заместитель главного редактора «Вопросов языкознания» акад. Н. И. Конрад, много лет активно и чрезвычайно плодотворно работавший в журнале, ныне вышедший из состава редколлегии из-за болезни, писал, что «журнал стал на правильный путь превращения в орган теоретической мысли, прежде всего... Разумеется, добиться этого было нелегко... Было бы чистейшим доктринерством, если бы мы вообразили, что можем сразу с первого шага стать обладателями лингвистического правоверия. Отказ от доктринерства побудил нас предоставить страницы журнала различным течениям мировой лингвистической мысли. Нет ничего вреднее для прогресса науки как искусственная изоляция от того, что есть на свете, пусть даже кое-что из того, что есть для нас по каким-либо причинам неприемлемым. Поэтому я считал и считаю... правильным этот шаг, сделанный нашей редколлегией... Именно марксистское понимание явлений науки позволяет нам открыть дорогу в наш журнал представителям различных течений структурализма и математической лингвистики. Думать, что эти течения как-то отменяют классическую лингвистику, как она сложилась со времен Гумбольдта, в высшей степени наивно. Дело не в отмене одной линии исследования и замене ее другой, но в различии объектов исследования, а, следовательно, и его методов.... Дело не в „двух лингвистиках", а в двух аспектах языка и соответственно этому в двух путях его исследования. Изучение языка как механизма — вполне закономерный этап в развитии лингвистической теории, необходимое расширение языкознания. Поэтому мы и должны были в нашем журнале отразить и это направление лингвистического исследования».

Д-р филол. наук П. С. Кузнецов полагает, что «современный лингвист должен владеть методом строгого обоснования своих положений, которое дает математика, и во всяком случае должен ориентироваться в этих работах, как бы к ним ни относиться». Д-р филол. наук Э. А. Макаев предлагает на страницах журнала шире освещать такие проблемы, как генетическое и типологическое родство языков, языковые союзы, формы языковых контактов, а также проблемы, относящиеся к философии языка. В том же плане высказался и д-р филол наук И. И. Ревзин, особо подчеркнувший необходимость изучения структурной

типологии языков, притом не только литературных, но и диалектов. На важность применения новых методов в диалектологических и лингвогеографических исследованиях указал канд. филол. наук Н. И. Толстой. Канд. филол. наук Ю. В. Рождественский также указывает на важность исследований в областях типологии, семантики и теории метода. По мнению Ю. В. Рождественского, эти дисциплины способны помочь перейти к новой серьезной задаче — задаче прогнозирования языкового развития. Во многих письмах указывалось пожелание улучшить рецензирование и аннотацию работ, а также расширить публикации русской языковедной классики.

После доклада В. В. Виноградова развернулись прения. Член-корр. АН СССР В. И. Борковский дал в целом положительную оценку журналу, но отметил, что в некоторых номерах не ощущается стержня, общей научной направленности, что ведет к некоторой разноплановости. Мало статей, посвященных украинскому и белорусскому языкам, и мало рецензий на советские лингвистические труды. Д-р филол. наук М. М. Гухман согласилась с мнением Н. И. Конрада, что журнал не должен замыкаться в одном направлении, однако, по ее мнению, в последние годы на страницах «Вопросов языкознания» появился ряд «математикообразных» статей, малопонятных и потому малоконструктивных для широкого читателя. М. М. Гухман указала также на то, что, к сожалению, неполно рецензируются книги советских авторов (досадно отсутствие в журнале рецензии на книгу В. М. Жирмунского «Немецкая диалектология», Н. Д. Арутюновой «Очерки по словообразованию испанского языка»). Канд. филол. наук В. З. Панфилов указал на возможность существования разных лингвистических школ, но подчеркнул при этом необходимость общей методологической основы, исходящей из марксистской философии. По его мнению, «Вопросы языкознания» публиковали слабые в методологическом отношении статьи, в которых сказывалось небрежное отношение к философским основам языкознания (такой статьей В. З. Панфилов считает, например, статью Ю. Лекомцева «Основные положения глоссематики» в № 4 за 1962 г.). Он призвал к большему вниманию к проблемам внешней лингвистики.

Зам. главного редактора «Вопросов языкознания» член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский отметил, что следовало бы открыть ряд специальных журналов по романо-германистике, славистике и русистике, а до их появления установить в журнале соответствующие разделы. За последние годы, отметил В. М. Жирмунский, в «Вопросах языкознания» появилось значительное число статей по математической и структурной лингвистике, но не все они имеют одинаковую ценность. Следует проводить более строгий отбор статей по этой тематике. До сих пор нечетко налажен раздел рецензий. В целом же «Вопросы языкознания» сохраняли достаточно высокий научный уровень и провели на своих страницах ряд важных научных дискуссий, среди которых следует отметить дискуссию по армянскому консонантизму. Д-р филол наук О. С. Ахманова отметила значение журнала в развитии общелингвистических теорий и предложила ряд мер по расширению раздела «Критика и библиография».

Член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников отметил трудности журнала «Вопросы языкознания» как органа, долженствующего, за отсутствием специализированных журналов, удовлетворять интересы лингвистов различных специальностей. Эти трудности, однако, усугубляются переходным периодом в развитии общелингвистической теории, неустойчивостью некоторых новых методов и направлений. «Вопросы языкознания» поднимали ряд дискуссионных вопросов, но, к сожалению, не все дискуссии находили свое завершение,—иногда они просто обрывались.

Д-р филол. наук Б. В. Горнунг дал высокую оценку деятельности «Вопросов языкознания» за 13 лет. Оценив трудности, возникающие перед редколлегией, он предложил публиковать на страницах «Вопросов языкознания» работы двух типов: научно-теоретические и конкретно-исторические. Канд. филол. наук Ю. В. Рождественский предложил увеличить на страницах журнала число статей, посвященных теории лингвистического метода, и внес ряд предложений по сотрудничеству с другими филологическими журналами и непериодическими изданиями. Канд. филол. наук Н. Б. Никольский указал на то, что «Вопросы языкознания» недостаточно и неполно отражают на своих страницах работу советских востоковедов, и передал мнение Г. П. Сердюченко, согласно которому «Вопросы языкознания» слишком много внимания уделяют проблемам внутренней лингвистики в ущерб внешнелингвистическим вопросам; среди последних особое значение в наши дни имеют вопросы языкового строительства в странах Азии и Африки.

И. о. академика-секретаря отделения член-корр. АН СССР М. Б. Храпченко отметил своевременность и плодотворность обсуждения деятельности редколлегии «Вопросов языкознания», а также заслуги журнала перед лингвистической общественностью. Вместе с тем он указал на необходимость более строгого отбора материала для формирующихся

номеров журнала — не все, что появлялось на его страницах, одинаково ценно. Журнал должен быть доступен широкому читателю, ему следует выступать в роли пропагандиста передовых научных идей, он должен показывать лицо советского языкознания, не отвлекаясь на мелкие темы и не отступая от широкой проблематики, не только внутренне-, но и внешнелингвистической.

В заключение В. В. Виноградов отметил ценность высказанных суждений и предложений и плодотворность дискуссии. Он указал на ряд технических мер по улучшению работы журнала, которые предполагается провести при новом составе редакционной коллегии. Редколлегия намерена строже подходить к отбору материала для будущих номеров. Не все, что появляется в области применения «новых методов», действительно ново. Содержание статей следует оценивать под углом зрения общих перспектив развития лингвистической науки, их фактической достоверности и научной ценности. Новая редколлегия намерена приступить к выработке плана статей, посвященных проблемам общего языкознания, которые бы появились в будущих номерах журнала.

Бюро Отделения языка и литературы приняло затем следующее постановление.

«Заслушав доклад академика В. В. Виноградова „О деятельности редколлегии журнала „Вопросы языкознания“ и задачах журнала“, Бюро Отделения литературы и языка отмечает, что за 13 лет существования журнал „Вопросы языкознания“ стал одним из важных научных периодических изданий, получил широкое распространение в Советском Союзе и за рубежом. Журнал привлек устойчивый круг читателей. На страницах журнала „Вопросы языкознания“ находят отражение результаты научных исследований в различных областях лингвистики, теоретические взгляды представителей различных течений советского языкознания. За последние годы заметно возрос теоретический уровень публикуемых материалов. Журнал способствует ознакомлению широких кругов советских языковедов с основными достижениями зарубежного языкознания.

Наряду с этим в работе редколлегии журнала „Вопросы языкознания“ имелись существенные недостатки.

Журнал недостаточно активно перестраивает свою работу в свете решений партии по идеологическим вопросам. На его страницах мало напечатано статей по общим методологическим вопросам языкознания; теории лингвистического метода, гносеологии языка, перспективам развития языков в СССР, вопросам о связях языкознания со смежными общественными науками. Было мало статей, подвергающих критике идеалистические взгляды на природу и сущность языка.

Журнал недостаточно уделял внимания освещению таких проблем, как язык и общество, язык и мышление. В содержании журнала излишне большое место занимали статьи по структурной и математической лингвистике, часть которых реально способствовала решению ряда проблем прикладного и теоретического языкознания, другая же часть была непонятна для широких кругов лингвистов и не вносила нового в лингвистическую теорию.

Редколлегия журнала не смогла обеспечить систематическое рецензирование публикуемых в СССР и за рубежом наиболее крупных работ по общему и частному языкознанию. Помещаемые в отделе „Критика и библиография“ рецензии носят случайный характер, нередко бывают написаны поверхностно.

Бюро Отделения литературы и языка постановляет:

1. Рекомендовать редколлегии журнала сосредоточить основное внимание на освещении важнейших теоретических проблем советского языкознания и актуальных практических вопросов развития и функционирования языка, строго подходя к отбору статей с точки зрения их научной значимости, философско-методологических основ. Регулярно помещать материалы, в которых бы давался критический анализ научно несостоятельных лингвистических теорий и концепций. Систематически публиковать статьи по методологическим вопросам языкознания и по философии языка. Более широкое освещение на страницах журнала должна получить проблематика, разрабатываемая в языковедческих учреждениях республик.

2. Считать необходимым более широко освещать в журнале проблемы общего языкознания, а также проблемы типологического исследования языков, лингвистических методов исследования, проблемы семантики. Практиковать на страницах журнала дискуссии по актуальным проблемам, представляющим интерес для широкой лингвистической общественности и представителей других общественных наук (философии, истории, литературоведения). Одной из задач журнала в ближайшее время должно быть активное участие в подготовке и освещении результатов дискуссии по проблеме „Язык и мышление“.

3. Считать одной из важнейших задач журнала — систематическое освещение вопросов, связанных с повышением уровня речевой культуры.

4. Обратить внимание редколлегии журнала на необходимость организовать рецензирование наиболее крупных работ по общему и частному языкознанию, выходящих в Советском Союзе и за рубе-

жом, регулярно освещать состояние языковедческой работы в нашей стране.

5. Считать необходимым организовать на страницах журнала консультации по наиболее важным или новым проблемам языкознания, привлекая крупных специалистов в соответствующих областях знаний».

Ю. Р., Н. Т.

*

8—10 апреля 1964 г. состоялось пленарное заседание Научного совета по лексикологии и лексикографии при Отделении литературы и языка АН СССР со следующей повесткой: 1) симпозиум по теоретическим вопросам лексической синонимии как явления языка и 2) обсуждение проекта словаря синонимов русского языка, составленного д-ром филол. наук А. П. Евгеньевой.

В пленуме приняло участие около 150 лингвистов-лексикологов из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Вильнюса, Риги, Таллина, Тбилиси, Баку, Алма-Аты, Кишинева, Самарканда, Уфы и других городов страны. В числе участников были как сотрудники головных и республиканских лингвистических институтов, так и преподаватели центральных и периферийных вузов и работники словарных издательств.

Участникам симпозиума была предварительно разослана следующая программа обсуждения теоретических вопросов: 1) понятие синонима, различные определения его; 2) проблема синонимического ряда, его границ и возможности выделения доминант; 3) синхрония и диахрония при выделении синонимической лексики; понятие современного литературного языка в применении к изучению синонимов; 4) соотношение однокорневых синонимов с морфологическими и фонетическими вариантами слова; 5) синонимические отношения слов и фразеологических сочетаний.

Вступительное слово к симпозиуму было сделано председателем Научного совета чл-корр. АН СССР С. Г. Бархударовым. В симпозиуме выступило 23 человека.

Д-р филол. наук Б. В. Горнунг (Москва), остановившись в своем выступлении на развитии некоторых взглядов на природу синонимии от античности до XIX в., считал основным вопросом теории лексической синонимии структуру синонимического ряда и отрицал возможность выделения в нем «опорного слова» (так называемой «доминанты»). Это положение, резко расходящееся с принципом, положенным в основу проекта словаря синонимов русского языка, вызвало в дальнейшем решительные возражения многих участников симпозиума, но было поддержано некоторыми из них.

Д-р филол. наук О. С. Ахманова (Москва) в основу своего выступления положила изложение взглядов Г. О. Винокура и А. И. Смирницкого на роль лексической синонимии в дифференциации языка по сферам употребления, а также положение, выдвинутое Н. И. Жинкиным, о различных типах коммуникации. Она указала на то большое место, какое играет усвоение синонимии в широком смысле (не только лексической) при овладении чужим языком, а следовательно, и в преподавании иностранных языков.

Общего вопроса о семантических связях между словами, образующими лексическую систему языка, и о синонимии как об одном из типов этих связей коснулась канд. филол. наук М. Ф. Палевская (Кишинев). В частности, она затронула вопрос о разной степени близости значения слов и, как следствие этого, неоднородности отношений между членами синонимического ряда в данную эпоху и об изменении этих отношений в истории языка. Те же общие вопросы были предметом выступления канд. филол. наук Л. М. Васильева (Уфа), который, кроме того, подчеркнул значение экспрессии как компонента лексического значения слова, определяющего его место в синонимическом ряду.

Несколько иное понимание семантических связей слов изложила в своем выступлении канд. филол. наук А. А. Уфимцева (Москва), которая рассматривает эти связи как «условия реализации данного значения в системе языка», проверяемые на частичную или полную взаимозаменяемость слов-синонимов. Она указала также на важность отграничения фактов лексической системы языка от окказиональных употреблений. Важной для понимания соотношений между словами синонимического ряда является также различная степень абстракции лексических единиц.

Д-р филол. наук А. П. Евгеньева (Ленинград) указала, что проблема точного определения понятия синонима до сих пор терпела неудачу потому, что обычно бралась только одна сторона вопроса, а другие оставлялись без внимания. Синонимию следует, по ее мнению, рассматривать как вариантность языкового выражения. В системе лексики каждого языка есть свои возможности такой вариантности.

Канд. филол. наук И. С. Ильинская (Москва) поставила ряд теоретических вопросов в связи с их практическим разрешением в проекте. Одним из этих вопросов был вопрос о соотношении нейтральных и экспрессивно-окрашенных синонимических слов, а также обиходных слов и слов, ставших архаизмами, но употребляемых для создания «высокого стиля» выражения.

Канд. филол. наук В. Н. Цыганова (Ленинград) остановилась на вопросах глагольной синонимики и пыталась на ряде примеров из русского языка показать общую смысловую основу синонимического ряда. Отсутствие «единого смыслового стержня» лишает синонимический ряд структурной четкости, что нередко наблюдается в синонимических словарях. Практика составления этих словарей диктует необходимость выделения «опорного слова», каким всегда должно быть слово стилистически нейтральное, заключающее в себе как можно больше общего для членов ряда. Крайне сложным является вопрос о синонимии слов с более широким и более узким значением.

Акад. АН Груз ССР А. С. Чикобава (Тбилиси) считает необходимым рассматривать проблему синонимов как проблему лексикологическую и полагает, что вся лексикографическая практика должна быть оправдана и обоснована лексикологическими исследованиями. Разрешение проблемы синонимов зависит от правильного решения более общей проблемы значения слова, которое долгое время тормозилось психологическим подходом к ней и смешением понятий «значение» и «представление». «Значение» — есть отношение и является объективным моментом функционирования слова. Оно должно быть также отграничено от понятия «предметной соотнесенности» слова. Только на этой основе может быть разработана теория синонимии, причем следует исходить также из того, что «равноценных слов» в языке не бывает. Теория синонимии тесно связана также со стилистикой языка и от нее зависит.

Канд. филол. наук А. Д. Григорьева (Москва) указала, что существующие две точки зрения на понятие синонимии (синонимы — слова только тождественные по значению или как тождественные, так и близкие) иногда приводят к бесплодным спорам. Правильнее выделять три категории слов, подлежащих исследованию в синонимике как разделе семасиологии: 1) слова, абсолютно тождественные; 2) слова, семантически тождественные, но различающиеся стилистической окраской и 3) слова, близкие по значению. Это разграничение надо строго проводить и в словаре.

Канд. филол. наук. В. Д. Левин (Москва) остановился на специфическом вопросе, не затронутом другими участниками симпозиума — о границах синонимического ряда. Он считает, что синонимический ряд должен существовать всегда в одной синхронной плоскости, хотя бы в тот же период носителям языка были известны слова и других эпох. Кроме того, в синонимический ряд могут входить слова только одной системы; например, профессиональные термины — это слова другой системы. В. Д. Левин предлагает как дискуссионное следующее положение: синонимический ряд — это слова языка одного индивидуума. Следует строго отличать языковую позицию говорящего от самого факта. Синонимический ряд должен быть зеркалом определенной стилистической системы литературного языка.

Канд. филол. наук А. В. Лагутина (Киев) говорит о том, что в современной лингвистике широко распространено мнение об отрицании абсолютной синонимии слов или же о выделении таких «дублетов» за пределы синонимии в особую категорию слов. На материале русского и украинского языков А. В. Лагутина показывает неправомерность такого мнения.

Канд. филол. наук К. С. Горбачевич (Ленинград) подчеркнул, что живая лексическая система языка имеет хронологические границы, подлежащие уточнению. Для правильного построения синонимических рядов необходимы более узкие хронологические рамки, нежели те, которые приняты в толковых словарях, так называемое понятие «устарелое» противоречит синхронности синонимического ряда. Другим вопросам, затронутым в докладе, был вопрос о возможности расширения синонимических связей, открываемых «эмоциональными контекстами», где логические, смысловые различия между словами временно стираются. Из этих двух положений следовал вывод, что: 1) в историческом плане переменный характер лексической синонимии определяется наличием или отсутствием синхронного применения; 2) в синхроническом плане этот характер обусловлен контекстуальными сдвигами в значении слов, благодаря чему возникают или разрушаются синонимические связи.

Канд. филол. наук Э. О. Таэль (Таллин) говорила о неразработанности вопросов синонимии в эстонском языке и о больших перспективах, которые может дать ее исследование для изучения эстонского языка.

Канд. филол. наук Ю. С. Сорокин (Ленинград) в связи с разбором некоторых общих положений, данных в проспекте, полагает, что признак взаимозаменяемости не может считаться обязательным и достаточным при выделении круга синонимов. При таком подходе область синонимии становится совершенно безграничной, потому что взаимозаменяемыми могут быть в определенных контекстуальных условиях и слова с противоположным значением. Синонимы — это слова, представляющие различную реализацию одного значения, дающие его оттенки, которые идут по разным направлениям и расходятся в употреблении. Включая слова в синонимический ряд, нужно иметь в виду и весь ансамбль значений

каждого слова. В вопросе о трудности выделения «доминанты» Ю. С. Сорокин присоединяется к Б. В. Горнунгу.

Канд. филол. наук С. Ф. Левченко (Киев), соглашаясь с А. С. Чикобава в том, что случаи полной адекватности смысла двух слов исключительно редки, считает, то при построении синонимического ряда следует точно определять значение каждого его слова и отличие в оттенках значения от других слов. Свои положения он иллюстрирует обширным материалом украинского языка. В дальнейшем С. Ф. Левченко, полемизируя с Б. В. Горнунгом, защищал практическую необходимость выделения опорного слова.

Канд. филол. наук Ю. Ю. Авалиани (Самарканд), выступая от имени своего и Л. И. Ройзензона, останавливается главным образом на вопросе различения синонимов-лексем и синонимов-фразеологизмов. Фразеологических дублетов больше, чем дублетов-лексем. Это отчасти связано с тем, что синонимы-лексемы совпадают не полностью, а только в отдельных своих значениях. Фразеологизмы же не имеют развитой полисемии, но зато обычно обладают более яркой экспрессией. Синонимичность фразеологизмов имеет свои особенности, невозможные у синонимов-лексем, например, соотношение полного и эллиптированного варианта. Появлению синонимов в лексике благоприятствует определенное условие: возможность оценочности, выделение качественной и количественной градации, модальная окрашенность и т. п. Этих условий в развитии фразеологизмов нет, что однако не исключает возможности столкновения и взаимопроникновения лексической и фразеологической синонимии.

Канд. филол. наук Р. П. Рогожникова (Ленинград), опираясь на высказывания В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой, указывает, что неучет морфологической структуры слова приводит к смешению синонимов и морфологических вариантов слова, и поэтому словообразовательные варианты иногда неверно понимаются как «однокоренные» синонимы. Продуктивность морфологического варьирования различна у разных групп слов и в разные периоды истории языка. Особенно часты колебания в оформлении слова у иноязычных заимствований. Варианты слов могут превращаться в самостоятельные слова и попадать в разные синонимические ряды. Значение изучения однокоренных синонимов состоит в том, что оно раскрывает возможность языка не только в синонимическом, но и в словообразовательном варьировании.

Тому же вопросу о синонимичности однокорневых слов с разной аффиксальной частью было посвящено и выступление канд. филол. наук С. Г. Бережана (Кишинев). На материале азербайджанского языка эту проблему иллюстрировал Б. Т. Абдуллаев (Баку). Канд. филол. наук В. А. Капранов (Душанбе) на материале таджикского языка стремился показать важность проблемы фонетической вариантности слов. Это может быть связано с различными сферами применения языка (разговорно-диалектной, поэтической и др.). В таджикском языке, указывает В. А. Капранов, фонетическая вариантность почти всегда связана со стилистической окрашенностью слова.

Канд. филол. наук Е. А. Иванникова (Ленинград) развивает более детально положения, выдвинутые в выступлении Ю. Ю. Авалиани, о синонимических отношениях фразеологических единиц и слов, исходя из принципиальной разницы между значением лексемы и значением фразеологизма. Фразеологизмы могут быть полными эквивалентами слова лишь при определенных условиях, причем иногда при ближайшем рассмотрении такая эквивалентность может оказаться ложной. Тому же вопросу было посвящено выступление канд. филол. наук В. В. Розановой (Ленинград), которая остановилась на одном типе фразеологизмов — на устойчивых глагольно-именных сочетаниях (с предлогами и без предлогов).

После краткого вступительного слова А. П. Евгеньевой был обсужден проект словаря синонимов русского языка. В этом обсуждении приняли участие 11 человек, из которых канд. филол. наук А. М. Бабкин (Ленинград), канд. филол. наук Н. И. Фельдман (Москва) и д-р филол. наук Л. Л. Гумецкая (Львов), не выступавшие в симпозиуме, касались теперь и некоторых общих теоретических вопросов. Канд. филол. наук А. Б. Болганбаев (Алма-Ата) рассказал присутствующим о тех трудностях теоретического порядка, какие имели место при составлении «Словаря синонимов казахского языка», изданного в 1964 г.

Закрывая совещание, С. Г. Бархударов отметил, что состоявшееся обсуждение показало огромный интерес лингвистов к проблеме синонимии, и подчеркнул, что важнейшим условием высокого уровня составляемых синонимических словарей является последовательность проведения в них определенного теоретического принципа, хотя бы в основу отдельных словарей и были положены разные принципы.

Пленарное заседание Научного совета приняло резолюцию, в которой положительно оценивается форма симпозиума для обсуждения теоретических вопросов. Эта форма рекомендуется Бюро совета и для будущих дискуссий. Совещание одо-

брило проект словаря синонимов русского языка и рекомендовало составителям будущего словаря учесть в дальнейшей работе критические замечания, сделанные участниками обсуждения.

Н. Н. Уханова (Москва)

*

14—16 апреля 1964 г. в Кишиневе состоялось совещание, посвященное проблеме молдавско-русско-украинских языковых, литературных и фольклорных взаимосвязей. В работе совещания приняли участие представители научных учреждений Москвы, Киева, Одессы, Черновиц, Ужгорода, Гомеля и других городов. Совещание было организовано Научным советом при Президиуме АН СССР по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Институтом языка и литературы АН МССР и филологическим факультетом Кишиневского госуниверситета.

14 и 16 апреля работа проходила в виде пленарных заседаний, а 15 апреля в трех секциях: языковедческой, литературы доктябрьского периода и советской литературы.

Первое пленарное заседание открыл президент АН МССР акад. Я. С. Гросул, который отметил важность и актуальность разработки выдвинутых на обсуждение проблем как в плане филологическом, так и в плане общекультурном. На первом пленарном заседании 14 апреля было заслушано пять лингвистических докладов.

Коллективный доклад акад. АН УССР И. К. Белодеда, проф. Ю. Д. Дешериева, чл.-корр. АН МССР Н. Г. Корлэтяну, д-ра филол. наук Н. А. Баскакова и канд. филол. наук М. И. Исаева «Вопросы взаимодействия и обогащения языков народов СССР», прочитанный М. И. Исаевым, содержал ряд широких обобщений на материале языковых контактов различных народов, проживающих на территории СССР. К сожалению, мало внимания было уделено в нем такой очень живо обсуждающейся в настоящее время проблеме, как проблема двуязычия [1]. Постановка же этой проблемы была бы очень желательной, тем более, что сама сущность двуязычия как лингво-социологического процесса трактуется совершенно по-разному как в советском, так и в зарубежном языкознании [2].

Доклад «Лингвистическая характеристика „молдавского цикла“ М. Коцюбинского», представленный И. К. Белодедом (Киев) на широком фоне взаимоотношений между украинским и молдавским народами дал характеристику произведениям Коцюбинского на молдавскую тематику и тем лингвистическим элементам молдавского языка, к которым прибегает писатель для передачи местного колорита, для «локализации действия в художественном произведении».

Н. Г. Корлэтяну (Кишинев) в своем докладе «Изучение вопросов славяно-молдавских языковых взаимоотношений» дал картину научного изучения славяно-восточнороманского языкового взаимовлияния, начиная с трудов Ф. Миклошича, посвященных этому вопросу, и до современных работ советских и зарубежных лингвистов.

Канд. филол. наук А. С. Мельничук (Киев) посвятил свой доклад рассмотрению значения данных восточнороманских языков для истории древнеславянского и украинского языка. Одним из важных источников для истории восточнославянских языков являются топонимические названия славянского происхождения, распространенные на молдавской и румынской языковой территории.

В докладе «Проблема русско-молдавских связей в работах акад. В. Ф. Шишмарева» доц. Д. Е. Михальчи (Москва) особо остановился на том интересе, который проявил В. Ф. Шишмарев к вопросам взаимообщения языков и культур. В. Ф. Шишмарев занимался непосредственно и связями восточноромандев с восточными славянами, что нашло свое наиболее полное отражение в статье «Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык МССР».

Из докладов, заслушанных на секционных заседаниях, наибольший интерес вызвали доклады: «Вопросы сопоставительного изучения языков» канд. филол. наук Т. П. Ильяшенко (Кишинев) и «Семантические заимствования из славянских языков в молдавском языке» канд. филол. наук С. В. Семчинского (Киев). В первом выдвигается мысль о том, что взаимодействия контактирующих языков требуют не столько констатации фактов, лежащих на поверхности, их опознавания, как результата влияния одного языка на другой, с последующей регистрацией (как это еще практикуется во многих работах), сколько углубленного исследования тех областей и уровней языка (в частности, синтаксиса и стилистики), где влияние неочевидно, но где при более тщательном подходе его можно

[1] См.: Ю. Д. Дешериев и др., О роли русского языка как языка межнационального общения народов СССР и некоторые вопросы развития и функционирования языков Северного Кавказа и Дагестана, сб. «Вопросы описательных грамматик языков Северного Кавказа и Дагестана», Нальчик, 1963.

[2] См.: В. Ю. Розенцвейг, О языковых контактах, ВЯ, 1963, 1.

обнаружить и объяснить соответствующим образом.

Два доклада: доц. А. Т. Борща (Кишинев) и канд. филол. наук Н. Д. Раевского (Кишинев) были посвящены вопросам романо-славянского двуязычия, которое рассматривалось на конкретном материале молдавского языка. По вопросам молдавской терминологии под углом зрения ее пополнения за счет заимствований из русского языка выступили научные сотрудники Института языка и литературы АН МССР М. В. Подико и И. И. Богач.

Канд. филол. наук А. М. Рот (Ужгород) выступил с докладом на тему «Русские неологизмы советской эпохи в молдавском языке и вопросы их морфологической адаптации».

Совещанию были представлены еще сообщения, затрагивающие проблемы стилистики: славянские и в особенности русские элементы в языке отдельных молдавских писателей как прошлого, так и советского периодов. О глагольных славянизмах в «Хроникул...» Д. Кантемира говорила Т. В. Урсу (Кишинев), а влиянию русского языка на язык молдавской художественной литературы первой половины XIX в. и на язык современной молдавской поэзии были посвящены соответственно сообщения канд. филол. наук Н. М. Печека (Кишинев), канд. филол. наук П. Е. Руссу (Кишинев) и научн. сотр. А. С. Лазаревой (Кишинев).

Область топонимики была представлена двумя сообщениями: одно о романских элементах в топонимике Закарпатской области УССР доц. Н. А. Корчинского (Черновцы), а другое о славянских топонимах на территории Молдавии А. И. Еремия (Кишинев).

После сообщения канд. филол. наук Р. Е. Корнфельд (Кишинев) о глаголах славянского происхождения со связанными основами в молдавском языке были прочитаны пять сообщений, посвященных вопросам взаимосвязи языков, на диалектных материалах: канд. филол. наук А. П. Евдошенко (Кишинев) выступил с характеристикой восточнославянского влияния на фонологическую систему рыбницко-каменского говора молдавского языка, канд. филол. наук Р. Я. Удлер (Кишинев) на материале Молдавского лингвистического атласа говорил об украинском влиянии на отдельные говоры молдавского языка, канд. филол. наук В. И. Столбунова (Черновцы) и Л. И. Ермакова (Кишинев) представили картину обратного влияния молдавского языка соответственно на русские говоры Черновицкой области и северной Молдавии и в заключение Е. К. Колцаи Б. П. Тукан, сотрудники Института языка и литературы АН МССР, сделали сообщение о лексических заимствованиях из славянских и молдавского языков в гагаузский язык. Всего было прослушано 24 доклада и сообщения, представленных на русском и на молдавском языках.

В обсуждении докладов приняли участие А. И. Чобану (доцент Кишиневского госуниверситета), С. Г. Бережан (зав. сектором истории языка ИЯЛ АН МССР), А. П. Евдошенко, М. И. Исаев, Р. Я. Удлер, А. М. Дырул (ст. научн. сотр. ИЯЛ АН МССР), И. К. Белодед, Н. Г. Корлэтяну и др.

В заключительном пленарном заседании были выслушаны отчеты председателей секций и выступления участников. Очередное совещание было предложено провести в Одессе. Пленарное заседание завершилось принятием развернутого решения [3].

С. Г. Бережан (Кишинев)

*

7—9 мая 1964 г. в Пензенском пединституте им. В. Г. Белинского проходила восьмая зональная конференция кафедр русского языка вузов Среднего и Нижнего Поволжья. В ее работе участвовали 12 пединститутов (Куйбышевский, Саратовский, Пензенский, Волгоградский, Ульяновский, Астраханский, Балашовский, Оренбургский, Бирский, Стерлитамакский, Уральский и Мелекесский) и 3 университета (Саратовский, Бакшкирский и Казанский) зоны. Кроме того, приняли участие научные работники Смоленского, Рязанского, Елецкого и Марийского пединститутов, Академии педагогических наук РСФСР и Московского филиала географического общества.

Основной проблемой конференции являлся синтаксис русского языка.

Всего было прослушано и обсуждено 70 докладов. В том числе на пленарных заседаниях: «Об основах дескриптивной лингвистики (проф. В. А. Малаховский, Куйбышев), «О новом и вечно обновляющемся в методике русского языка» (действ. член АПН РСФСР проф. А. В. Текучев, Москва), «В чем красота русского языка» (проф. А. Ф. Ефремов, Саратов), «Сопоставительный анализ в лингвистических исследованиях» (доц. Е. М. Кубарев, Куйбышев), «Словосочетание как база для аббревиации» (доц. Д. И. Алексеев, Смоленск), «Синтаксис стиха» (В. А. Никонов, Москва).

На секции современного русского языка было прослушано 15 докладов: «Система признаков, определяющих обстоятельственное значение слова» (проф. В. М. Никитин, Ря-

[3] Полный текст решения публикуется в журнале «Лимба ши литература молдовеняскэ», 1964, 3.

зань), «Обособление второстепенных членов предложения как специфический признак его структурной организации» (доц. И. П. Распопов, Уфа), «О трех способах связи между составными частями сложного предложения» (асп. В. А. Федосов, Волгоград), «К вопросу о методологических принципах исследования структуры предложения» (асс. В. С. Юрченко, Саратов), «Условия сочетаемости простых предложений в составе сложноподчиненного предложения с соединительными союзами» (доц. А. Ф. Кулагин, Ульяновск), «Явления синтаксической редукции в сложноподчиненном предложении» (доц. Г. А. Селиванов, Астрахань), «Опыт квалификации присоединенных структур минимальной лексической наполняемости» (ст. преп. М. Е. Шафиро, Оренбург), «О семантико-грамматических функциях и форме подчиненного слова при согласовании, управлении и примыкании» (доц. Е. С. Скобликова, Куйбышев), «К вопросу о соотносительности залогов» (ст. преп. В. Ф. Ильина, Саратов), «О связи понятия переносности глагольного значения с грамматической сочетаемостью глагола» (асп. Н. И. Бахмутова, Саратов), «Употребление бессоюзных сложных предложений в трех различных функциональных стилях современного русского языка» (асп. Б. А. Зильберт, Саратов), «Из наблюдений над логическим ударением в репликах диалога» (доц. Чурилова, Оренбург), «Употребление собирательных числительных в современном русском языке» (ст. преп. Ю. И. Щербакова, Мелекесс), «К вопросу о связи между членами некоторых типов словосочетаний с дательным падежом» (асп. А. Н. Печников, Куйбышев), «О содержании и форме предложения» (ст. преп. А. В. Турасова, Ульяновск).

На секции истории русского языка и диалектологии было прослушано 18 докладов: «К вопросу об архифонеме» (доц. В. Г. Руделев, Оренбург), «Из истории двух словообразовательных типов наречий» (и. о. доц. Л. В. Болдырева, Пенза), «Безаффиксные существительные женского рода в поэзии М. Ю. Лермонтова» (доц. И. П. Глотов, Саратов), «Именное составное сказуемое» (доц. В. И. Чернов, Смоленск), «Соотношение именительного и творительного падежей именного сказуемого в прозе М. Ю. Лермонтова» (доц. Л. А. Зелепукина, Пенза), «Причинные конструкции в русском литературном языке XVIII в.» (асп. Е. А. Провоторова, Елец), «Источники образования и особенности в синтаксическом употреблении степеней сравнения литературно-письменного языка XVIII в.» (асс. В. Е. Духанина, Оренбург), «О функционально-стилевых различиях внутри диалектной речи в разные исторические периоды» (доц. Л. И. Баранникова, Саратов), «О социальных и стилистических разновидностях территориального говора» (доц. Л. М. Орлов, Волгоград), «Основные источники и составные части лексики офенских языков» (доц. В. Д. Бондалетов, Пенза), «О типах семантических различий в диалектной лексике» (асп. В. Е. Гольдин, Саратов), «Приставки *пре-* и *при-* в древнерусском языке» (асс. Н. К. Жученко, Саратов), «О деомонимизирующей роли буквы *ё* в письменной речи (доц. Н. П. Колесников, Тбилиси), «К вопросу о переходных говорах владимирско-поволжского типа» (асп. Е. Ф. Горбачева, Куйбышев), «Офенские языки и их варианты на территории Поволжья» (доц. В. Д. Бондалетов, Пенза и доц. Д. И. Алексеев, Смоленск), «Синтаксическое употребление причастий и деепричастий в говоре уральских казаков» (ст. преп. А. Л. Шибаева, Уральск), «Употребление глаголов с приставкой *у-* в народной речи» (асп. В. Я. Ильин, Саратов), «Имена существительные с префиксом *недо-* в русском языке» (доц. М. В. Черепанов, Саратов).

На секции стилистики и изучения языка писателя было прослушано 14 докладов по синтаксису публицистического стиля: «О некоторых приемах синтаксической экспрессии в работах В. И. Ленина» (ст. преп. М. Д. Мишаева, Ульяновск), «Внутренняя структура абзаца критико-публицистических статей Н. А. Добролюбова» (ст. преп. М. Г. Свотина, Балашов); по циклу «Стилистика языка и функциональная стилистика»: «Функция порядка слов в русском языке» (доц. О. Б. Сиротинина, Саратов), «О стилистическом употреблении форм типа *с гордостью* и *гордо*» (ст. преп. Э. М. Ножкина, Саратов), «Сказуемое в художественном, научном, разговорном и деловом стилях» (доц. В. А. Богданова, Саратов), «Некоторые стилистические данные о придаточных подлежащих в различных стилях современного русского языка» (асс. А. П. Журавлев, Балашов), «О штампах в языке районной газеты» (асп. А. С. Сычев, Пенза); по циклу «Стилистика художественной речи и язык писателя»: «Стилистические контрасты в драматургии М. Горького» (доц. М. Б. Борисова, Саратов), «Стилистические функции сравнительных оборотов в стихах С. Есенина» (и. о. доц. М. П. Демидова, Орск), «Стилистическая роль бессоюзных сложных предложений с причинно-следственной связью в трилогии Л. Н. Толстого „Детство“, „Отрочество“, „Юность“» (асп. Н. И. Орлова, Саратов), «Синтаксис языка и композиция художественного произведения» (доц. Н. Я. Сердобинцев, Саратов), «О стилистических ресурсах русской фонетики» (ст. преп. С. Т. Малышев, Стерлитамак), «О лингвистическом характере синонимических отношений между глаголами и глагольными словосочетаниями» (ст. преп. В. И. Андрусенко, Йошкар-Ола), «Традиция высо-

кого слога в произведениях Н. С. Лескова» (асп. Н. С. Кононова, Саратов).

На секции методики преподавания русского языка были заслушаны доклады, посвященные методике вузовского и школьного преподавания [докладчики: доц. А. Н. Назаров и учит. Л. М. Пальмон (Пенза), доц. З. А. Потиха (Волгоград), ст. преп. К. З. Закирьянов (Уфа), проф. А. В. Текучев (Москва), ст. преп. С. Я. Янгирова (Бирск), доц. Н. М. Андреев (Саратов), ст. преп. К. Т. Устинова (Волгоград), ст. преп. Е. А. Полукарова (Пенза), доц. М. Н. Князева (Куйбышев), доц. Г. Г. Полещук (Саратов), ст. преп. Н. П. Кирсанова (Саратов), доц. Н. Я. Сердобинцев (Саратов), ст. преп. Ю. А. Фигаровская (Пенза), ст. преп. К. Ф. Ольшевская (Астрахань), ст. преп. С. И. Морозова (Балашов), ст. преп. Г. И. Суворова (Ульяновск)].

Следующая, девятая, конференция языковедов этой зоны состоится в мае 1965 г. в г. Волгограде и будет посвящена проблемам синтаксиса и стилистики русского языка, территориальной и социальной диалектологии, а также методологии научных исследований и методике преподавания русского языка в школе и вузе.

А. Н. Назаров (Пенза)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Материалы конференции по изучению южнорусских говоров и памятников письменности (6—8 декабря 1962 г.).— Воронеж, 1964. 134 стр.

Годишњак филозофског фак-та у Новом Саду, књ. VI, 1963. 414 стр.

Јужнословенски филолог. XXV, 1961—1962. 594 стр.

В. Георгиев. Вокалната система в развоя на славянските езици.— София, 1964. 127 стр.

Általános nyelvészeti tanulmányok. I.— Budapest, 1963. 339 стр.

American contributions to the V international congress of slavists. Sofia, September, 1963. I — Linguistic contributions.— The Hague, 1963. 387 стр.

Annali. Sezione slava. V.— Napoli, 1962. 238 стр.

Brno studies in English. IV — More studies in the linguistic characterology of modern English.— Praha, 1964. 142 стр.

Ceļi rakstu krājums. XI.— Lundā, 1963. 64 стр.

Československá rusistika. IX, 1, 1964. 65 стр.

Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen. Untersuchungen zum Deutschen Wortatlas. III, hrsg. von L. E. Schmitt. — Giessen, 1963. 679 стр.

Materialien zum slawischen onomastischen Atlas, eingeleitet und redigiert von R. Fischer, bearbeitet von E. Eichler, H. Naumann, H. Walther.— Berlin, 1964. 141 стр.

Mittellateinischer Wörterbuch bis zum ausgehengen 13. Jahrhundert. I, Lf. 6: *applodo — armarium*.— Berlin, 1963. 801—960 стлб.

Radovi zavoda za slavensku filologiju. 5.— Zagreb, 1963. 138 стр.

Slavia orientalis. XII, 4, 1963. 524 стр.

Slawische Namenforschung. Vorträge auf der II. Arbeitskonferenz der onomastischen Kommission beim Internationalen Slawistenkomitee in Berlin vom 17. bis 20. Oktober 1961.— Berlin, 1963. 285 стр.

Språkliga bidrag. Meddelanden från seminarierna för slaviska språk, jämförande språkforskning, finsk-ugriska språk och östasiatiska språk vid Lunds Universitet. IV, 1961, № 17—167 стр. № 18—106 стр. [ротапринт].

Statistical methods in linguistics. 2.— [Stockholm], 1963. 70—124 стр.

Výbor z české literatury doby husitske.— Praha, 1963. 533 стр.

Zpravodaj místopisné komise ČSAV. IV, 5, 1963. 410 стр.; V, 1964. 72 стр. [ротапринт].

L. Antal. Content, meaning, and understanding.— The Hague, 1964. 63 стр. («Janua linguarum», Series minor, XXXI).

O. Böhtlingk. Über die Sprache der Jakuten (St. Petersburg, 1851).— Photomechanischer Nachdruck, The Hague, 1964. 184 стр.

W. Brandenstein, M. Mayrhofer. Handbuch des Altpersischen.— Wiesbaden, 1964. 160 стр.

M. J. Conwell, A. Juilland. Louisiana French grammar, I.— The Hague, 1963. 207 стр. («Janua linguarum», Series practica, I).

W. S. Cooper, Set theory and syntactic description.— London — The Hague — Paris, 1964. 52 стр. («Janua linguarum», Series minor, XXXIV).

N. Demerau. Russisches und Westrussisches bei Kurbskij.— Wiesbaden, 1963. 96 стр.

F. Dornseiff. Kleine Schriften, II — Spache und Sprechender. — Leipzig, 1964. 406 стр.

K.-L. Harth. Deutsche Sprechübungen mit Ausspracheregeln, 4-e überarbeitete Aufl.— Weimar, 1963. 173 стр.

A.-G. Haudricourt. La langue des nenemas et des nigoumak (dialectes de Poum et de Koumas, Nouvelle-Calédonie).— Auckland, 1963. 85 стр.

G. Herdan. The structuralistic approach to Chinese grammar and vocabulary.— The Hague, 1964. 56 стр. («Janua linguarum», Series practica, VI).

G. Hüttl-Worth. Foreign words in Russian, A historical sketch, 1550—1800.— Berkeley — Los Angeles, 1963. 132 стр.

J. Jordan. Toponimia romînească.— [București], 1963. 581 стр.

V. Lejnieks. Morphosyntax of the Homeric Greek verb.— The Hague, 1964, 92 стр. («Janua linguarum», Series practica, IX).

S. Lévite. Cours de lexicologie française.— Минск, 1963. 136 стр.

J. Lipa. Příručka cikánštiny.— Praha, 1963. 156 стр.

J. C. McLaughlin. A graphemic-phonemic study of a middle English manuscript.— The Hague, 1963, 162 стр.

H. Pilch. Phonemtheorie, I. Teil.— Basel — New York, 1964. 153 стр.

P. Postal. Constituent structure. A study of contemporary models of syntactic description.— The Hague, 1964. 122 стр.

A. Rosetti. Sur la théorie de la syllabe, 2-me éd. réfondue et augmentée.— The Hague, 1963. 43 стр. («Janua linguarum», Series minor, IX).

R. Růžička. Das syntaktische System der Altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen.— Berlin, 1963. 395 стр.

J. Svoboda. Staročeská osobní jména a naše příjmení.— Praha, 1964. 317 стр.

J. M. C. Thomas. Le parler ngbaka de Bokanga. Phonologie, morphologie, syntaxe.— Paris. — La Haye, 1963, 307 стр.

Zd. Tyl. Bibliografie české lingvistiky. 1956—1960.— Praha, 1963. 709 стр.

R. Zimek. Problematika spony v ruštině v porovnání s češtinou.— Praha, 1963. 166 стр.

CONTENTS

Articles: I. I. Meščaninov (Leningrad). Principal grammatical forms of ergative sentence-structure; **Discussions:** A. M. Ščerbak (Leningrad). Turkic consonantism; Y. Rigler (Ljubljana). On the problem of the «akanje»; D. S. Worth (Los Angeles). On the representation of linear relations in engendering language-models; I. I. Revzin (Moscow). The logical foundations of the theory of phonological features; Y. S. Stepanov (Moscow). On the premises of the linguistic theory of meaning; P. S. Kuznetzov (Moscow). An experiment of formal definition of the word; **Materials and notes:** V. Y. Myrkin (Arkhangelsk). Typology of personal pronouns and problems of their reconstruction in Indo-European; K. V. Gorškova (Moscow). Development of dialectal differences in North Russian dialects and the system of vocalism; G. A. Menovščikov (Leningrad). On the problem of permeability of grammatical language structure; **From the history of linguistics:** A. A. Sakhmatov. The diphthongs *yo*, *ie* in Russian dialects; **Critics and bibliography**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: I. I. Meščaninov (Léningrad). Principales formes grammatiques de la structure ergative de proposition: **Discussions:** A. M. Ščerbak (Léningrad). Consonantisme turque: Y. Rigler (Ljubljana). Sur le problème de l'akanje; D. S. Worth (Los Angeles). La réprésentation des relations linéaires pour les modèles engendrants de la langue; I. I. Revzin (Moscou). Fondations logiques de la théorie des traits phonologiques; Y. S. Stepanov (Moscou). Sur les prémisses de la théorie de signification linguistique; P. S. Kuznetzov (Moscou). Essai d'une définition formelle du mot; **Matériaux et notices:** V. Y. Myrkin (Arkhangelsk). Typologie du pronom personel et problèmes de sa reconstruction en indo-européen; K. V. Gorškova (Moscou). Développement des divergences vocaliques dans les parlers russes du Nord; G. A. Menovščikov (Léningrad). Sur la perméabilité de la structure grammatique; **De l'histoire de la linguistique:** A. A. Sakhmatov. Les diphtongues *yo* et *ie* dans les parlers russes; **Critique et bibliographie**; **Vie scientifique.**

Т-13056 Подписано к печати 5/IX—1964 г. Тираж 5340 экз. Зак. 928
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 13,3 Бум. л. 4²/₄ Уч.-изд. листов 15,4

2-я типография Изд-ва «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев,*
М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции),
О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55